



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2(22)'2017

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:

Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Евгений Степанов (Москва),
Анна Стреминская (Одесса), Александр Хинт (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2017

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Сергей Главацкий. Единственный мой враг. Стихотворения	4
Одесса – Санкт-Петербург: Ксения Александрова. Слова приходят на водопой. Стихотворения	9
Одесса: Татьяна Орбатова. Превращаясь в солнечное утешение. Стихотворения	15
Одесса: Майя Димерли. Пади мат тебе, падишах! Стихотворения	21

ДРАМАТУРГИЯ

Одесса: Александр Хинт. Эльсинор. Пьеса	25
--	----

ПОЭЗИЯ

Москва: Евгений Степанов. Растрёпанная ночь. Стихотворения	61
Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. В этом городе... Стихотворения	66
Санкт-Петербург: Дмитрий Артис. Избыточный рай. Стихотворения	70

ПРОЗА

Одесса: Галина Соколова. Капаа. Рассказ	75
Москва: Марина Анашкевич. Лоскутное одеяло. Рассказ	82
Ялта – Москва: Евгения Джен Баранова. Ольга Сергеевна. Рассказ	84

ПОЭЗИЯ

Киев: Елена Шелкова. Пытаясь кого-то себе загадать. Стихотворения	86
Ростов-на-Дону – Краков: Владимир Штокман. «Там, в той провинции, плотной, как осмий...». Стихотворения	92
Керчь – Киев: Александра Шалгина. Речь моя меня раздела. Стихотворения	97
Москва: Владимир Мялин. Микеланджело Буонарроти. Монологи. Поэма	101

ПРОЗА

Одесса: Ольга Соколова. Бумажная утка. Рассказ	108
Одесса – Иерусалим. Евгений Кузьмин. Они. Рассказ	113

«ФОНОГРАФ»

Рута Марьяш. Детство на всю жизнь. Фрагмент из книги «Калейдоскоп моей памяти»	126
---	-----

«ПЕРЕВОДЫ»

Шон Маклех Патрик. Стихотворения. В переводах с русинского Семёна Абрамовича	142
---	-----

ПРОЗА

Одесса: Инна Ищук. Крысиная охота. Рассказ	148
Одесса: Геннадий Дмитриев. Падает снег. Рассказ	154

ПОЭЗИЯ

Одесса: Евгений Мучник. Я иду в филармонию.	157
Одесса: Эрлен Бейлис. Катрены от Эрлена.	162

ПРОЗА

Нижегород: Марина Воронина. **Семейные ценности.** *Повесть* 168

«ЛИТМУЗЕЙ»

«Поутру он проснулся знаменитым». *Вступительная статья Алёны Яворской* 189

Константин Паустовский. **Океанский пароход «Португаль».**

Отрывок из повести «Беспокойная юность» 190

Константин Паустовский. **О фиринке, водопроводе и мелких опасностях.**

Отрывок из повести «Начало неведомого века» 193

Константин Паустовский. **Слава боцмана Миронова.** *Рассказ* 201

Устав клуба литераторов «Под яблочным деревом» 203

Твардовский – Паустовский. *Два письма* 204

«ШКАФ»

Москва: Александр Карпенко. **Взгляд из вечности.** *О книге Эльдара Ахадова «Бытие»* 206

Москва: Александр Карпенко. **Стихи из тетради Эльги.** *О стихотворениях Тэйт Эш* 208

Москва: Станислав Айдинян. **Исповедальная самоценность...**

О книге Евгении Ажен Барановой «Рыбное место» 211

Москва: Станислав Айдинян. **Книга поэта-оренбуржца Виталия Молчанова «Фрески».** *Рецензия* 212

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ВРАГ

Давай с тобой поедem на косу.
Когда-нибудь. Хоть в прошлом, хоть в былинном.
Не может быть такого в жизни длинной,
Чтоб вечно продолжался Страшный суд,
Чтоб лес был полон стреляных косуль...
Готов молить хоть Господа, хоть джиннов,
До старости ждать времени машину,
Чтоб чёрную покинуть полосу...

За нею будет кедра хризолит,
И хризопраз полыни, прячущей седины,
Там море станет нашим паланкином,
Хранящим сны, которым чужд Эвклид,
Которые ещё не расцвели...
Готов извлечь себя из карантина,
Перекроить себя, как бомбы – паладина,
Чтоб видели дельфинов корабли...

Давай с тобой уедem на косу,
Каким бы именем тебя не звали
И сколько лет тебе в миру бы не давали,
Давай с тобой окажемся в лесу,
Где ансты давно тебя пасут,
Где зиждется берёзовая дача,
Перерастая в Сож. Я не могу иначе,
Иначе не могу, не обессудь.

БОЛЬ

1

Ты знаешь, мир умер. Фантомное счастье –
Как хрономираж, где детей кутерьма.
А здесь – только вакуум, вакуум настужь,
И я в нём – как самая страшная тьма...



Ты даже сейчас – сингулярность, омфал, ось.
Я – только с тобою, я только с Тобой! –
Во мне и себя-то почти не осталось.
Душа разболелась... Фантомная боль...

2.

Ну что ж, всё обернулось адом.
И что с того, что каждый миг,
Как вакуум – залётный атом,
Сны ждут твой знак, чтоб стать людьми...

Пуškai ты – смысл мироздания,
Пуškai – ядро души само,
Навек навесь на подсознание
Амбарный проклятый замок!

И мрак напаламами не выжечь,
Не утопить сны в водоём...
Хоть без тебя душе не выжить,
Оставь, я – *прошлое твоё*.

Пусть немые без тебя авгуры,
И мир похож на ГМО,
Лишь ярче в камере обскура
На мне предательства клеймо!

Пусть без тебя лишь Здесь я – дома... –
Молчи, скрывайся и таи...
Там – нас счастливые фантомы...
Не плачь. Я – *п-р-о-ш-л-ы-е т-в-о-и!*

И в этой келье ли, каверне,
В одной из тысячи кают –
Лишь тень твоя и здесь, наверно –
Последний мой, ночной приют.

Печёт Сансара караван –
От боли слепнет окоём,
И пусть я при смерти, взываю, –
Молчи. Я – *прошлое. Твоё*...

А что люблю тебя без меры,
Как любят дети – первый снег,
Так это лишь... мой Символ Веры...
И будет мне. И будет мне.

3.

Отринувши купол,
в побеге от юбок,
о колокол – зубы,
и копыя свои...



Сугубо суккубы
теперь будут любви,
и званны, во и-

-мя снов саблезубых...
По мне, как по трупам,
хромая, в Аид,
к своим душегубам,
шли дуры на убыль,
как мясо, сбнить.

Сугубо суккубы,
сугубо суккубы
отныне теперь.
В аквариум-кубок
разомкнутым кубом
вмурована дверь.

И если дать дуба
не хочешь, бей в бубен,
растерянный зверь –
ни браков, ни шлюбов,
сугубо суккубам,
суккубам сугубо
дари свои губы
вовекки теперь...

ТЕМБР ВНУТРЕННЕГО ГОЛОСА

*

Никто не лев. Никто не прав.
Одна – баран, второй – баран.
В Москву? Уволь! Подай мне трап
to heaven. Мне уже пора!

Инфаркт? Инсульт? Гангрена? Рак?
Болиг – душа, а прах – лишь прах...
Судьба – единственный мой враг...
Любовь – единственный овраг.

Прости меня, моя любовь.
Пусть помянут, но поминутно
я жил с Тобой весь этот сон,

хоть в горизонт твой бился лбом.
Пусть твой устойчив горизонт
и заблужденье – беспробудно...



*

Меня бог от тебя не сберёт,
Хоть и знал, чем закончится всё.
От тебя меня в домну Сварог,
Словно выжженный иней, несёт.

Только лава в моей голове.
На руках, мой разрушенный мир,
Я несу тебя вечно на свет.
Обними меня, мир, обними.

Будет тень, и – иссякнет река.
Будет свет, и – разверзнется дом,
А пока я – тебя – на руках,
И не знаю, что будет потом.

ДЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Когда я говорю,
что у меня никого, кроме неё, нет,
она говорит,
что меня нет и никогда не было,
и я понимаю,
что такое предательство
по-настоящему.
Иван-чай подле реки,
квантовые меха овнов...

Из моих писем к тебе
можно было бы составить
вторую Вавилонскую библиотеку,
и даже две.

Занимаюсь
уничтожением доказательства...

Я очень хочу,
чтобы никто, кроме неё, не сожалел,
когда я уйду,
но такого никогда не будет.

Жёлтый свет всему.
Красный свет всем.
И только я иду,
потому что не могу сделать ни шагу
от этой боли.

Девичья память – удел тех,
кто хочет улыбаться.



*

У меня на руках умерла.
Только в руки далась и – погибла.
Помоги мне, святая зола,
Пережить этот сон, этот r.i.p., lost.

Он огромен, как жизнь, этот сон,
Он велик, как сценарий Вселенной,
Где порхает в дыму горизонт,
Словно призрак в тебе, несомненной.

Попурри из твоих тет-т-тет –
Словно бабочки на горизонте.
На все стороны тьмы, их квартет –
Самолёт, словно склеп на ремонте.

Страх доверья, объятий испуг –
В нашем доме, в мерцающих стенах.
Вероятности кружат в гробу,
Словно призраки бабочек пленных.

Помоги же мне, пепел святой,
Порешить этот сон, этот trip, love.
Пусть бы только лишь я – за чертой.
Пусть бы только во сне – ты погибла.

*

Она собак любила больше, чем людей,
А я собакой не был.
Любовь, учись жить в абсолютной пустоте.
Смотри, какое небо...

Она себя любила больше, чем собак,
Она любить умела.
И от любви её скопытилась Судьба,
Всё Небо околело...

Её – надежды не осемянят.
Её – измены не обременят.
Простите нас, собаки,
Что твердь себя любила больше, чем меня,
Что льдом стал Макемаке.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Дней впереди – всё меньше, меньше,
Лишь книга обо мне скорбит –
Один ребёнок от всех женщин,
Всех тех, которых я любил.

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

СЛОВА ПРИХОДЯТ НА ВОДОПОЙ

Как под вечер ноет спина от грыж,
Так душа болит, будто жмёт в плечах.
У меня есть кот, он мохнат и рыж,
Он приходит ночью ко мне молчать.

Чтобы я могла не кричать, не петь,
Мир рукой придерживать, как живот,
Чтоб во мне дрожала земная твердь,
За края не выпустив ничего.

Чтоб услышать вдруг, как гудит маяк,
Как в морской утробе смеются сны.
У меня есть кот, у кота есть я
И почти что семь часов тишины.

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ

Хорошо, что не рок-звезда –
Радость, слышите, благодать.
Двадцать семь.
Все чужие долги отдал,
А свои не успел отдать.

Двадцать семь.
Променял миллиарды строк
На сомнительный результат.
Двадцать семь –
Это, в общем, нехилый срок,
Чтоб в итоге никем не стать.

Двадцать семь.
Не известен, не знаменит,
Не услышан, но что с того?
Двадцать семь.
Что набатом сейчас звенит,
Через год зарастёт травой.



Двадцать семь.
 Потерял свой словесный дар,
 Тишиной провонял насквозь.
 Двадцать семь.
 Хорошо, что не рок-звезда –
 Может, будет и двадцать восемь.

Как, скажи, летать теперь, братец сокол?
 У меня под рёбрами зреет солнце,
 Я его ношу в себе пятый месяц
 И не знаю, сколько ещё придётся

И какая будет за то награда.
 Я ползу по льду, прогоняя зиму,
 От того внутри расцветает радость,
 Плодоносит ужас невыразимый.

Как, скажи, летать теперь, братец сокол?
 От самой себя никуда не деться,
 У меня под рёбрами зреет солнце –
 Там, где раньше билось живое сердце.

Бросить пригоршню слов в карман – так себе валюта,
 Было б можно за них купить хоть одну минуту
 Любви – я отдал бы их сто килограммов брутто.

Чтоб в другого вращать ребром, неотрывной частью,
 Променять все свои слова на простое счастье,
 Вспоминать о былом, но, в общем, не так уж часто.

Не колоть себя изнутри ни иглой, ни спицей,
 Ни строкой, что давно не может никак родиться,
 Никуда не спешить, ведь некуда торопиться.

Не глотать чей-то крик и собственный плач до дрожи,
 В череде безмятежных дней, как один, хороших,
 Оставаться углем, застывшим в янтарной броши.

И понять – променял огонь на потёртый шиллинг,
 Ни на йоту не став выносливей и двужильней,
 Просто так потеряв всё то, для чего мы жили.
 И с тех пор не держать во рту ни строфы, ни строчки,
 Замолчать, умереть, воскреснуть, поставить точку.

Чтобы самой обыкновенной весенней ночью
 Бросить пригоршню слов в нагрудный карман сорочки.



Тишина обступает – ну же, кричи и пой!
Убегай от немого страха любой тропой,
Там, где ночью слова приходят на водопой,
Полон звуками даже воздух.

Но ложится ладонь холодная на плечо,
И под ней обгорает кожа – болит, печёт,
Под нетающим льдом становится горячо –
Не бывает теплей мороза.

Не ищи сотню оправданий, потом причин.
Звёздный отблеск горчит, но сладок огонь свечи.
Острие ищет мягкость – пой же, кричи, кричи,
Немоты заглушая поступь.

Тишина обступает, бей же её под дых,
Разгоняй ледяной туман и горячий дым.
Хватит слово держать во рту, в рот набрав воды,
Пой же – петь никогда не поздно.

Слово печёт в груди,
Мама печёт пирог.
Будешь совсем один,
Выскочишь за порог,

Выскочишь за порог,
Станешь босой на снег.
Тот, у кого нет ног,
Не оставляет след.

Надо позвать врача,
Но для того нет губ.
Ноет изгиб плеча –
Тот, что ещё в снегу.

Слово печёт во рту,
Мама пирог печёт.
Греешь под мышкой ртуть,
Ртути не горячо.

Будет сестра кричать,
Будет ругаться мать.
Надо позвать врача...
Можно уже не звать.



Мне говорили, что там, по другую сторону, будет легче.
 Нет, не то чтобы райские кущи да птички божьи,
 Но хотя бы теплее немного и света из окон больше,
 Планировка получше, раздельный санузел, большая кухня.
 Впрочем, нет, это всё не важно.

Обещали ведь что-то такое, о чём просто так не скажешь.
 Нет, не то чтобы тайна, но как будто слова из горла
 Не хотят выходить наружу, только звук – беззащитный, голый –
 Остаётся во рту и под вечер горчит, как дурной эспрессо,
 Не найти на него управу.

Нет, не то чтобы врал, говорили, по сути, правду,
 Даже больше чем правду – что-то проще, приятней, краше,
 Заменяли небесную манну небесной же манной кашей,
 Планировкой получше, светлой кухней, отличным кофе
 В белой чашке, до края полной.

Может, просто ошиблись, может, я до конца не понял,
 Что имелось в виду, слишком сложные, может, вещи.
 Говорили, что боль конечна, боль, конечно, слабей чем вечность,
 Говорили, что там, по другую сторону, места нет никаким заботам,
 Нет ни радости, ни печали...

Я стою по пояс в речной воде, чтобы солнце ловить плечами.
 Слышишь, время и вправду лечит.

Не говори, какой нынче чёртов год,
 Стали ль мы чуть умнее с тех пор, когда
 Не признавали варежек и колгот,
 Были через один – металлист и гот,
 Пили вино, текущее, как вода.

Не говори мне, сколько с тех пор прошло,
 Сколько мы жили, сердце в ладонях сжав,
 Стали ль белее шрамы на месте швов
 Или морозный воздух не так дешёв –
 Тот, что вдыхали жадно на брудершафт.

Стали ль мы чуть выносливей и сильней
 Или старей от радостей и хлопот?
 Небо сегодня ближе, но холодней.
 Я не считаю больше прошедших дней.
 Впрочем, и той, что рядом – уже не мне –
 Не говори, какой нынче чёртов год.



Будет музыка – не слова,
Не земля – трава,
Не осенняя охра – чистая синева.
Будет август лежать во рту и горчить чуть-чуть,
Сентябрю ни на йоту не уступив права.

Будет рваться тугая тишь –
Так узнай, услышь,
Как пищит полевая мышь, как шумит камыш,
Как чужая ладонь спускается по плечу
И как я говорю о том, о чём ты молчишь.

Серп луны будет злей ножа,
Будет время жать
То, что прежде мы не решались с тобой сажать.
И когда, опьянев от радости, закричу,
Приходи – мне на это нечего возразить,
Приходи – мне уже не хочется возражать.

Сочетать в себе сотню нелепых, неверных черт,
Состоять из штрихов, где каждый – небрежен, груб.
Нет ни капли гармонии в остром таком плече,
Обнажённом колене, треснувшей коже губ,

Непричёсанном локоне, лишнем тепле руки.
Но когда те, что глаже, правильной, станут в ряд,
Быть красивой привычно красивому вопреки
И несчётным своим изъянам благодаря.

В городе всё мне стража и всё – конвой:
Вязкий туман, что крутится над Невой,
Выстрел из пушки, старой, небоевой,
Чей-то протяжный вой:

«Стой, обернись, останься женою Лота!».
Город с любовью тянет меня в болото,
Ведь, чтобы я осталась к утру живой –
Не его забота.

Помни: теперь важнее не суть, а форма.
Будешь, как все, удобным, простым, конформным,
Станешь большим, похожим на человека,
Веки уронишь ночью – и четверть века



Вылетят, как из дула, в комок простынок,
Вырастет дочь, рождённая вслед за сыном.
Окна закрой, там дует, ещё простынешь.

Лета течёт за Стиксом и Ахероном,
Раненым горлом, на пол разлитым ромом.

Помни: теперь важнее лишь звук, не слово,
Словно давно приёмник подгрудный сломан.
Кашу заваришь, щедро приправишь кашлем,
Станешь – нет, не мудрее, а только старше.
Вот бы в петлю, чтоб там ни долгов, ни пеней,
Петли дверные смазать, чтоб не скрипели,
Ангелы замолчали, но мы допели.

Лета течёт за Стиксом, а Стикс – за Летой,
Порванной лентой, дверью в чужое лето.

Помни: теперь важнее не смысл, а голос,
Гордость – не знать, но знать это – тоже гордость.
В старости будет время лелеять точность,
Вырастет сын, рождённый за младшей дочкой,
Вырастут все, кого так любили в детстве,
Вырастешь даже ты – никуда не деться.
Я ухожу на небо – как мне одеться?

Лета течёт за Стиксом и перед Стиксом,
Пойманной синей птицей, иглой и спицей...
Нет, не грусти, что не удалось проститься.

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

ПРЕВРАЩАЯСЬ В СОЛНЕЧНОЕ УТЕШЕНИЕ

НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ВОЛНЫ (фрагменты мозаики)

*

сегодня
в пустоте подарочной памяти
окна маорийских хижин

мауи¹ плавучий остров
запутался в волосах времени
слушая воинов танцующих хака²

мауи рыба
на обратной стороне волны
нищет место у мира
творению

¹ Хака – танец войны.

² Мауи – в полинезийской мифологии герой-богатырь.

*

уходящий без меча
в глубину своих стен
в рукава своих костюмов
подставляет разбитые костяшки
мастеру тату –

срисуй с них печати моей борьбы
на будущее

*

сквозь рёбра ночного плена
сердечная боль
протискивается в рассвет
служит заутреню
борется со сном
но засыпает



чтобы вконец не разрушить
то малое
что ещё терпит её

*

на этой картине ветер
радостно колышет красноватые побеги спирей
игриво дышит рябью сонного озера
делая неясным изображение
креста солнечного рассвета

утренний ветер с лицом ребёнка...

на этой картине даже ты
становишься ветром
когдаходишь в неё
из своей постаревшей квартиры

*

сегодня дождь пахнет ванилью

плывут кубики азбуки
сплавляясь по луже
до первого небесного русла

собрать бы их в авоську
пусть стекают звёздами
под ноги каждому
кто не умеет смотреть
вверх

*

они отчаянно врубались
в заросли пустоты
размахивая серпами своих лун

они были все как один
сокрушая дорожные знаки
своих предшественников

они были
все

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПАМЯТОВАНИЕ

1.

морская вода стекает с ладоней

раз-два я
раз-два ты
в новом небе голуби
купаются душа в звуках свирели



я это я,
пока помню себя

сырой берег солёные волны –
смерть прошлого

там трава это боль
там земля это страх

на все старые ноты один ветреный сон
на двоих

тебе роль
мне судьба

2.

ты шепчешь:

когда боги хлопают в ладоши,

усмехается небо
светом прозрачных лун
не рождённых в этой эпохе

ты улыбаешься:

смотри,
на золотом крыльце нищие
собирают благо следующему веку,
оставляя людской плач в упряжке времени

ты хмуришься:

хрустальный бокал на тонкой ножке,
наполненный красным вином,
снова танцует танец умирающего целомудрия
в ладонях хмельной девственницы

3.

всё, что приходит в тишине
заглушает голос музыки

но ты – мысль говорящая:

жизнь – ветер, отрезвляющий на вдохе
сон – ропот, усмирённый к ночи.
если хочешь выжить в пламени
стань мелодией костра...

колышется свет небесной актинии
полёт мыльных пузырей – иллюзия уходящего солнца



4.

гитарная боль

ты играешь слова:
гляди на лунный диск

я смотрю вверх
ты смотришь везде
наши взгляды встречаются

но звуки клюют из ладоней вчерашний день

сквозь сон шепчу тебе:

история звёздного неба – пустыня рыб,
на земле вороны ищут ворота,
но бьются о сухие ставни разрушенных домов,
считая волчьи годы

ты ласково улыбаешься:

когда все мосты рушатся,
остаются коридоры,
в которых всегда распускаются цветы,
превращаясь в солнечное утепление

ПОКА

пока пьёт время тишину ночи,
неподвижны облака,
но жажда молчания утолена,
и снова сыплются слова,
барабана дождём по крышам
пока молчит ветер,
утро – здесь и сей час,
но стоит ему заговорить –
просыпается прошлое,
втискивается между строк,
оставляя послание всем,
кто дышит ветром

МАСТЕР СОБОЛЬЕЙ КИСТОЧКИ
(акварельная сюита)

мир
уходящие из цвета корабли
серый фон
прощание до завтра

мастер собольей кисточки
всматривается в оттенки красного



зачем спрашивает кто-то
в соломенной шляпке алые маки
по-детски невинны

зачем спрашивает
мир
поющие осанну двигатели
воздушным храмам

мастер собольей кисточки
не играет в ладушки –
сквозь арку в скале
души наперегонки

слишком много землястого
для испарения
слишком много водянистого
для горения

слишком много
в избытке силы
замысла

говорили ветра
говорили воды

в размытый коричневый
тёплый беж
в хаос зелёного молчания
в почти не заметное золото солнца
в бессонницу
повреждённых оползем
позвонков посёлка...

РАЗВЕ ЕСТЬ СМЫСЛ?

разве выпивает река
души рыб?

но уплывают они в море
река баюкает память о них
в каждой своей капле

разве тает
радуга твоих воспоминаний
перед глазами Небесного Отца?

но швыряет океан прошлого
к Его ногам жемчужину
в ней твоя жизнь
словно на ладони



вот – яблочный завет детства
вот – тёрпкая ежевика юности
вот – одиночество и сумерки на пустыре надежд
где-то вороны и коршуны
подстерегают заброшенную мечту
о свободе

разве есть смысл в такой жизни?
дрожит воздух от отчаянного вопроса

но снова белое облачко
слетает с акации
ароматным цветом

и снова нянчит свет
земную судьбу

МАЙЯ ДИМЕРЛИ

ПАДИ МАТ ТЕБЕ, ПАДИШАХ!

В дубовой бочке января
и холодно, и глухо.
Ворона, харкая,
сквозь мокрый снег летит.

Зима выпагивает к нам
беременной старухой,
что на ходу *цыгаркою*
молдавскою коптит.

На вёснах ласточка плывёт,
Да вот не в наши сени.
Снега цветут, как зонтики цыкут.

Здесь люди через одного
Идут к едрене фене
И реки на попятную текут.

Да и по радио без умолку бузят:
Про то, что бондарь бросил нас сто лет назад.

Берег моря
Я танцую на кромке приполя
Свинцовые тучи, оловянные волны
Солнце паяльником
Из соседней галактики
Над умывальником
Прожигает равлика-павлика
Сначала равлика...
Я танцую на кромке приполя
Беспробудно танцую, запоём
Солнце в эти минуты злое



Не моргнёт от зари до зари
 Просто ласково планет сажей
 Только ты, я прошу, не стори
 Мой солдатик бумажный
 Самый отважный
 Замри!

Звезда-Сапфир зажглась над Вифлеемом.
 У Иордана воды отошли.
 Спят журавли,
 и рыбы, постепенно
 обгладывая, топят корабли.

В хлеву плывут единственные ясли
 Во всех вообразимых плоскостях.
 Мой брат в сетях,
 Мне безутешно ясно,
 Зачем пришли умамливать дитя.

Вот вам порог. Не поминайте всеу.
 Не поминайте лихом. Всё пройдёт.
 Уже поёт
 И бредит поцелуем
 Единственным своим Искарнот.

ОСЛИК

Се Ангел Божий плыл
 средь Вифлеемской ночи:
 – Седлайте ослика!
 Бегите свет за очи!

Стамеску и ключи
 Упрячьте под порогом.
 В Египетской ночи
 вы будете под Богом!

Уже объявлена
 Великая охота.
 Вас ищут всадники,
 сексоты и пехота.

В сердечном склепе
 Слепнет Ирод-царь,
 Младенцев проливая
 киноварь.

Всё – промысел Его:
 Святиться и грешить.
 Жизнь – это только то,
 что следует прожить.



Но скоро всё свершится,
Аллилуйя!
Мария!
– Да.
– Господь тебя ревнует.

Я приведу коня на плаху
И на потеху
Ему палач предложит сена
И вскроет вены
А в Трое
Уж в запое трое –
Соображают
Мне не вернуть тебя, Елена,
Мой конь – троянский
А рядом ходит Агамемнон –
Воображает...
Он дочь за лань отдал
Не глядя
А я лажаю
Но у меня в походном ранце
Есть полотенце
И я сушу его на солнце
И вытираю
Им конский пот
Которым пагубно
Истекаю.

Ты зачем, едрёна мать,
На краю ложишься спать?
Не ложися на краю!
Не ложися, мать твою!

На краю столицы,
На краю границы,
На околице села
Не ложися с краю.

Я бы там сама спала,
Но туда стреляю.
И под ливнем, и под Градом
Будешь, гад, со мною рядом.

А не хочешь, мать твою,
Колыбельную спую
Распрекрасную мою:
Пли-баю-баю!



Мы поплыли в шахматы на ладьях,
Мы помчались в шахматы на слонах,
Скакуны арабские впереди.
У Визиря светится на груди
Тайное послание «Е1».
Перепутан вражеский господин.
Он попал в цейтнот, разыграл гамбит.
Ранен слон, контужен конь, ферзь убит
Да пехота бравая на ушах
С воплем: «Пади мат тебе, падишах!»

Это поле в клеточку не вспахать.
Выходите во поле ровно в пять,
К скакунам карабкайтесь на закорки,
Мы поскачем в шахматы на Сборке.

ВЗРОСЛАЯ СЧИТАЛОЧКА

У каждой маленькой девочки в сумочке два пистолета
Сами они постреливают, куда захотят пиф-паф
Один пистолет – это ненависть, и он чёрного цвета,
Второй пистолет – красный, и он называется love.

Любовь ненавидит, а ненависть – любит свои жертвы
Их собирает любовно: двадцать, сто, миллион.
Хочется или не хочется, лучше уж мне поверьте.
А если вы мне не верите, то убирайтесь вон!

АЛЕКСАНДР ХИНТ

ЭЛЬСИНОР

Действующие лица

Гамлет/ Режиссёр/ Фортинбрас

Горацио

Жена Режиссёра/ Гертруда

Коля/ Бернардо/ Полоний

Толя/ Марцелл/ Служанка

Офелия

Актёр-1

Актёр-2

Девушка-1

Девушка-2

Проверяющий

Массовка, актёры, слуги

Пролог. Финальная сцена «Гамлета». Полумрак.

Гамлет. Горацио, я гибну.
Расскажешь правду обо мне
Непосвящённым

Горацио. Этому не быть.
Я римлянин, но датчанин душой.
Есть влага в кубке

Гамлет. Если ты мужчина,
Дай кубок мне. Оставь, я так хочу.

Марш вдали, звуки выстрелов.

Что там за пальба?

Горацио. То Фортинбрас из польского похода
С победой

Гамлет. Передай ему, как было.

Голос Офелии. Не думай ни о чём...
Я буду ждать тебя внутри зимы.
На дне зимы... Не думай ни о чём...

Входит массовка.

Горацио. Пусть на помост высокий
Тела положат, на виду у всех.
Я расскажу незнающему миру,
Как дело было

Из массовки. Поспешим узнать.

Сцена 1. *(Режиссёр, Жена Режиссёра, Коля)*

Жена. Опять читаешь. Только не говори мне, пожалуйста...

Режиссёр. Пожалуйста.

Жена. ...что ты собираешься это ставить.

Режиссёр. Пожалуйста.

Жена. Зачем? Вот скажи – зачем? На нашей планете мало хороших современных пьес?

Режиссёр. О, как ты это верно сказала.

Жена. Имей в виду, я буду играть только при одном условии.

Режиссёр. Кажется, я знаю, при каком. Нет, я точно знаю!

Жена. Приятно, что ты меня знаешь точно.

Режиссёр. Милая... Я тебя люблю.

Жена. Просто любишь?

Режиссёр. Дорогая... Я так люблю тебя.

Жена. Так любишь? Уже лучше. Продолжайте.

Режиссёр. Очень люблю.

Жена. Смелее, юноша, не останавливайтесь.

Режиссёр. Ну посмотри... Давай. Давай вместе посмотрим.

Жена. Пусти.

Режиссёр. Посмотрим. Только честно. *(Разворачивает её к зеркалу)* Только честно. Какая ты Офелия?

Жена. Пусти! *(Вырывается)* Сволочь, всё испортил. На фестивале в Болгарии я была лучшей Офелией.

Режиссёр. Болгария... *(Жена напевает)* Да. В тысяча восемьсот... каком году это было? Напомни, пожалуйста.

Жена. Скотина. *(Швыряет в него предмет)* Ты же просто бездарь. Знаешь, я разведусь с тобой. С большим удовольствием.

Режиссёр. Так со мной или с большим удовольствием?

Жена. Со всеми. Дождёшься от тебя удовольствия.

Режиссёр. Давно ты не разводилась. Застоялась, теряешь форму.

Жена. Я всё сказала, повторять не буду. Офелия или ничего. Кого там ещё играть, в этом нафталине?

Режиссёр. Действительно, кого? Гертруда у нас уже не копируется.

Жена. Что... Гертруда?

Режиссёр. Гертруда, да. Гертруда. Гертруда.

Жена. *(Пародирует)* «Дай, Гамлет, оботру тебе лицо». Зачем ты голый вышел на крыльцо?
(Режиссёр смеётся) Господи, прости меня...

Входит Коля.

Коля. Что за шум а драка есть? Привет! Кого чествуем?

Жена. Заходи, Коля, заходи. Вот, его чествуем.

Коля. А что, хорошее дело! Хорошее! Человек хороший, дело хорошее.

Жена. Витя у нас с ума сошёл. Он собирается ставить «Гамлета».

Коля. Хор-рошее дело... Витя, это правда?



- Режиссёр. Люди считают, что поняли «Гамлета» раз и навсегда. И эпизод исчерпан. А ускользает самое главное.
- Жена. И только Витя у нас умный, от него самое главное не ускользает.
- Коля. Понятно, у Шекспира не всё проговаривается вслух. И каждый режиссёр пытается увидеть героев по-своему...
- Режиссёр. Старик, расслабься. В тексте повсюду есть приметы того, что Гамлет любит Офелию.
- Коля. Как сорок тысяч братьев.
- Режиссёр. Но происходит странное, мы не чувствуем любви. Всё стерильно и фригидно, какая-то насмешка. Что, автор дурак?
- Коля. Э-э...
- Жена. *(Напевает)* А ты такой холодный, как Гамлет в Эльсиноре...
- Режиссёр. Без одежды, только что из плена, принц затевает драку у гроба любимой девушки с её братом. Риска при этом быть убитым на месте.
- Коля. Что было бы справедливо, кстати говоря.
- Режиссёр. Может быть.
- Коля. Так он изображает сумасшедшего, всё правильно. Разве нет?
- Режиссёр. Тем не менее, здесь мы понимаем, его чувство – подлинное, настоящее. Автор рассказывает только часть истории, и делает это намеренно. *(Жене)* Да, айсберг. Но айсберг высшей категории.
- Коля. М-да. Теория заговора в действии. Интриги. Загадки.
- Жена. Это, Коля, не теория. Это уже практика. *(Мужу)* Ладно, дорогой, ты меня убедил. Коля свидетель, ты сам напросился.
- Коля. Я свидетель?
- Жена. Молчи, Коля, ты свидетель. *(Мужу)* Хочешь Гертруду? Готовься, будет тебе Гертруда.
- Режиссёр. Свет моих очей *(Падает на колени)* Чем усладить могу я прелестные твои... Прелестные твои чем усладить? *(Коле)* В ноги.
- Коля. Чего?
- Режиссёр. В ноги царице, челядь.
- Коля. А, ну да! Извините *(Аккуратно становится на колени)* Так я правильно делаю? Давно не было практики, навык почти утерян.
- Жена. Паяцы... Но это не освобождает тебя от ответственности.
- Режиссёр. Уголовной?
- Жена. Почти. Заберёшь ребёнка из бассейна. И приготовь ужин, его надо покормить после тренировки.
- Режиссёр. Когда? Слушай, у меня репетиция. Мне надо всё продумать.
- Жена. Ничего не знаю! У меня вечером спектакль.
- Режиссёр. Спектакль? Что вы говорите! А у меня вечером – девки и сауна.
- Жена. Ни в чём себе не отказывайте. Адьо. *(Уходит)*
- Режиссёр. Ты ещё не женился? *(Коля смеётся)*
- Коля. Ну и... Как ты думаешь?
- Режиссёр. Как я думаю? В последнее время – всё хуже и хуже.
- Коля. Кого я буду играть? Думаешь, Клавдия? Я его уже делал.
- Режиссёр. Играть, играть... Играть. Играть. Нет, не Клавдия.
- Коля. Да? А что... Опять старого толстого прохвоста?
- Режиссёр. Нет, Полония делает Геша. А для тебя, Коля, есть дивная роль.
- Коля. Дивная? Гм. Опасаюсь даже предположить.
- Режиссёр. Очень хорошая роль. Очень-очень. Преочень. Хорошая.
- Коля. Э-э...
- Режиссёр. Стражника.
- Коля. А-а... Супер. Четвёртого стражника?
- Режиссёр. Да. Четвёртого справа.
- Коля. Может, давай уже лучше, могильщика? Третьего снизу.
- Режиссёр. Ты роль читал? Нет. Молчи и читай.

Сцена 2. *(Бернардо, Марцелл, Проверяющий)*

- Бернардо. Какой мороз... Марцелл, не помню я
Подобных холодов об эту пору.
Пронизывает до нутра
- Марцелл. Бернардо,
Ты прав. Сентябрь выламывает кости,
Как дроворуб назойливую ветку.
Оружие держать, и то непросто.
Железный ветер
- Бернардо. Печки растопить
Датчанам суждено на месяц раньше.
- Марцелл. Но у тебя хороший эликсир,
Я знаю, там, за пазухой, Бернардо,
Я видел краем глаза. О-хо-хо...
Хоть в карауле это – преступленье,
И тяжкое
- Бернардо. Ты бредишь.
- Марцелл. О-хо-хой...
Там есть ещё на доньшке огонь?
Недолго и живьём замёрзнуть.
- Бернардо. Ты впрямь переморозился, Марцелл.
- Марцелл. Не трусь, Бернардо! Знаю достоверно,
Ты плотно приложился пару раз,
Как к девичьему рту
- Бернардо. Держи, зануда.
Да осторожней, пёс тебя побрал...
Погубишь нас, и ни за грош
- Марцелл. Спокойно
(Пьёт)
Нет причины суетиться
(Пьёт)
Охочих нет бродить у караула
В такую пору
(Пьёт. Отдаёт флягу, Бернардо пьёт)
Разве что – король.
- Бернардо. Не каркай! Хочешь смерть сюда позвать,
Без следствия, на месте?
- Марцелл. Это верно.
О том я знаю сам, не понаслышке,
Всем телом, и суставами, и лбом,
И судорожной печенью, и сердцем,
И свёрнутой скулой



Бернардо.

Но как?

Марцелл.

Однажды

Внимание на страже притупилось.
Звериный нюх, видать, на эти вещи
У нашего монарха – в темноте
Ко мне подкрался он. А я дремал.

Бернардо.

Храни нас от подобных пробуждений!
В силоч попал – не просыпайся вовсе.

Марцелл.

И я подумал так же. А, верней,
Подумать не успел – своей рукой
Восстановил порядок он железный,
И сразу в соответствие привёл
С уставом караульным. Видно, боги
Меня уберегли тогда, зачем-то
Богам ещё я нужен. Но смертельный
Тот ужас помнить буду.

Бернардо.

В доспехах ты родился.
Но говорили мне, что не всегда
Помогут в этом случае доспехи.

Марцелл.

Рассказываешь про какой-то случай?

Бернардо.

Рассказывал мой старый командир,
Как наш король с Норвежцем-королём
Рубился. Много лет прошло с тех пор,
Но очевидцы не забыли бойню.
Дрались за земли. До конца, до смерти,
Таков был уговор. Но королю
Простой победы показалось мало.
Он сбил рукой защитный шлем – другой
Отсек со свистом царственное ухо,
Как Пётр библейский. После, погода,
Ударом сбоку снёс по локоть руку.
И далее ходил вокруг Норвежца,
Пока тот истекал, не допуская
К нему людей, что сились помочь
И облегчить страданье

Марцелл.

Это сильно.

Бернардо.

Когда ж несчастный обагрив весь лёд,
От унижений корчась и от боли,
Он медленно надел его на меч,
Как вертелом – индейку

Марцелл.

Боже правый.

Бернардо.

Похлёбку, что заваривают руки,
Порой не расхлебают даже внуки.

Входит Проверяющий.

- Проверяющий.** Что за гулянье тут? Зачем вы оба
Толпитесь на одной площадке? Срам!
И это офицерский караул?
Марцелл, Бернардо, старые бойцы,
Как стадо сбились в кучу. Офицеры!
Какой-то запах
- Марцелл.** Запах? Я не слышу.
А ты, Бернардо?
- Бернардо.** Может быть. Сегодня
С полей несёт каким-то перегноем.
- Марцелл.** Да! Видимо, с полей.
- Проверяющий.** Смотрите мне...
И прежние заслуги не помогут.
Король не склонен к сантиментам. Смирно!
Приказ от короля. Следить за всем
Периметром. Отслеживать движенье.
Малейший шум – докладывать.
- Бернардо.** Так точно!

Проверяющий уходит.

- Когда не заморозят холода,
Нас доконают наши командиры.
- Марцелл.** А что за шум случился в Эльсиноре
Три дня тому?
- Бернардо.** Под руку королю
Полоний подвернулся. Недоимки,
Обычный лёгкий случай казнокрадства.
Житейский кавардак, дочь подросла,
Наряды, то да сё. Да взрослый сын.
Ему велели погасить утечку
За две недели, а не то...
- Марцелл.** Полоний в сокращённом варианте
Теперь для короля поинтересней
Полония с ушами и глазами,
И ртом велеречивым?
- Бернардо.** Это факт.
Полоний как пылающий ломбард.
Добычу взял. Теперь он сам – добыча.
Полоний нынче, как олень
- Марцелл.** Олени
Старинная забава Эльсинора.
Рога идут по весу украшений.



- Бернардо.** Коль начал, говори. К чему намёк?
- Марцелл.** Проворный темперамент датских женщин,
А моду королева задаёт.
В веселье, говорят, Гертруде равных
Не сыщется – тем более, король
В отъездах частых, войны и охота.
Вот королеве ждать и неохота,
И рядом пара-тройка храбрецов
Всегда есть под рукой. Или, верней,
Под чем они у королевы есть?
- Бернардо.** Язык что помело, метёт без дела.
Я тоже слышал. Но побереги
Причёску
- Марцелл.** Тоже слышал? И о ком,
О королёвом братце?
- Бернардо.** Шутки эти
На рынке окончательных расчётов
Идут по ценам от воротника
И выше
- Марцелл.** Коли так, уже ползамка
Ходило бы без головы
- Бернардо.** Довольно.
На вот, займи предметом подостойней
Свой суетливый рот
(Даёт ему флягу)
И мне оставь
- Марцелл.** Зверинный холод

Сцена 3. *(Гамлет, Офелия)*

Офелия веселится, осыпает Гамлета лепестками.

- Гамлет.** Ты совсем как ребёнок.
Офелия. С тобой я ребёнок. А ты – моя игрушка. Но скоро опять уедешь в свой Виттенберг.
Гамлет. Отец не хочет меня отпускать. Он считает, что я теряю время, пора заняться государственными делами.
Офелия. Он прав. Займись мной, как своим государственным делом.
Гамлет. Я поеду. Остался год, и надо довести всё до конца.
Офелия. И я снова буду тосковать всю эту долгую зиму. А ты... Ты опять будешь веселиться с рыжими немецкими девицами!
Гамлет. С девицами? Они в Виттенберге какие-то прямоугольные и с угловатыми коленками. Но ты права, надо будет попробовать.
Офелия. Откуда ты знаешь про их коленки, негодник?
Гамлет. Ох, Офелия... Ладно, всё! Сдаюсь. Про коленки рассказывали те, кто посмелей меня.
Офелия. Эти благородные господа! Обсуждать прелести несчастных доверчивых простушек... А в перерывах между девушками, когда прогуливаешь латынь, чем ты развлекаешься?



- Гамлет. Чем развлекаюсь? Мы разыгрываем театральное действо.
- Офелия. О-о... Вы бегаете ряжеными по рыночной площади и глотаете огни?
- Гамлет. Милая, у тебя потрясающие фантазии. Представь: рынок, торговые ряды. Рыбный прилавок. К торговцу подходит прохожий: – Эй, хозяин! Отчего у тебя такая несвежая рыба? Э, да она вся уже спит! – Что вы, сударь? Это самая свежая рыба во всём Виттенберге!
- Офелия. Полчаса назад она ещё плавала с друзьями у пристани.
- Гамлет. Точно! Откуда знаешь? – Ладно, хозяин! Почём у тебя вон та, которая побольше? – О, это моя лучшая рыба, сударь! Она стоит три талера. – Три талера? Что выдумал, бездельник. Ей цена один талер, да и то...
- Офелия. Один талер? Помилуйте, сударь! У меня больная жена и 18 детишек, я их всех и в лицо не упомяну! Дайте хотя бы два талера.
- Гамлет. Офелия, да у тебя талант. *(Целует её)* – Два талера? Хм. Ладно, бездельник, ты меня уговорил. Держи свои два талера. Да заверни её получше... И тут прохожий нервно оборачивается, хватая рыбу и бросается наутёк! Тут же к торговцу подлетает второй: – Где разбойник? Куда он делся? – Какой разбойник, сударь? – Который дал мне два фальшивых талера и скрылся! – О боже... Два фальшивых талера...
- Офелия. *(Смётся)* Держите! Держите бродягу! Он унёс мою лучшую рыбу!
- Гамлет. И за ним тут же бросаются в погоню. Но это не всё... К прилавку подходит соседка: – Сосед! Мне надо рассчитаться с грузчиком. Не одолжите пару монет, до вечера? Вечером я верну. *(Офелия смётся)* А вскоре приводят беглеца и его обступают толпа. Вперёд выходит торговец и задаёт всегда один и тот же вопрос...
- Офелия. Куда ты дел мою рыбу, негодяй?
- Гамлет. – Вашу рыбу? Я отпустил её домой, к родственникам, сударь. А лучше вы сами скажите, куда дели два моих фальшивых талера? Неужто одолжили их своей соседке?.. Вот. Все точно так же сменятся и идут по делам, довольные друг другом.
- Офелия. И кем в такого рода представлениях
Бываешь ты? Боюсь, на роль воришки
Ты не пригоден. Для седой торговки
Ты тоже явно староват.
- Гамлет. Я расставляю по местам актёров,
Организирую милый балаган.
- Офелия. А после наблюдаешь с возвышенья,
Как истинный античный театрал?
Ты не боишься, что когда-нибудь
Поставят балаган с твоим участием,
Но без согласия?
- Гамлет. А для чего
Пугаться неизвестного? Тем боле,
Такой спектакль идёт без перерыва
Для каждого из нас
- Офелия. А я боюсь.
Боюсь за то, что мне дороже жизни.
Я чувствую, как нечто нависает,
Когда дождя ещё в помине нет,
Но воздух тянет птицу – ниже, ниже,
К родным деревьям, укрывайся в кронах!
Услышь предупреждение небес.
- Гамлет. Я помню, моряки боятся штиля,
И сразу ищут берега потише –



Успеть быстрее бури на причал.
Так мирные года сжимают время,
И маятника ход определён.

Офелия.

Я не хочу

Гамлет.

Напрасные тревоги,
Бессмысленно о бедах говорить.
Ты – свет. И светишь вопреки погоде.

Офелия.

Я отражаю лишь твоё сиянье,
Оно струится между пальцев

Гамлет.

Знай,
Моя любовь умрёт не в этой жизни.
Когда казаться будет, что судьба
Безрадостней невыносимой ноши –
Любовь моя останется парить.
Клянусь.

Когда другие времена
Настанут, и привидится картина,
Что целый мир безумье поглотило,
И танец сумасшествия начнётся –
Любовь моя на месте устоит.
Клянусь.

Когда взорвётся белый день,
И у развилки встанут три дороги,
Налево – пропасть, и огонь – направо,
А прямо – неприятельские копья,
Моя любовь пребудет жить.
Клянусь.

Офелия.

Дай отдохнуть губам от клятвы.

(Делает его)

Ты навсегда, как первое причастье.
Ты драгоценней тех, кто мне знаком,
И кто неведом. Ты дороже истин.
Ты – исповедь моя

Гамлет.

Довольно слов.
Здесь, на ладони, нет пути назад.
Я за тобой пойду в крошечный ад.

Офелия.

Как нищий отдаёт кольцо за ужин,
Я за тебя закладываю душу

Сцена 4. *(Режиссёр, Жена Режиссёра)*

Жена.

Ты ставишь очень чувственно. Получается интересно, такого не ждёшь. Для этой пьесы довольно необычно.

Режиссёр.

Тебе нравится?

Жена.

Интересно.

Режиссёр.

Странное дело...

Жена.

Что, милый?



Режиссёр. Говорю, странно. Сколько у него похабных шуточек, разбросанных по всему тексту.
Жена. Что странного? Человек для людей работал. Искусство в массы.
Режиссёр. Зачем массам искусство? Оно и так уже... Принадлежит народу. Покажи людям корову, плавающую в формалине, или покрашенный параллелепипед, и они уже рассуждают о новом слове или о глотке свежего воздуха.

Жена садится в позу Одфелии.

Жена. Что? Что-то случилось?
Режиссёр. Да, мой принц.
Жена. (Садится у её ног) Актёры не умеют хранить тайн, они всегда всё скажут.
Режиссёр. Он нам скажет, что значило то, что они сейчас показывали?
Жена. Да, как и всё, что вы ему покажете. Вы не стыдитесь ему показать, а он не постыдится сказать вам, что это значит.
Жена. Вы нехороший, вы нехороший! Я буду следить за представлением.
Режиссёр. Вы думаете, у меня были грубые мысли?
Жена. Я ничего не думаю, мой принц.
Режиссёр. Прекрасная мысль – лежать между девичьих ног.
Жена. Что, мой принц?
Режиссёр. Что-что... (Встаёт) Ты понимаешь, куда его всё время тянет?
Жена. Понятно. А куда ещё должно тянуть?
Режиссёр. Удивительно. Это удивительно. Работа на контрасте – вставлять скабрёзности в уста любимых героев.
Жена. Кстати! О нелюбимых героях. Я не вполне понимаю роль.
Режиссёр. Чего ты не понимаешь?
Жена. Если Гертруда действительно любит этого человека, зачем она прыгает в постель к брату своего мужа? Не понимаю.
Режиссёр. Там, по-моему, всё понятно. И вообще, что странного? Нормальная ситуация – замужем за одним, любит другого, а спит с третьим. (Жена смеётся) Так надо.
Жена. Спасибо. Иногда напоминаешь, за что я полюбила тебя 15 лет назад.
Режиссёр. А сейчас не любишь?
Жена. Спроси у Одфелии. Ты, кажется, положил глаз на эту девочку из училища.
Режиссёр. Бред.
Жена. Кстати, какой глаз ты на неё положил? Левый, правый? Или оба сразу? Девочка хорошая, хорошая. Спору нет.
Режиссёр. Мы проходили сцену! Это моя обязанность, объяснить молодой актрисе роль. Я за это деньги получаю.
Жена. Самозабвенно любит работу... Удовольствие, и ещё деньги платят. Милый, как называется работа, где платят за удовольствие? Это не избавляет тебя от необходимости отвезти ребёнка на музыку. А после забрать его.
Режиссёр. Дорогая... Лишь бы ты хорошо сделала роль.
Жена. Кстати, роль. Роль, роль, роль... И что, Гертруда вообще не спит с тем, кого любит?
Режиссёр. Точно неизвестно. Может и спит, но меньше, чем ей хотелось бы.
Жена. Да? Это обидно. Наверно, надо плотнее поработать с партнёром. Познакомиться с ним получше, так сказать, для более естественного контакта. Для достоверности погружения.
Режиссёр. Попробуй только.
Жена. Я только и хочу – попробовать. В конце концов...
Режиссёр. Гм.
Жена. ...это моя профессиональная обязанность. Константин Сергееч рекомендует именно такой... Мэтод. Старые технологии. Олдскул.



Входит Горацио, он в плаще.

Режиссёр. Тише.
Жена. Что он будет делать?
Режиссёр. Я не знаю. *(Уходят)*

Сцена 5. *(Горацио, Актёр-1, актёры)*

Актёры и актрисы веселятся за столом. К ним подходит Горацио.

Горацио. Прошу прощения, господа, что я вторгаюсь в ваше весёлое застолье.
Массовка. – Ну что вы, сударь! Присоединяйтесь!
– О! А тут симпатичный господинчик.
– Идите к нам, сударь! Идите сюда.
– Красавчик, не присядете рядом? У нас место есть.
Горацио. Ведь вы актёры?
Актёр-1. Всё верно, сударь. Это маленькая пирушка по поводу представления. Коли желаете, можете составить нам компанию, если не чураетесь бедных актёров. *(Ему шепчут на ухо)*
О-о... Конечно, сударь, мы знаем о печальном событии и чтим траур по безвременной кончине нашего дорогого короля. Как раз сегодня, в память о нём, давали патристический спектакль.
Массовка. *(Поют хором)* Реки и леса без края! Без края!
И бескрайние поля!
За тебя я, Дания родная,
До дна я
Выпью, Дания моя!
Выпью, Дания моя!
Актёр-1. Актёрские обычаи святы, сударь. У нас принято провожать каждое представление, во славу Мельпомены. Но ежели сударь думает, что мы нарушаем траур и глумимся над памятью нашего монарха...
Горацио. Нет, нет, прошу вас! Продолжайте. Ведь вы руководитель труппы?
Актёр-1. Именно так. Не желаете выпить с нами?
Горацио. Почту за честь.
Актёр-1. Прекрасно. Кубок нашему гостю! Кубок... За что мы выпьем?
Горацио. Во славу искусства.
Актёр-1. Хвала Аполлону, святые слова. Во славу искусства!
Все. Во славу искусства! *(Все пьют. Веселье продолжается)*
Горацио. Мы можем переговорить?
Актёр-1. Конечно, сударь. *(Отходят в сторону)* Простите, вы не бывали у нас в театре? Я помню лицо.
Горацио. Возможно.
Актёр-1. Ну конечно! На премьере, вы были в компании принца. Вот только имя ваше у меня...
Горацио. Тем лучше. Чем меньше лишних имён мы запоминаем, тем лучше. Идут у нас дела.
Актёр-1. Как угодно, сударь. Как угодно. Вам виднее.
Горацио. Я хочу предложить вам работу.
Актёр-1. Прекрасно! Мы всегда рады работе, и охотно берёмся за любое...
Горацио. Работа не здесь, на выезде. И, пока, только для вас одного.
Актёр-1. Для одного?
Горацио. Говорят, вы удивительно подражаете чужим голосам. На дне рождения бургомистра вы так показали самого бургомистра, что смеялись все. Включая бургомистра.
Актёр-1. Он добрый малый и хороший человек. Хотя, говорят, быть добрым в наше время – непозволительная роскошь.
Горацио. А на сцене вы изображаете царей и героев?



- Актёр-1. Да, верно. Падишахов, фараонов,
Богов, полубогов Эллады древней,
Неугомонных Цезарей седых,
Вождей племён, великих полководцев,
Чей оружейный колокол в ушах
Грядущих поколений; царсворцев,
Израненных и в битвах, и в любви –
У каждого свой пламень и мороз,
Своё лицо, своя фактура тени,
Неповторимый смех и запах слёз,
Звонящий голос и особый тембр,
Который им настроила природа.
- Горацио. Та роль, что я хочу вам предложить,
Важней всего, что вы играли до.
Партнёр... Опасен. Сцена непроста.
И промах невозможен. Но оплата
Покроет всё с лихвой.
- Актёр-1. Не знаю, право.
Уж лучше говорите всё, как есть.
- Горацио. Вам предстоит создать театр жизни
И смерти. А, верней, на тонкой грани
Меж ними. Выжимая весь талант.
И весь свой опыт. И желанье жить.
Театр ночи в Эльсиноре.
- Актёр-1. Всё это, сударь, как-то необычно.
И жутковато. Видно, не по мне.
И я отвечу – нет.
- Горацио. Не торопитесь.
Наш разговор имеет некий статус,
И здесь нельзя так просто отказать.
Актёр не может быть вполне свободен,
Когда он вечно по уши в долгах.
Расписка ваша?
- Актёр-1. Пятьдесят дукатов...
- Горацио. Да, пятьдесят дукатов.
Хоть сумма не предельно велика,
Но у неё истёк срок погашенья.
Зато взамен начнётся срок лишения.
Театр представленье завершил.
Огни погасли. На двери замок.
Ответом «нет» даёте делу ход.
- Актёр-1. А вы не тот, кем сразу представлялись...
Что, если позову сейчас друзей?
Такого поворота не боитесь?



- Горацио. Ничуть. Я не питаю к вам вражды,
Напротив. Будет горько сознавать,
Что этим опрометчивым движеньем
Убили и себя, и всех собратьев.
Огласка дела означает смерть.
- Актёр-1. *(Пауза)* Что делать мне?
- Горацио. Вам должно не позднее, чем через час,
Собраться. И друзей предупредить,
Сказать, что уезжаете на время.
Но более – ни слова.
- Актёр-1. Здесь что-то говорилось про оплату...
- Горацио. Конечно. В первом акте вы один
Играете. И весь барыш при вас.
По завершеньи, в случае успеха,
Сто золотых монет
- Актёр-1. Сто золотых...
- А если неуспех?
- Горацио. *(Держит бумагу)* Тогда для вас
Вот это будет самый лёгкий выход.
- Актёр-1. Коль вы упомянули первый акт,
То есть второй
- Горацио. Позднее вы с театром,
Как будто бы случайно, по пути,
Заседаете с гастролью в Эльсинор.
Но – лишь при получении сигнала.
По окончании, в придачу к тем,
Ещё сто золотых
- Актёр-1. Сто золотых...
- А что с бумагой этой?
- Горацио. Теперь судьба зависит лишь от вас.
В дорогу через час. У перекрёстка.

Горацио уходит, Актёр-1 возвращается за стол.

Сцена 6. *(Режиссёр, Коля, Толя, Офелия, массовка)*

На сцене репетиционный беспорядок. Режиссёр общается с массовкой.

- Режиссёр. Так, всё. Внимание. Тише! Идёт репетиция, между прочим. Сцена шестая. Полоний,
Служанка, Офелия. Полоний? Полоний! Где Геша?
- Толя. У него дома что-то. Кажется, трубы прорвало. Он сантехника ждёт.
- Режиссёр. Трубы... Хорошо, я делаю Полония. Служанка? Где Нина?
- Массовка. Так, а Нина, она... Гешина жена.



Режиссёр. Что вы говорите? А я не знал! То есть, Нина следит, чтобы Геша не изменил ей с сантехником. Смешно. Нет двух актёров, это смешно. Господа, у нас репетиция! Я всех поувольняю, к чёртовой матери.

Входит Коля.

Коля. *(Поёт)* Всех уволю, всех уволю, буду сам её играть!
Сам сыграю, сам сыграю эту пьесу только я!
Да, только я! Да, только я! Да, только я-я-я!..

Режиссёр. Коля... Здрасс-ть... *(Показывает на часы)*

Коля. Витя, там такие пробки. Ты же знаешь, я всегда...

Режиссёр. Нет, Коля, сам я играть не буду. Иди сюда.

Коля. Зачем?

Режиссёр. На. *(Даёт ему текст)* Будешь Ниной.

Коля. Так я же... *(Коллеги смеются)*

Режиссёр. Не надо меня благодарить.

Коля. Витя, давай я лучше... Полония. Я это знаю. Ну?

Режиссёр. Знаешь? Ладно. *(Даёт другой текст)* Вот, отсюда. *(Смотрит, как Толя общается с масовкой)*
Толя... Толя!

Толя. *(Очнувшись)* А!

Режиссёр. Милости просим.

Толя. Чего? Какой милости?

Режиссёр. Поздравляю. *(Даёт ему текст)*

Толя. Э-э... Я не могу быть Ниной. Она Гешина жена.

Режиссёр. Понимаю, Толя. Понимаю. Это будет непросто.

Толя. *(Проходя мимо Коли)* Вот сука...

Режиссёр. Внимание! Тишина. Сцена шестая.

Коля и Толя мгновенно преображаются.

Полоний. Миранда! Жду тебя с утра

Служанка. Простите, господин! Мой зеленщик
Подзадержал меня, его продукты
С двойным стараньем надобно смотреть,
А то гнильё останется в корзинах.
Меня же сами вы потом споните,
Что я не углядела

Полоний. Мелешь вздор!
Зеленщика сменить – чего уж проще?

Служанка. Так вы же сами давеча велели
Искать, где подешевле свежий опт?
Уже забыли вы? Три дня тому
Конфуз с мясными блюдами, прилюдно.
Стыда не оберёшься

Полоний. Полно, полно!
Я не о том хотел потолковать.
Ты двери крепко притворила?

Служанка. Плотно.



- Полоний.** Тебя я для того сюда позвал,
Чтоб ты мне без утайки, достоверно,
Как добрая служанка, рассказала,
Что со здоровьем госпожи.
- Служанка.** В толк не возьму, о чём вы говорите?
- Полоний.** В толк не возьмёшь? Уже который день
Офелия бледна до истощенья.
У ней, по слухам, неприятье пищи.
- Служанка.** Мой господин, о том не знаю я.
Но если госпожа и нездорова,
У девушек такое не впервой.
Обычные дела, что каждый месяц
Случаются
- Полоний.** Так значит, ни одной
Причины для волнений? А скажи,
Семья твоя в порядке ли, Миранда?
Здоров ли муж? Не голодают дети?
Всё так же согревает дом родной?
Ночлег надёжен и горяч очаг?
- Служанка.** О, господин мой, милостиво небо!
Господь свидетель – так оно и есть.
- Полоний.** Когда и впредь желаешь, чтобы жизнь
Была с тобою милостива – скажешь...
Иначе, если ты солгала мне...
Клянусь пред небом, ты лишишься сна.
А, значит, и семья твоя...
- Служанка.** *(На коленях)* Чем я вас прогневила?!
- Полоний.** Говори.
- Служанка.** Мой добрый господин, не знаю точно...
Достойно ли давать пустым словам
Дорогу? Это грех, и превеликий.
У старых женщин лишь дурные мысли
Да глупые догадки
- Полоний.** Говори.
- Служанка.** Когда была я много лет моложе,
И ветер в голове, и всё такое,
И у себя похожие приметы
Я находила, что у госпожи.
- Полоний.** Когда?
- Служанка.** Такое часто происходит...
Вы только не подумайте, что я...



Не принимайте близко, господин!
По молодости лет, в семейной жизни...
Когда зачат ребёнок... О, мадонна

Полоний. Что было здесь, о том забудь. Сотри.
Развей по ветру. В ступе растолки
И след воспоминаний. Брось в огонь.
А если выйдет за пределы дома
Хоть мизерное слово

Служанка. Господин!
Исполню всё, о чём вы повели.

Полоний. Иди. Рот на замок. Да улыбайся.
И позови Офелию сюда.
Но ей – ни слова.

Служанка уходит. Входит Офелия.

Офелия. Меня желали видеть, господин мой?

Полоний. Ты чем-то занята?

Офелия. Я выбирала платье для спектакля,
Что вечером объявлен.

Полоний. Спектакль будет, в том сомнений нет.
Ты почему-то, милая, бледна.
Как чувствуешь себя?

Офелия. О, хорошо.
Быть может, я ещё переживаю
Сегодняшнюю странную беседу,
Вы в галерее слышали её.
Источник неприятных впечатлений,
И нужно время, чтобы их рассеять,
Пока румянец на лицо вернётся.

Полоний. И боле нечего добавить?

Офелия. Добавить? Право и не знаю, что.

Полоний. Я думал, ты сама расскажешь – что.

Офелия. О чём, отец?

Полоний. О Гамлете! Об этом!..
О той беде, что приключилась с нами.

Офелия. Беде? Какой?

Полоний. Не лги! Я знаю всё.
Ты моего ослушалась приказа.
Ведь я велел от Гамлета держаться



На расстоянии. Он прокажён!
Но ты мне дочь... И я хочу понять

Офелия. Когда понять желаете меня,
Поймите перед тем – судьба упорней
Любой тщеты сопротивленья ей,
Любого представления чужого
О том, что должно, и чему не быть.
Сильней угроз и повелений крови,
И материнской, и отцовской воли.
Сильнее тех, кто думает иначе.

Полоний. Ещё ни разу прежде не слышал
Я дерзости от дочери, ни разу
Не помышлял о злом непослушанье.
Ты так заговорила... Это ново.
Вор изловчился и в карман залез.
Тиха запруда, но не дремлет бес.
Ты незнакома мне

Офелия. Не только вам.
С недавних пор, себе я незнакома.

Полоний. Довольно. Это всё пустые бредни.
Ты на спектакле будешь улыбаться,
Чтобы пресечь огласку. А потом
Из дома – ни на шаг! До совершенья
Того, что должно совершить

Офелия. Отец!

Полоний. Ни слова! Ныне будет только так.
На некий срок, для всех ты нездорова,
Пока я сам не приведу знахарку,
Которая тебя освободит.

Офелия. Никто ко мне не может прикоснуться!
Любому, кто на это посягнёт,
Я буду дикой кошкой.

Полоний. Что ж... Надо правде посмотреть в глаза.
Ты зарываешь нас живьём в могилу,
Себя, меня – и брата заодно!
И хочешь погубить, что строил я,
По брёвнышку, по камню

Офелия. Что ж, посмотрите ей в глаза, отец!
Я Гамлета люблю сильнее жизни.
Его дары – судьбы моей дары.
А жизнь моя – моя, и только.

Полоний. Гамлет
Ничто! Пустое место. Барабан!
Его никто не вспомнит через год.



Он срочно уезжает в ссылку – морем,
До Англии. И боле не вернётся.
И след его – наследственный ребёнок -
Что шнур порохового фитиля!
А кто его зажжёт – тот не жилец.

Офелия. До Англии... Постылая дорога.
Но я на всё готова вместе с ним.
Томиться в трюме. В клетке голодать.
Идти слепой пустыней без воды.
С ним вместе у костра последней коркой
Делиться – слаще пира во дворце.
С ним даже кандалы – золотая цепь.
Он муж мне

Полоний. Он уже приговорён!
Ходячий нуль! Едва живые мощи.
Ты на его корабль не попадёшь.
И будешь делать, что необходимо.
А если нет... Тогда ты мне не дочь.
Я прокляну тебя

Офелия. Проклятья эти
Назад приносит вездесущий ветер.

Полоний. Назад он не вернётся!

Режиссёр. Так, стоп! Спасибо, хорошо. Спасибо. (*Офелия уходит, её провожают взглядами*) У кого есть вопросы?

Массовка. Виктор Петрович, мы нужны?

Режиссёр. Нет. Завтра в два часа.

Массовка. До свидания! (*Уходят*)

Режиссёр. До свидания. Что, Коля? Есть вопросы?

Коля. Да, Витя. Зачем мы с Толей сейчас репетировали? Мы же не играем это. Или я чего-то не понимаю?

Режиссёр. Гм. Ещё вопросы?

Коля. Объясни ещё раз, подробно, всю линию с Призраком. Специально для Толи.

Режиссёр. Призрак для Толи... Так. Первые два раза он является только вам. (*Голе*) Ты в курсе обмана. (*Коле*) Ты – нет. Это как бы репетиция и, одновременно, способ втянуть Бернардо в мистификацию.

Коля. Я хороший, я не знал.

Толя. Хороший, но лопух.

Коля. Да, я хороший. А ты – сука.

Режиссёр. Вот именно. Марцелл всё знает и контролирует ситуацию на случай, если Бернардо догадается. В третий раз уже подключается Горацио. Это последняя репетиция, она окончательно превращает Бернардо в искреннего свидетеля. Теперь всё готово, и можно заманивать на сцену главное действующее лицо.

Коля. Когда Горацио кричит «Задержи его!», а он «Ударить протазаном?». Это рискованно. Зачем?

Режиссёр. Не рискованно. «Ему являем видимость насилия, ведь он неуязвим для нас». Театр уже запущен. Всё должно работать на мистерию.

Толя. Мы с Горацио удерживаем принца, когда он порывается за Призраком. Где логика?

Режиссёр. Вы его *как бы* удерживаете! Как бы. Понятно, что остановить Гамлета уже нельзя.

Толя. А зачем я говорю «Подгнило что-то в Датском королевстве»?



Коля. Ты говоришь это о себе.
Толя. Да ладно!
Режиссёр. (*Уходя в себя*) Удержать его нельзя... Вы просто страхуете принца от шока и самоубийства... Вам нужен живой Гамлет...
Толя. А зачем... (*Коля зажимает ему рот, они уходят*)

Сцена 7. (Гамлет, Горацио)

Гамлет спит. Входит Горацио.

Горацио. Он спит. В пустой кладовке. После шума, Скандального бродячего театра, Истерики у Клавдия, измены Тех, кто навеки в преданности клялся. Он спит. Новорождённое дитя. Он спит. Ждёт королева разговора. Английская темница ждёт героя. Корабль напрямиком идёт на рифы. Он спит. Важнее нет сегодня дел. Четыре своры гончих наготове. Стервятники оставили гнездовья. Повозка под уклон разогналась, Возница бредит пропастью! Он спит. Рога трубят. У лошадей одышка. Кабан уже несётся через рощу. Охотники с оружием застыли, Как статуи. Он спит. Не беспокоить. Пересекли захватчики границу. Защитники в последнем бастионе. Огонь добрался до его постели. Он спит.

Гамлет. Какой дырявый свет... Горацио! Сквозь решето, к себе уходит сон, Идут дуэтом страх и наважденье.

Горацио. Была решимость два часа тому – Теперь кошмары создают химеры.

Гамлет. Иллюзия и страх наперебой В кормушке жизни, четырьмя руками, Откармливают будущее наше. Железо привлекается магнитом, Но не спросили бедное железо, По нраву ли ему магнит

Горацио. (*Гихо*) О, Гамлет, Ты сам – магнит для бедствий и железа.

Гамлет. Я был на вечеринке у Морфея По срочным пригласительным билетам, А от таких стремительных депеш Отказываться – лишь себе дороже.



И двух часов не спал, ты говоришь?
Сказали б, двести лет, не удивился.
Есть новости, Горацио?

Горацио.

Ваш Клавдий

Театром до предела вдохновлён.
Поставил Эльсинор по стойке смирно.
Актёры живо бросились в бега.
Двойная стража. Всюду жгут огни.
И ищут вас... Чем так расстроил сон?

Гамлет.

Похож на явь.

Горацио.

Вот повод огорчаться,

Поскольку явь напоминает сон.

Гамлет.

Сегодня так события сплелись,
Что стали неотделимы ото сна.

Горацио.

Приснилось что-то явное?

Гамлет.

Возможно.

А, может быть, действительность спала.
Мы видим профиль зеркала – и только.

Горацио.

Мы ходим мимо зеркала кругами.

Гамлет.

Совершенная фигура.
Положено быть круглым, как ядро,
Что мчится на свидание с некруглым.
Как лунная улыбка. Как природа,
Что движется по замкнутому циклу
И вписывается в любой квадрат.

Горацио.

Вам снилась геометрия? Она
Источник огорчений?

Гамлет.

Нет, попроще.

Сон начинался здесь. Меня призвала
Для царственных нравоучений мать.
Я шёл туда. Потом увидел дядю,
Он, стоя на коленях с постной рожей,
Замаливал грехи – вопрос решал
Единственный удар, хотя, возможно,
Он был достоин тысячи ударов.
Я удержался, продолжая путь.
Но лишь на этот раз, поскольку в спальне
Полоний смерть нашёл.

Горацио.

Полоний? В спальне королевы?

Гамлет.

Да. Я убил его в спальне.

Горацио.

Если можно, расскажите об этом подробнее. Это важно.

Гамлет.

Вижу, Горацио, ты всерьёз занялся толкованием снов. Это разумно, из нашей истории можно соорудить фолиант на заданную тему.



- Горацио. Принц! Прошу вас.
 Гамлет. Какую из двух версий ты желаешь услышать?
 Горацио. Из двух? Ту, что вы помните.
 Гамлет. Я помню четыре, но не будем вносить путаницу. Итак, рассказать тебе, что я видел, или что произошло на самом деле?
 Горацио. Боюсь, мы так не двинемся с места.
 Гамлет. Бояться этого означало бы бояться неприхода царствия небесного. Ну да ладно, слушай. Когда мать окончательно смирилась с тем, что я пришёл на её зов, в спальне пошёл снег. Он был настолько чист и светел, что выявил не только будущее, но и ушедшее. Так на полу образовалась цепочка следов, то были птичьи следы. А поскольку птицы, способные оставить след, здесь уже не водятся, я понял – налицо обычный обман. Я разгадал это фокус, Горацио! Полоний умер в переходном состоянии, ещё не будучи птицей. Он умер быстро и без мучений. Ну, как история?
 Горацио. О, принц...
 Гамлет. Клянусь, это был хороший удар. Трудно поверить, что во сне можно так безупречно ударить.

Показывает ему тело Полония.

- Горацио. Боже... Он мёртв.
 Гамлет. А я о чём твержу? Абсолютно мёртв.
 Горацио. Но при каких... Принц, говорите, как есть.
 Гамлет. Мы столкнулись в галерее, лицом к лицу, и он сказал мерзость. Всё бы ничего, но она касалась его единственной дочери.
 Горацио. Вы знаете про Англию?
 Гамлет. Что случилось с Англией? Ей богу, было бы жаль потерять такую хорошую страну. Куда ещё отправлять врагов, коих неудобно убить прямо здесь?
 Горацио. Знаете.
 Гамлет. Что Гамлета высылают в Англию? Это знает даже немой мальчишка из сапожной мастерской. Кстати, именно он рассказал мне об этом.
 Горацио. Он не сказал ещё кое о чём? Уже обсуждается не высылка, а более серьёзные меры. Вас ищут, принц. Прошу, будьте пока здесь. Запритесь изнутри, я скоро вернусь.
 Гамлет. Ты добрый христианин, Горацио? Иисус учит отказаться от привычки к наслаждению, претерпеть и войти узкими вратами. То есть, жизнь это тюрьма для плоти, и твоя просьба запереться вполне логична. Но что, если жизнь – испытательный полигон? На полигоне положено воевать. Почему бы просто не выйти туда с открытым забралом?
 Горацио. Прошу вас! Запритесь. Никому, кроме меня, не отвечайте.
 Гамлет. В чём смысл? Роковой разлив реки
 Простой щеколдой не остановить.
 Не выжить до утра в костюме шуки,
 Когда у плавника маячит сеть.
 Не быть вторые сутки однодневке,
 Что видела один рассвет – и только,
 Взгляни её глазами, что под вечер
 Про осторожность думает она?
 Эфир вращает, наяву, во сне ли,
 Земной необходимости детали,
 Поскольку должно колесу судьбы
 Вращаться – так и создано оно.
 Положено снегам идти, а после
 Лежать, до марта согревая мир,
 А если он пойдёт наверх, искать



Родное облако? А лист не будет
 Зигзагами кружиться в октябре?
 А птицы в декабре оставят юг,
 Твердя, что он безмерно им наскучил?
 А человек не станет умирать?
 Здесь выбор, хаос или неизбежность.
 Не может без конца таиться зверь.
 Судьба непререкаема.

Горацио. Смирились вы... Неужто обречённость?

Гамлет. Ничуть. Пока – одна необходимость.

Горацио. Прекрасно. Я прошу вас соблести
 Необходимый уговор охоты,
 Не мчать вперёд, пока идёт стрельба.
 Войскам нельзя на ощупь штурмовать
 Уловки неразведанных позиций.
 Неосторожность падает на лёд.

Гамлет. Израненная рыба не клюёт.
 Ход изменений вспять не повернуть.

Горацио уходит.

Лишь зеркала показывают суть.

Сцена 8. (Актёры, Марцелл, Бернардо, Актёр-1)

На сцене Актёр-2 и две девушки.

Девушка-1. Слушайте, что мы тут делаем? Это каменный век, муть какая-то. Актёры, стражники...
 Ужас вообще.

Девушка-2. Ну да, конечно. И слов не дают.

Девушка-1. Та ладно.

Актёр-2. А я тебя понимаю.

Девушка-1. Правда?

Актёр-2. Да. И даже сочувствую. Ты же «Гамлета» не читала? Нет. Вот тебе и скучно. Ты просто
 не понимаешь, что здесь происходит.

Девушка-1. Ой, ладно. Шекспир это неактуально. Меня, между прочим, пригласили в другую
 труппу.

Девушка-2. Классно. И что там?

Девушка-1. Там современная пьеса. «Бэтмен навсегда».

Актёр-2. Супер. Ну, и как он там?

Девушка-1. Там, короче, девчонка забеременела. От парня.

Девушка-2. Что, серьёзно?

Девушка-1. Да-а.

Актёр-2. От Бэтмена. Причём, забеременела навсегда.

Девушка-1. Та ладно. А парень там подсел на комиксы. А её бывший вернулся из другого города.
 А у неё родители.

Актёр-2. У неё родители? Фантастика. И что у них там, с комиксами?

Девушка-1. У них всё время тёрки.

Актёр-2. Потрясающе. О чём?



- Девушка-2. Подожди, я угадаю! Я угадаю. Они... Они не могут решить, от кого у неё ребёнок.
 Девушка-1. Точно! Ты уже видела? Правда, классно?
 Актёр-2. И на какую роль тебя пригласили? Бэтмена?
 Девушка-1. Нет. Тоже в массовку.
 Актёр-2. Ну хорошо, Шекспира ты не любишь. А что читаешь?
 Девушка-1. Мураками.
 Актёр-2. А помнишь у Мураками? «По-вашему, на мне играть легче, чем на флейте? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя».
 Девушка-1. Конечно! Я вообще люблю Мураками.
 Девушка-2. *(Смётся)* Лю-ба! Ну это же...
 Актёр-2. Ладно, какая разница? Шекспир, Мураками. Правда, Люба?

Входят Марцелл и Бернардо.

- Марцелл. Сейчас тут появятся актёры. У меня приказ, их главного надо сопроводить в замок.
 Бернардо. И что им будет?
 Марцелл. Я не знаю, Бернардо. Они же приезжие, что им может быть? Поговорят и отпустят.
 Бернардо. А где принц? Актёры были под его защитой.
 Марцелл. Не знаю. Пока меня не будет, посмотрите, чтоб остальные не лезли внутрь. Ни к чему это.

Входит Актёр-1 и пара актёров. К ним присоединяется Актёр-2 и девушки.

- Марцелл. Стойте! Не торопитесь.
 Актёр-1. Пропустите нас! Мы покидаем Эльсинор.
 Марцелл. Вас призывает известное вам лицо. *(Гих)* У него есть нечто, что вас интересует.
 Актёр-1. Я не знаю... А мои друзья?
 Марцелл. Друзья вас подождут. Идёмте.

Марцелл и Актёр-1 уходят.

- Актёр-2. Куда его ведут? Не нравится мне это. Мы идём за ним!
 Бернардо. Ваш друг ушёл по делу, он скоро вернётся. Подождите, стойте! Туда нельзя! *(Один из актёров прорывается внутрь)* Нельзя, я говорю! Стойте! Ждите здесь!
 Массовка.
 – Мы не будем ждать!
 – Нет, мы не будем!
 – Идёмте! Пойдём за Вито!
 – Идём!

Внутрь прорываются ещё двое. Бернардо остаётся удерживать девушек.

Сцена 9. *(Гертруда, Горацио)*

В комнате Гертруда. Открывается дверь.

- Гертруда. Ты, Гамлет? Жду уже который час.
 Горацио. Позвольте войти, о королева?
 Вы здесь одна?
 Гертруда. Горацио!
 Горацио. Слуга ваш.
 Есть кто-нибудь ещё?



- Гертруда. Нет, никого.
Горацио. Вас может Клавдий посетить сегодня?
- Гертруда. Не думаю. Он слишком раздражён
Театром. Мечет молнии и стрелы...
Я тосковала по тебе
- Горацио. Постой,
Беспечность в спальне означает гибель,
Особенно в сегодняшнем дыму.
Теперь не время
- Гертруда. Позабыла я,
Когда в последний раз мы были вместе.
Как упоённо ты меня любил...
И каждый миг с тобой неповторим.
Измучилось, истосковалось тело
- Горацио. Поверь, Гертруда...
Не до безумства. Мы на волоске,
На перекрёстке бури, прямо в центре
Такого урагана, что сметёт
Всё на пути...
- Гертруда. Ты о спектакле?
- Горацио. Спектакль впереди. Здесь был Полоний?
- Гертруда. Полоний? Но зачем? Утратив сон,
Я Гамлета бесплодно дожидалась.
Но не напрасно... Вот награда.
- Горацио. Постой же, говорю! Нет ни минуты
Для нежности. Полоний мёртв.
- Гертруда. Великий боже...
Предвестье гроз, дыхание беды.
Как это случилось?
- Горацио. Помолчи.
Ты можешь сделать то, о чём скажу?
- Гертруда. Тебе в угоду, я на всё готова.
С какой скалы мне броситься прилюдно?
Какую плаху, под какой топор?
Какой настой отравленный?
- Горацио. Чуть позже
Ты, трепеща от ужаса, объявишь,
Полоний мёртв! Его безумный принц
Убил без колебания. Подробней –
Во время разговора в этой спальне
Полоний укрывался за ковром.
Услышав шорох, Гамлет бил насквозь,



И старика сразил одним ударом.
А после, что-то дико бормоча,
Он тело поволок. Куда – не знаешь.
Ты можешь сделать это? Ничего
Не исказишь?

Гертруда. К чему такая ложь?

Горацио. Ему иначе здесь не уцелеть.
И дня не проживёт – его зарежут
В каком-нибудь углу. А так есть шанс.
Безумец неподсуден для расплаты.
Он будет сослан в Англию

Гертруда. Ты знаешь,
Что значит «сослан в Англию»? Поверь,
Не для защиты Клавдий отсылает,
А прямо в лапы неизбежной смерти.
И гибели вернее не бывает.

Горацио. О том не беспокойся.
За ними будет следовать корабль,
И в море их возьмёт на бордаж
С пиратским флагом. Гамлета в плену
Не тронут, а вернут сюда, здоровым.
Твой Клавдий-муженёк умрёт от счастья.

Гертруда. О нём ни слова. Если бы не ты...
Одна святая Маргарита знает,
Чего мне стоит Клавдия постель.
Лишь для тебя

Горацио. А о себе забыла?
Где б ты была при новой королеве,
В какой тюрьме, каком монастыре?
А, может быть, под камнем?

Гертруда. Решилась для тебя на этот грех.
Ни Гамлета отец, ни жалкий Клавдий,
Ни мой единственный несчастный сын...
Никто тебя не в силах заменить.
Я тридцать лет жила в пещере с тигром,
Была отдохновением солдата,
Зализывала спекшуюся кровь,
Одна – и бинт, и вата, и лекарство.
Но, как ни бейся, не врачует сердце
Военный дым походных алтарей.
На сколько лет даётся нам запас
Надежды, что судьба переменится,
И веры в новообретённый рай?
Год или два. По крайней мере, пять.
А после начинаешь понимать,
Всё так и будет, это твой удел,
Игла для нити, колея телеги,



Ложбина пересохшая реки...
Прижми меня к себе! Не отдавай.

Горацио. Любимая, постой. Повремени,
Уже подошвы тлеют под ногами.
Я возвращаюсь к принцу. Ты, спустя
Минут пятнадцать – прямо к королю.
И повторяй одно без перерыва,
Тверди, что принц безумен.

Гертруда. То сделаю не я – моя любовь.
До дна глотаю этот зверобой.

Сцена 10. *(Режиссёр, Коля, Толя, Офелия, Жена Режиссёра)*

На сцене Режиссёр. К нему незаметно подходят Коля и Толя.

Коля. Прощай, прощай, и помни обо мне!
Режиссёр. Коля...
Коля. Привет, Витя!
Режиссёр. Привет. Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн.
Толя. О! Только не заставляй ещё и это играть, хорошо? У меня слабый вестибулярный, э-э...
Коля. Вестибулярный вестибюль.
Толя. Точно! Да. Я плохо переношу морскую качку.
Режиссёр. Договорились. Что привело вас в мрачный Эльсинор?
Коля. Что привело нас? Давно не отремонтированный вход. И грязный коридор. Слушай, тут когда-нибудь будет нормальный ремонт?
Режиссёр. Будет. Когда ты возглавишь ремонтную бригаду, Коля. Ещё есть риторические вопросы?
Толя. Ага.
Режиссёр. Какие? Быть или не быть?
Коля. Почти. Видите ли, Виктор! У нашего Анатолия сегодня день рождения. И, посему, мы не сочли лишним пригласить вас...
Режиссёр. Ох... Прости, старик. Прости. Замотался, из головы вылетело. Поздравляю! Здоровья тебе. Больших ролей. Красивых партнёров.
Коля. И режиссёра тебе хорошего. Не помешает, да.
Толя. Ладно, я понял. Понял. Диагноз ясен. Так что, ты с нами?
Режиссёр. Конечно, сейчас. Сейчас пойдём...
Коля. Идём, посидим. Обсудим нашу старость.

Музыка. Появляется Офелия.

Режиссёр. И твой младенческий склероз.
Толя. Да... Сейчас...
Режиссёр. Давай, там пиво стынет.
Коля. Начинайте пока... Без меня.
(Гале) Пошли... Идём, идём *(Уходят)*

Гамлет. Как ты прошла охрану у двери?
Меня надёжно стерегут



- Офелия. Неважно.
- Гамлет. Есть пять минут
Есть ветра пять глотков,
Чтоб напоследок вдоволь надышаться.
Ты знаешь, что случилось?
- Офелия. Знаю – что.
Не знаю, как произошло несчастье.
- Гамлет. С твоим отцом столкнулись в галерее.
И я – зачем, того не знаю сам –
Сказал простую фразу. Вдруг внезапно
Он с ног меня свалил и стал душить,
При этом непрерывно выдыхая
Проклятия в лицо. Я дотянулся
До шпаги наобум, уже борясь
С удушнем... А прочее не помню.
Я не желал погибели его.
- Офелия. Что за слова ему ты говорил?
- Гамлет. Правдивые. «Она прекрасней жизни».
- Офелия. Я стала горем для своей семьи.
Тебе я принесла беду – и только.
- Гамлет. Ты принесла мне то, чего никто
Не в силах принести. Твоих даров
Не иссякает чистое сиянье.
Ещё не появился ювелир,
Достойный оценить его
- Офелия. Постой...
Когда ты отбываешь на корабль?
- Гамлет. Немедленно.
- Офелия. Мы честно разыграли
Большой спектакль твоего безумья.
Так точно получилась эта роль,
Что следом обезумела судьба,
И отнимает у меня, с ухмылкой,
Последние цветы.
- Гамлет. Одно меня терзает – что тебя
Я не способен защитить отныне.
- Офелия. Отныне ни о чём не беспокойся.
Отныне, знай, дорога приведёт
В счастливый край, где молоко и мёд.
Дай мне украсть лицо твоё родное.
Ты изменился за день



Гамлет.

Постарел

Ненидолго. На десять тысяч лет.
Срок пустяковый для того, кто вышел
Из гавани на лёгкую прогулку,
И потерял все вёсла с парусами,
А шлюпку увела команда

Офелия.

Здесь

Твой дом. Незамерзающая гавань.
И кровь моя, и каждое дыхание –
Твоё. Для смерти ты неуязвим.
Слеза лишь потому, что будет радость.
А если грусть при мне, она лучится
Подобно радуге... Не убирай
Ладонь... Хочу тепло запомнить.

Гамлет.

Твой голос – есть. И боле ничего,
Мир пуст. И только голос твой остался.
Одно лишь слово... Хочешь, мы уйдём,
Укроемся от беспросветной злобы,
От зависти и алчности бесплодной,
В обычной жизни.

Офелия.

В обычной жизни...
Я не осмелюсь так с тобою быть,
Чтоб ты меня за это ненавидел.
Не егерь, не рыбак, не землепашец,
Не мелочный торговец. Ты король.
И королём останешься всегда.
И королём останешься

Гамлет.

Корона

Без королевства – неживая роль.

Офелия.

На этом свете, или в той долине
За горизонтом, где бессмертны мы...
Я буду ждать тебя внутри зимы.
Я буду ждать тебя

Входит Гертруда, Офелия и Гертруда смотрят друг на друга.

Офелия клянется и выходит.

Жена.

Ты можешь объяснить, что происходит?

Режиссёр.

Чего ты хочешь?

Жена.

Что здесь творится?

Режиссёр.

Извини, сейчас не время разгадывать шарады. Я устал.

Жена.

Не фиглярствуй. Что происходит? Что?

Режиссёр.

Происходит миллион разных вещей. Ты о чём?

Жена.

Почему она это делает?

Режиссёр.

Видимо, потому, что у неё нет другого выхода.

Жена.

Лжёшь. Ты лжёшь! Не лги мне. Она... Она могла прийти ко мне.

Режиссёр.

А она приходила к тебе! Не помнишь? Забыла, как ты её приняла?

Жена.

Да, действительно. Да. Но... Что с её игрой? Это театр или это уже безумие? Что с её игрой? Это сумасшествие?



- Режиссёр.** Сумасшествие? Хм. Не забывай, она христианка. Видимо, католичка. И ей нужны смягчающие обстоятельства.
- Жена.** Всем нужны смягчающие обстоятельства! Это не объяснение.
- Режиссёр.** Офелия остаётся одна. Однее не бывает! Она остаётся один на один со смертью. Офелия троллит небытие, она смеётся над ним. Если хочешь, можешь считать это сумасшествием.
- Жена.** Троллит небытие? Почему... Почему она прыгает в воду? Почему она прыгает в воду? Почему она с его ребёнком прыгает в воду?!
- Режиссёр.** Я не знаю! Оставь меня в покое! Я не Господь Бог.
- Жена.** Ты? Ты жалкий клоун. Да... И будь добр, по пути домой забери вещи из химчистки.

Жена уходит. Режиссёр какое-то время сидит неподвижно. Уходит.

Сцена 11. (Актёр-1, Актёр-2, Бернардо)

Актёры ведут Бернардо, у него завязаны глаза и кляп во рту.

- Актёр-1.** Давай, давай, тащи его сюда!
Вот эта ветка точно пригодится.
Болтаться будешь, как и твой дружок,
Тебе пора к нему. Ну что, готово?
Ставь на помост его! Там, под тобой,
Обитель свежей двухметровой ямы.
Как уберём помост – уйдёшь в неё,
Счастливая дорога
- Актёр-2.** Погоди,
Дадим злодею шанс на покаянье?
Хоть и мерзавец, всё же – божья тварь.
- Актёр-1.** Ты думаешь? Я сомневаюсь. Ладно,
Тогда веди священника сюда,
Да поскорее!
Слушай, негодяй,
Тебя сейчас без сожаленья вздёрнут,
Как и злодея, друга твоего.
Перед кончиной можешь облегчить
Свою, грехом изъеденную душу.
Приветствую вас, отче!
(Говорит голосом Священника)
Мир вам, дети.
Чью душу исповедать перед смертью?
- Актёр-2.** Вот этого разбойника, отец.
- Актёр-1.** *(Своим голосом)*
Имей ввиду, приятель – только крикни,
Без остановки тут же полетишь
К отборнейшим чертям на сковородку.
Всё ясно? Вот и славно. Приступайте.
(Актёр-2 вынимает у Бернардо кляп.
Актёр-1, голосом Священника)
Мой сын, очисти душу напоследок.
Поведай мне грехи свои



- Бернардо. *(Задыхаясь)* Грехи...
О господи... Что нужно говорить?
- Актёр-1. *(Своим голосом)*
Ты не расходуй воздух понапрасну!
Его и так немного на земле
Из-за таких, как ты.
- Бернардо. Наставь мя, отче.
- Актёр-1. *(Голосом Священника)*
Будь искренним у гробовой доски.
Иль ты не веришь в промысел небесный?
Тогда дорога для тебя – в юдоль
Злой нечисти и призраков
- Бернардо. Я верю...
И в господа, и в призраков, отец!
В чём сознаваться мне?
- Актёр-1. Скажи, в чём грешен.
- Бернардо. Однажды как-то, в юные года,
Когда я был стеснителен и робок,
Подглядывал за девками на речке...
- Актёр-1. О господи! Ужасен этот грех.
Его тебе я отпускаю. Дальше.
- Бернардо. В былые годы как-то, на войне,
Мы у хозяйки двух овец украли.
Хозяйка долго плакала потом.
- Актёр-1. Чудовищны грехи твои. Но их
Господь прощает. Исповедь продолжи.
- Бернардо. Меня любила женщина одна,
Норвежская, и быть со мной желала.
Но тяжела любовь людей военных,
И я её оставил... Идиот.
- Актёр-1. Да, верно. Этот грех тяжеле прочих.
Но не было ли в жизни у тебя
Действительно ужасных злодеяний?
Не мучи душу
- Бернардо. Отче, я солдат,
Простой солдат присяги и приказа.
В сражениях я убивал врагов.
- Актёр-2. Довольно тут юлить! Товарищ твой,
Моливший перед смертью о пощаде,
Всё рассказал, как на духу. Давай!
Всей жизни у тебя – секунд на десять.
Отсчёт пошёл! Десять, девять, восемь...



- Бернардо.** Не понимаю... Что мне говорить?
Отец святой... О бог! Святая дева...
Пресветлая мадонна и Иисус!
Примите душу грешную...
- Актёр-1.** Хватит, оставь его. Довольно. Похоже, он ничего не знает. Иначе давно уже рассказал бы, и что было, и чего не было.
- Бернардо.** Я ничего не знаю! Что вам надо? Отпустите меня.
- Актёр-1.** Что надо? Сними ему повязку. *(Актёр-2 снимает повязку)* Твой напарник хотел меня задушить. Вот этой самой петлёй.
- Бернардо.** Господи... Марцелл хотел вас убить?
- Актёр-1.** Да, твой Марцелл. А когда Вито пришёл мне на помощь, он ударил его кинжалом.
- Актёр-2.** Хорошо, мы вовремя подоспели и скрутили злобное животное. Но Вито это уже не вернёт. Он убил нашего Витторнио!
- Актёр-1.** Это жуткие злодейства, и за них не будет оправданий.
- Бернардо.** Я не знаю, зачем он напал на вас! Поверьте! Я ничего не знаю.
- Актёр-2.** Речь не о том.
- Бернардо.** Не о том? А о чём?
- Актёр-1.** Твой напарник нам всё рассказал. Это измена.
- Бернардо.** Измена... Какая...
- Актёр-1.** Гибель для государства. Он был один из тех негодяев, кто убивал нашего короля.
- Бернардо.** Что вы... Что вы такое...
- Актёр-1.** Пока один заливал яд, другой держал за ноги. А третий... Караулил у двери. Тот, кто сейчас в короне.
- Бернардо.** Марцелл и Клавдий... Святое небо.
- Актёр-2.** Да, твой Марцелл. И ещё этот... Толстый мерин.
- Бернардо.** Полоний...
- Актёр-2.** Хорош зверинец. Здесь всё прогнило до упора. Нам пора уходить, а то ещё, неровен час...
- Актёр-1.** Сейчас пойдём.
- Актёр-2.** Что с этим делать?
- Актёр-1.** Что с ним сделаешь? Похоже, он ничего не знает. Привяжите его к дереву и пойдём.
- Актёр-2.** Поглубже в лесу привязать? Как этого, дружка его?
- Актёр-1.** Нет, прямо здесь. Рядом есть селение, до вечера его найдут.
- Бернардо.** Стой! Ты же сказал, что вы Марцелла...
- Актёр-2.** Ещё чего.
- Актёр-1.** Мы не убийцы. И не судьи. Дружок твой обнимает дерево в лесной чаще. А на груди у него табличка с перечнем всех его подвигов. Авось, найдут его лесорубы. Пусть они тогда и решают, что делать с таким прекрасным человеком.
- Бернардо.** Лесорубы не умеют читать.
- Актёр-2.** Не надо плохо думать о лесорубах.
- Актёр-1.** А если медведь его раньше найдёт, не наша вина. На то воля божья.
- Бернардо.** Постой! Я уже видел тебя раньше. Я уже видел... Ночью.
- Актёр-1.** *(Актёр-2)* Вы поместили место, где Вито похоронен? Там надо оставить знак.

Актёр-2 уходит.

- Бернардо.** Я уже видел тебя. Ночью. На страже. Так вот зачем Марцелл хотел тебя убить...
- Актёр-1.** Я знаю, ты благородный человек. Не суйся в дело, за которым и так много крови и бесчестья.
- Бернардо.** А твой товарищ? Получается, он погиб из-за тебя. Значит, и у тебя на душе камень.
- Актёр-1.** Со своими грехами я разберусь сам. Здесь никто не ангел. Я пойман на крючок, и его теперь надо выдирать с мясом. И поймал меня тот, кто... Похоже, он и сам на крючке.



Актёр-2 возвращается.

Актёр-2. Всё, можно идти.
 Актёр-1. Ладно. Остаётся только дорога. Прощай.
 Бернардо. Стойте! Я не... Я больше не могу держать оружие. Разрешите мне идти с вами.
 Актёр-2. С нами? Зачем ты нужен, что ты умеешь делать?
 Бернардо. Я умею держать язык за зубами.
 Актёр-2. Ничего он не умеет.
 Актёр-1. Ладно. Научится, если захочет. Развяжи его.
 Актёр-2. Ты уверен?
 Актёр-1. Нет. Но мы не судьбы. Пусть небо решает.

Актёр-2 развязывает Бернардо. Все уходят.

Сцена 12. (Фортинбрас, Горацио, слуги)

Слуги приводят человека с мешком на голове, швыряют его к ногам Фортинбраса.

Фортинбрас. Сними.

Слуга снимает мешок. Вынимает кляп.

Ты знаешь, кто я?

Горацио. Даже если знаю,
 Чем объяснить бесчестье и разбой?
 Вы выкрали меня из Виттенберга!
 Я датчанин

Фортинбрас. Твоя беда не в этом,
 А в том, кто я.

Горацио. Ты Фортинбрас, Норвежец.

Фортинбрас. И это лишь эпиграф приговора.
 Ведь ты Горацио?

Горацио. Положим, так.
 С рождения это имя у меня.
 Сей факт не доставлял больших проблем.
 Теперь иначе всё?

Фортинбрас. Добыча в яме
 И, видимо, желает понимать,
 Зачем её приволокли сюда,
 С мешком на голове, без церемоний,
 И на пол уронили, словно вора.
 Не так ли, друг мой?

Горацио. Друг? Я представляю,
 Что вашим уготовано врагам.
 Не помню, чтоб друзей так звали в гости.



- Фортинбрас.** Справедливо.
 Не друг ты мне. Пока. Покажет время,
 Расставит всё, что должно, по местам,
 Как истинный хранитель тёмных тайн,
 И наших бед восторженный ценитель.
 Не друг ты мне. Пока. Но знаю точно,
 Кто датскому наследнику товарищ,
 Сподвижник принца Гамлета.
- Горацио.** Пусть так.
 Но неужели Гамлета друзей
 Сюда в мешках привозят?
- Фортинбрас.** Только лучших,
 Кто верою и правдой доказал,
 Что дружба существует. Это факт,
 Я сам его ценю не меньше злата,
 Для друга – сердце, остальным – закон.
 И я хочу, чтоб дружба продолжалась,
 Твоя и Гамлета. Но чуть иначе.
 В другой манере. С добавлением грима.
 И, чтобы продолжая эту дружбу,
 Ты сослужил мне службу.
- Горацио.** Не бывать!
- Фортинбрас.** О, благородный выбор.
 Товарищ верный, преданный слуга,
 Немыслимых достоинств человек.
 И чувствует его не только Гамлет,
 И окруженье принца, и король,
 И славная Гертруда-королева
 Его за это нежно привечает.
 И он не прочь вниманье подарить
 Не очень молодой, но властной даме.
- Горацио.** В незнании вас трудно упрекнуть.
 Не по годам сочтется пониманье
 Из царских уст. Вы далеко пойдёте.
- Фортинбрас.** Не сомневайся! Я уже в пути,
 Который мне назначен от рождения.
 Охота не отстать? Ступай по следу,
 Не сбейся, осторожнее иди,
 С расчётом ногу ставь и со сноровкой,
 Поскольку по краям всегда – болото.
 Трясина переваривает суп
 Из нерадивых и нерасторопных.
- Горацио.** А что случится, если я решусь
 Идти своим путём?
- Фортинбрас.** Вопрос резонный,
 Поставлен в лоб, без проволочек – значит



Достоин он резонного ответа.
 Сей выбор за тобой.
 Два варианта есть. Возьмёшь не тот,
 Корабль сам поднимет паруса,
 Оставив одинокого матроса
 На сером и бесплодном берегу.
 Карета вдаль умчится налетке.
 Из месива канавы придорожной
 Ты вряд ли углядишь, что будет дальше.
 Сей выбор за тобой.
 Но коль известны станут королю
 Особенности вашего общенья
 С Гертрудой... Нет, поверь, ты не умрёшь.
 Не сразу. Есть подробности темницы,
 Не знать о них полезно для сердец
 И для спокойных снов. Есть сновиденья,
 С которыми и ад не станет вровень.
 Есть мера наказаний – рядом с ней
 И преисподня будет будуаром.
 По случаю, я знаю кое-что
 О нижних помещениях Эльсинора,
 Безлюдных коридорах и подвалах...
 А, впрочем, есть в запасе у тебя
 Яд или бегство. Это честный выбор.
 Сей выбор за тобой.

Горацио.

Чего ты хочешь?

Моих мучений, моего паденья?
 Смертей, утрат, растоптанных надежд?
 Чего ты хочешь, дьявол?

Фортинбрас.

Возвращенья

К первоначальной теме разговора.
 Коль выбираешь руку Фортинбраса,
 С того момента Гамлеты – враги.
 И это к месту – даже небеса
 Нас обучают быть с врагами ближе
 Любовницы и друга.

Горацио.

Неужто время мира завершилось,
 И снова надвигается распад,
 Пожарища, замученные люди?
 Неужто накопился аппетит
 В утробе у Ареса, и бряцанье
 Из арсеналов нового оружия,
 Как звон посуды на его столе?
 Земля опять открыта для увечий.
 Животное сменяет человечье.

Фортинбрас.

Я не забыл, как Датчанин-король
 Отхватывал куски горячей плоти
 От моего отца. Я не забыл,
 Как датские элитные солдаты



На тёплом пепелище съл норвежских
С весёлой песни начинали пир.
Я Гамлетам верну оброк сполна.
За каждую слезинку, головешку,
Любой удар, любое поруганье,
Верну назад по зёрнышку, по капле.
Барахтаясь в наследственной грязи
Семейных страхов и греха, они...
Они друг друга сами передают.
И волны свежей крови унесут
Следы былых проклятий. Может быть
Однажды появится светлый ангел
И остановит мести колесо.
Но не теперь... Твой выбор, иноземец.

Горацио. Что будет с принцем?

Фортинбрас. Добрый человек,
О нём печёшься ты, не о Гертруде.
То – мера отношений, их цена.
Ты принял, что она обречена.
Что он Гертруде? Что ему Гертруда?
(Смеётся)
Не забывай ласкать её, пока
Она ещё в короне.

Горацио. (Резко) Что же Гамлет?

Фортинбрас. Я знаю, он из датских королей
И благородней, и честнее всех,
Но выпал жребий, Гамлетом родиться.
Моя бы воля, жить ему безбедно,
Уйдя от власти

Горацио. Это невозможно.
Не станет мышью, кто родился львом.
Медведь умрёт, но не отдаст своё.

Фортинбрас. И я о том же. Он непредсказуем
И плохо поддаётся дрессировке.
Здесь требуется метод посильней.
Здесь надо что-то выдумать для мозга,
Когда, вослед за дудочкой, наживка
Сама переползает на крючок.

Горацио. Вы хотите
В один бросок поймать полморя рыбы.
Одним капканом – два десятка зайцев.
А сетью будет Гамлет

Фортинбрас. Понимает,
Всё понимает умный человек.
Пора услышать голос providенья.
Итак, твой выбор.



Горацио. Я с юных лет не верю в провиденье.
И не боюсь ответить «нет» – затем
Что это отнимает только жизнь.
Отказ опасен по другой причине –
Того, кто дорог, им не защитишь.
Даю согласие

Фортинбрас. Не было сомнений.
Поговори с Полонием. Он знает
О том, что размывает Эльсинор.

Бросает ему кошелек.

О касте недовольных, поименно.
Есть влага в кубке милости моей

Бросает ещё один кошелек.

Затемнение. Снова мизансцена Пролога.

Горацио. Есть влага в кубке

Гамлет. Если ты мужчина,
Дай кубок мне. Оставь, я так хочу.

Звуки за сценой.

Что там за шум?

*Появляется массовка.
Хореографическая пантомима.
Фигуры застывают.
Офелия раздаёт цветы.*

КОНЕЦ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

РАСТРЁПАННАЯ НОЧЬ

ровные столбики приторной лжи
вечной и разрешённой
разрешённой теми кто и есть ложь

но ты другой
и ты встаешь сам себе на голову
и целуешь как целовал бы снега Килиманджаро
подмосковную Изабеллу

а потом играешь сам с собой в рифмы
червонец-чюрленис
пастила-настирать

и т. д.

но стоит ли писать ради рифм

самая большая пошлость в стихах
это логика и здравый смысл

о Русь
ты вся минет на морозе

ОПЯТЬ ЦВЕТА

белый
красный
оранжевый
жёлтый
бежевый
синий
зелёный
фиолетовый
бордовый
перламутровый
ультрамариновый
и т. д.



а чёрный?
да-да, и чёрный
и серый
и коричневый

ПРИКОСНОВЕНИЕ

прикосновение к жизни:

любовь
и ненависть

провинция
и столица

эмиграция
и возвращение

война
и больница

и гиблое озверение
и светлое озарение

при-
кос-
но-
ве-
ни-
е

лёгкое
и
смертельное

БЫКОВО

по вечерам
мой белый кот Мурлыка
похожий на младшего научного сотрудника надевает очки
и смотрит по спутниковому телевидению
передачи про животных
либо посылает смски Нине Красновой
мол приезжай скорее я соскучился
либо читает Ганди
– все люди и коты братья – говорит мне Мурлыка
и прыгает на колени моим гостям
которых в доме всегда очень много



ЭМИГРАЦИЯ

мой лучший друг в Чикаго
семья в Берлине
а я застрял на Луне
и всё никак не возвращусь на землю

ЦИТАТА ИЗ МАРШАКА

Шёл – молоденький – на б.дки,
А пришёл – старик – на грядки.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной.

Шёл – в руках была жар-птица,
А пришлось со всем проститься.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной.

ТЫ

Лишь бы не уезжала
Из России прочь.
Лишь бы ты со мной лежала
Целу ночь.

Мы с тобой друг другу рады,
Мы с тобой нежны.
Никакие мне награды
Даром не нужны.

ПАМЯТИ РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

и вновь невинные убиты
идёт война идёт грызня
а мне шииты и сунниты
родня

война на горюшке жиреет
трещит защитная броня
а мне арабы и евреи
родня

война не дарит нам гостинцы
поманит сладко и убьёт
а русские и украинцы –
как ни крути – один народ



ВОСЕМЬ СУРОВЫХ СТРОК

Если деньги я кую –
 значит морда треснет.
 Если воин пал в бою,
 то в раю воскреснет.

Ты прекрасна, ты роскош-
 на – с тобой ликую.
 Если ты меня пошлѐшь,
 я найду другую.

APRES TOUT

не нужно слащавого флѐра
 я жил как весѐлый балбес
 а в качестве спарринг-партнера
 со мною боксировал бес

не нужно словесного блуда
 не нужен смешной моветон
 я жил поглощая фастфуда
 словесного тысячи тонн

я жил в городах ширпотреба
 был в дурусти неутомим
 а нынче прошу точно хлеба
 давайте чуть-чуть помолчим

ПОТОМУ ЧТО

много грязи, много пота,
 много граждан в серой робе.
 потому что жизнь – работа,
 а не хобби.

много чада, много бреда.
 но я все-таки не ною.
 потому что жизнь – победа
 над собою.

потому что опыт Феба
 мне милей, чем ропот плача.
 потому что много неба,
 потому что жизнь – удача.

даже если неудача.



ОПЯТЬ БЫКОВО

Я живу без понта и без шика
И до светских обществ не охоч.
Из друзей остался кот Мурлька,
Из подруг – растрёпанная ночь.

Я живу подстать анахорету
В зарослях своих каляк-маляк.
А врагов и не было и нету.
Сам себе я самый страшный враг.

ЛИШЬ ТОЛЬКО ВЫЙДЕШЬ ЗА ПОРОГ

ИЗЫДИ АЗ
ИЗ ЛУЗ ЗАБАВЫ
ВЗГЛЯНИ
КАК ЗВЁЗДЫ ВЕЛИЧАВЫ
КАК ВЕЛИЧАВЫ СОСНЫ ТРАВЫ
СИНИЦЫ ДЯТЛЫ ВЕЛИЧАВЫ
ЛИШЬ ТОЛЬКО ВЫЙДЕШЬ ЗА ПОРОГ
УВИДИШЬ ТЫ НЕ ОДИНОК

ВЕРА ЗУБАРЕВА

В ЭТОМ ГОРОДЕ...

Снег придёт в четыре утра,
А до этого будет сниться,
Как несут над землёй ветра
Его белую колесницу,
Как плывёт он в ней над водой,
Над горами, над лесом блёклым,
Задувая звезду за звездой,
Гравирюя их образ по стёклам.
И ничто не задержит его,
Разве только душистая сладость
Ёлки в детской, где никого,
Кроме памяти, не осталось.

*Памяти отца –
Лоцмана на трубе*

День взлетает
Ночь садится
Снежность в облаке таятся
И слегка уже седой
Город по воде струится
Влажных раковин зарницы
Между морем и звездой

Снов наброски
Жизней блёстки
Театра тёмные подмостки
В ожиданье непогод
Млечный свет на перекрёстке
И как точечная роспись
Выплывает пешеход

Он идёт своей дорогой
Город снежный
Город строгий
Прибывает на пути



Дерево стройнеет в тоге
Светофора свет недолгий
Успевает замести

Капля стынет и не бьётся
Он идёт
Позёмка вьётся
Пристань с лестницы видней
Он идёт
Она дождётся
Даже если всё сотрётся
В снег на этом полотне

Я родилась в этом Городе,
Море в моих венах
Звёздами раковин бродит
В млечностях белопенных,
Снов песчаное кружево,
Памяти белый катер,
Чайки в душе моей кружат
Вечером на закате.
Я родилась в этом Городе.
Воздух его – в дыхании.
Я родилась в этом Городе
Ранней апрельской ранью.
Двигались волн пилигримы,
И начинал возгораться
Город неопалимый
С ангелом белой акации.

В бараке памяти светло.
На всякий век – своя причина.
Вот Город снегом занесло,
Но тайная горит лучина.
Зачем она? К чему она?
Всё злее рыщет соглядатай,
А истощённая луна
Лучится возрожденья датой.
И робкий снег исподтишка
Ершистую пускает блёстку,
И пробегает тень смешка
По ветреному перекрёстку.
И вот уже спешит отец –
Снег на ресницах, ёлка в санках,
Игра теней, и наконец –
Дом выплыл с царственной осанкой.



В нём печь с лепниной, тёмный блеск
 Угольев с колдовским налётом,
 И холод тёмных королевств
 Попятится от них к воротам.
 А угли будут ликовать,
 По кафелю разлившись жаром,
 И закодывать кровать,
 Дышать в неё под одеяло.
 И даже много лет спустя
 Они согреют зиму комнат,
 Озноб окраин бытия
 И тёмный мой опальный Город...

ПАЛАЧ

Идёт, сливаясь с зимней мглой,
 По развороченной аллее,
 И тёмный дух его иглой
 Занозит лихорадку в теле.
 И пляшут вместе в нём озноб,
 Горячность и бред пожаращ.
 Объятый пламенем сугроб –
 Посмертный ад его пристанищ.
 Там холод смерти, пламя мук,
 Терзания и неподвижность,
 Оттуда сын его и внук
 Взывают, так и не родившись.
 На нём застопорился род,
 Войдя в дурную бесконечность,
 И он исчезнет и придёт,
 Чтобы разрушить и исчезнуть,
 И снова прижиматься лбом
 К облитым холодом ступеням
 В огонь по ним сходить с клеймом,
 Пылать и смешиваться с тленем.

Сумерек перевес,
 Зимних дорог бесприютство.
 Хочется вести с небес,
 Хочется в небо уткнуться,
 Слушать его перезвон,
 Плыть по его полю –
 Долго, за горизонт,
 В вотчину звёзд колокольных.
 И повторять: «Прости...»,
 И зашагать к перекрёстку,
 И на щеке унести
 Снега хрупкую блёстку.



Он явился почти на заре
Каплей света
И сказал: «Зима на дворе».
Только это.
А привиделось – море во льдах,
Волны-глыбы,
Мрамор чаек и пики яхт,
И хрустальные рыбы.
А привиделось – всполох искр,
Рассыпных, отражённых,
Город рос – ледяной обелиск
На ожогах,
Бинтовала его пурга,
Зло, нелепо,
Состояли его берега
Сплошь из пепла.
Он сказал – зима на дворе.
Не прибавил ни слова.
И спросонья никто не прозрел
Смысла ледовый.
Падал снег в тишину двора,
Шелестела газета.
И осталось земле от вчера
Только это.

Галине Безикович

Лунный свет бродил по берегу,
Гребни тёплых волн очерчивал.
По утёсу крутоверхому
Рисовал прибой подсвеченный.
Спали дети в дальних странствиях,
Покрывалось небо звёздами,
И в его безбрежном царствии
Только боги были взрослыми.
То и снится, что аукнется
В памяти, где мы – вчерашние,
Где уводит к морю улица
Чуть запавшей чёрной клавишей.
Там сидим на побережье мы,
Временем не опечалены,
И следы детей по-прежнему
Скажут буквами печатными.

ДМИТРИЙ АРТИС

ИЗБЫТОЧНЫЙ РАЙ

Куда бежать,
когда – тебе приснившись
вот этой ночью, этой вот зимой –
не ощущаю радости всевышней
и гордости не чувствую земной?

Каким галопом
вспенивать сугробы,
какие посетить монастыри,
шатаясь и распатываясь, чтобы
хотя бы вера грела изнутри?

Пока ты спишь,
пока ещё настенных
светильников не вспыхнули бока,
пока ты спишь и видишь сон пока,

я по другую сторону вселенной
лежу в обычной позе неизменной,
разглядывая контур потолка.

В каком-нибудь избыточном раю,
где днём и ночью зреет чечевица,
зима наперекор календарю
к началу майских праздников
случится,

появится отчаянно, легко,
внезапно, как желание проснуться,
сгущённое польётся молоко
из облака похожего
на блюдо,

изогнутого облака, – и тут, –
пяти-, шести-, семиконечный атом
блеснёт своим божественным
распадом,



и сызнова прокладывает маршрут
заснеженные мальчики пойдут
по самой главной площади
парадом.

Ухожены
дворовые площадки
и музыка слышна по выходным.
Всё только начинается. Порядки
меняются мгновением одним.

Фасады зданий выбелены мелом,
открыт успешно свадебный сезон,
асфальт уложен, высажен газон,

и в общем хорошо тебе, и в целом,
но затевает, как бы между делом,
учения – военный гарнизон.

Высоток обесточенные льдины
по всем несущим трещины дают,
дворовые площадки нелюдимы
и музыки не слышно,
там и тут.

Берёг себя, любил себя, жалел.
Хотел бы жить, да не желал вертеться,
вытравливать фруктовое желе
из головы, из памяти, из детства.

При пионерском галстуке, потом
при галстуке в полосочку – запчастью
существовал, прикрученный винтом
к простому обывательскому счастью.

И в этом было то, что будет впредь...
Проносится, как шторм десятибальный,
моя нагая женщина по спальней,

и заставляет божеская плеть
беречь себя, любить себя, жалеть
и радоваться премни
квартальной.

Останься в одиночестве моём –
в моей высотке с выходом во дворик,
тот самый, где зацветший водоём
богат форелью на Великий вторник.

Неприхотливой женщиной, одной
единственной касавшейся престола,
останься, как религия, основа,

и в День благоволения – седьмой,
когда асфальт покроется землёй,
настанет Воскресение Христово.

Собака на коротком поводке,
газоном ограничена дорога
и жизнь моя, как в адресной строке
за три копейки скачанная прога,

теснится, ужимается, едва
вписавшись в общепринятые рамки.
Не слышно птиц, пожухлая трава
топорщится и солнце без огранки.

По тротуару мимо фонарей,
ларьков, заборов, мусорного бака,
хвостом виляя, шествует собака,

и поводок ослаблен, и за ней
трусит старушка голубых кровей,
услужливо отстав на четверть шага.

На пустыре
возводят новый дом:
*профаб явил отменную смекалку
когда похмельный чувствуя синдром
захватывал общественную свалку*

*мы строим дом
для вежливых ребят
не говорил но рисовал с натуры
его слова звучали аккурат
как на уроках постлитературы*

*на крыше дома будет город-сад
разбиты парки выправлена ловко
проспекта узловатая верёвка*



*потом добавил будто невпопад
мы строим дом нам нет пути назад
в руках у нас винтовка*

Печаль моя, закатная печаль,
на прошлое смотрю благоговейно:
там женщина, зовущая на чай,
нальёт мне обязательно портвейна.

Душа (согласно принятым клише)
мужала, зрела, наполнилась, крепчала.
Потрафить как взрослеющей душе,
известно было с самого начала.

Теперь всё по-другому, так и знай,
и, помня о теориях Эйнштейна*,
хотя бы приблизительно, линейно,

(* – для рифмы упомянут, невзначай),
держи в уме, что пить я буду чай,
когда зовёшь на рюмочку портвейна.

Не выходи на улицу в домашнем,
сам по себе собою восполним,
пугая окружающих всегдашним
хорошим настроением своим.

В погожий день и даже в непогожий
(зигзагом, прямиком, наискосок)
не совершай на улицу бросок,

забыв на перекладине в прихожей
пиджак из камуфлированной кожи,
перчатки, шлем, защитный пояс.

Среди людей, отчаявшейся мощи,
клубящейся на фоне бытия,
всегда найдётся кто-нибудь попроще
и, стало быть, опаснее тебя.

Есть комната, и в комнате – она,
ты рядом с ней, и всё – по воле Божьей.
Облокотится жёлтая стена
всем телом на целующихся. Позже.



Не в этот миг, чуть позже, недалёк
тот час, когда с отчаянностью беса
обрушится бетонный потолок,
придав стене значительности, веса.

Котёл земли, приподнятая крышка
небес и пар, стремящийся во тьму, –
невнятное и, в то же время, слишком
простое окончание всему.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

КАПАА рассказ

Это была фантастика: только-только сутробы, морозы, дублёнки, и ноги в меховых сапогах разъезжаются по гололёду – и вот уже пальмы, шорты, шлёпанцы на босу ногу, птичий гомон и воздух, напоенный ароматом цветов. Мы – это я, Саша Волчек, по мотивам тёзки-Шурика прилетевший на остров собирать гавайский фольклор – бывший коллега из минского института культуры сделал мне такой заказ. И друг детства Пецька – Петя Селюжонк – он немного старше, учитель рисования в middle-school Анкориджа, вернувшийся сюда в поисках ответа на загадку, мучавшую его уже почти год. Именно год назад он привёз выписанную из Минска молодуху в отпуск на Гавайи, и она вдруг дала ему от ворот поворот из-за местного чувака.

Мы должны были прибыть на остров засветло, однако наш рейс Анкоридж-Гонолулу задержался, и стыковочный самолёт улетел. Пока ожидали следующего рейса при пересадке в Гонолулу, Селюжонк продолжал бубнить то про бросившую его жену, то про гавайку за стойкой «Топ-сандвича», потребовавшую у меня ай-ди за купленный хот-дог. Я бы эти четыре доллара заплатил наличными, но в руках у нас были сумки и кофухи, что в тропиках ни к чему, и я расплачивался кредиткой. Ей-богу, такой мелочи я бы и значения не придавал, а он всё нудил и нудил, будто чем-то не приглянулась именно его физиономия. Даже когда мы уже катили по взлётной полосе, он, всё ещё вызывая у меня смех, поносил каждую из этих дам. Хотя, для его нудежа куда больше оказалось причин из-за темени, в которую мы окунулись, стоило выйти из здания местного группечного аэропорта. В накрывшем нас чёрном бархате кроме звона цикад не было ни звука, ни шороха. До офиса «car rental» – службы аренды автомобилей – нас довёз их фирменный шаттл, а иначе бы и вовсе хоть задавился. Впрочем, дальше предстояло самостоятельно найти снятую по интернету и уже оплаченную комнату в частном доме городка Капаа, где мы и должны были разместиться на всю неделю нашего пребывания. Выданный нам ветхий «Шевроле» фыркал и чихал, будто старая кляча, вызывая наши большие сомнения в его работоспособности. На одометре значилось целых 75 тысяч миль. Но американское же – значит лучше... Неважно, что чихает и дёргается!

Машину я арендовал впервые в жизни также, как и впервые оказался на Кауаи – небольшом гавайском островке, самом древнем из всего архипелага и потому освоенном хуже других. Связь с интернетом то и дело исчезала, навигатор ничего не показывал, фонари были один на километр, да ещё Пецька продолжал талдычить своё, и я ехал почти наугад, радуясь, что хоть дорога была без ям. Всё же цивилизация – великая вещь. Когда-то, лет 200 тому, этот клочок земли входил в понятие «Русские Гавайи», тут даже располагались три неприступных форта Российской империи. Но, к радости америкосов, русские бросили свои форты и вообще тропики – им больше по сердцу трескучие Сахалины да Камчатки, и первое, что сделали янки – понастроили дороги. Далеко не отличные, но всё-таки. Иначе так бы и жили тут дикари в шлемах из перьев, с луками за спиной и в тростниковых юбочках вблизи крепостных стен из тяжёлых вулканических плит, воздвигнутых суровыми русскими воителями. Но даже с дорогами тут особо не разгуляться – ведёт, а куда – одному их гавайскому божку известно: ни единого указателя. Петялял мы довольно долго – как-то даже чуть не наехали на корову, мирно жующую жвачку на обочине. Пока не сообразили, что едем совсем в другом направлении – в горы. А нам – к океану.

Тогда я, остановив машину, и, уже не в силах терпеть ни Пецьку, ни спазмы в животе, опорожнил кишечник прямо у обочины, чем и переключил его внимание на другую волну.

– А что будет, когда утром увидят твою кучу? – затынул он новую песнь скрипучим голосом школьного ментора. – Так поступать нель-зя! Не-э-тич-но.



Этой этичностью он меня уже заколебал. Я бы на месте его учеников стрелял бы таких из водного пистолета. Но я резонно ответил:

– Если мы заблудимся, господин учитель, придётся делать это уже вдвоём и не раз. Так что моли бога, чтобы нас не съели, как когда-то Кука. Его ведь сожрали именно на этом острове.

После чего Пецька испуганно замолчал, а я, попетляв по зигзагам дороги и тщетно всматриваясь в скрытые зарослями адреса, наконец разыскал и нашу хижину. К моему удивлению, дверь была не только не заперта, но и раскрыта настежь. Вход охраняла только сетка от комаров. Мы ввалились в предназначенную нам комнату и тут же на пару минут рухнули в кровать. Она оказалась одна на двоих. Да ещё и не King, а Quinn size. Ладно хоть не Twin!

– Да ладно, – отмахнулся я от Селюжонка, который уже раскрыл было рот, как насчёт единственной кровати, так и насчёт отсутствия стола и телевизора. Заодно и по поводу брошенных в машине вещей. Но часы подбирались к полуночи – разбираться охоты не было, а раз дом не запирался, авось и дублёнки наши никто не украдёт – кому они нужны в тропиках! Мне доводилось когда-то быть в Греции, и я знаю – тропики в их переводе – поворот. Значит, тут всё будет не как у нас.

Так оно и оказалось. Хозяин – бодрый малый примерно моих лет, несмотря на поздний час, лениво причащался пивком на заднем дворе, куда мы заглянули в поисках туалета. Думали увидеть что-то вроде навеса или козырька под пальмовыми листьями, с бамбуковой мебелью и площадкой для барбекю. Но попали в обычный житейский хаос прямо под открытым небом. С клеткой для поросёнка, вросшей в жёлтый океанский песок, с охотничьим ружьём, небрежно брошенном на грубо сколоченный стол. Среди пыльных мисок и с грудой окурков в надколотых тарелках. А ещё с неожиданным выходом из гаража прямо на улицу: гараж оказался вообще без дверей. Туда можно было заходить хоть со стороны двора, хоть со стороны проезжей части, по которой весело сновал местный транспорт.

– Хелло, парни! И welcome! Двери? А зачем двери? – отбросил хозяин скомканную баночку из-под пива в служившие ему естественной изгородью заросли. – У нас тут вообще никто не запирается.

Он оглядел нас с головы до ног, будто давая оценку нашему моральному и физическому облику. И добавил с немного насмешливой полуулыбкой:

– Сколько тут живу – не слышал, чтобы кто-то запирали ни дома, ни машины. Разве что вы и откроете сезон первыми.

Обиженный Пецька приготовился было ему ответить, но тот, не взяв его желание в расчёт и немало не смутясь, сунул мне руку. Она была неожиданно крепкая и энергичная.

– Каноа, – представился он с несколько угрюмой вежливостью. – Просто Каноа. Так меня теперь зовут. Значит – свободный. А вообще я Эван Смит из Нью-Йорка. Но прежнюю жизнь я давно зачеркнул, потому просто Каноа. А вы зовите, как хотите.

И, погружая в песок чуть ли не по щиколотку свои жилистые, в глубоких шрамах ноги, развалисто пошпал в дом. Спать. Мы тоже вернулись к своей Quinn-size и мгновенно погрузились в божественный тропический сон.

В следующий раз мы увидели Эвана утром. Он что-то загружал в машину. Она стояла с внешней стороны гаража среди зелени, чуть поодаль нашей, и было странно, что мы вчера, когда парковались, её не заметили. Впрочем, что было заметить в той крошечной темени, которая клубилась до самого утра. Уже и петухи звали рассвет – орал в сотни лужёных глоток, а вокруг было всё также: хоть глаз выколи. Я после всех наших передраг ещё мандражировал и потому не мог понять, отчего скоро семь, петухи поют вовсю, а в окнах черно, как у негра в одном месте. Пока вдруг в один прекрасный момент, будто кто-то выключателем щёлкнул – вспыхнул восток. И сразу – ни дать ни взять – пушки грохнули: взорвался ещё больший петушинный и птичий гвалт, теперь уже тысячный. А со стороны океана полыхнуло исполинским костром, из которого в разные стороны рассыпалось разноцветное, сверкающее самоцветами, зарево. Минут через десять всё небо зажглось алюминиевым светом.

– Эх, жаль, краски и холст с собой не взял, – посетовал Селюжонка. – Карандаш такое не передаст. Поехали быстрее на пляж!

– Песок в дом не натащите, – крикнул нам вдогонку хозяин, заводя мотор. – Снимайте на веранде обувь.

Мы рассмеялись. Песок показался нам куда более безобидным, чем паутина в углах и громадный таракан (или жук?), который внимательно изучал Селюжонка в душевой.

Так началась наша неделя на далёком тропическом острове, где в январе стоят стабильные плюс 27, и из-за такой лютой зимы в торговых палатках было не найти купальных плавок, а в ресторанчиках не держали мороженого.



– Это невыгодно – спроса же нет. Зима, – со знанием дела растолковал нам китаец Ли из соседней комнаты. Он въехал неделей раньше – прилетел из Гонконга на какую-то научную конференцию по торговому маркетингу и всякий день поражал нас изяществом манер и сливочного цвета костюмами в комплекте с дорогими брендовыми галстуками. Он их менял ежедневно. Я даже подумал, что когда вернусь домой, тоже оденусь с таким шиком! Ли был вполне ничего, он возвращался домой за полночь, давая нам время вволю посплетничать на его счёт. Несмотря на свою стильную внешность, он не утомлялся внимания даже туземок, постоянно навешивавших нашего хозяина. Обычно они сидели на заднем дворе и, напевая, плели традиционные здесь гирлянды для туристов, запивая это дело местным пивом «Лонгборд». Бизнес. Но девчонки с удовольствием вели нехитрое хозяйство – выпивали молоком его поросёнка, чистили-драили душевую, если он просыпался хмурым. Ли для обеих был как бы невидим. Как и мы, впрочем. Хотя, стоило мне проявить интерес к их песням, запевали они уже громче. Но Пецька, который, как всякий художник, не расставался с блокнотом, не переставал брюзжать по поводу женской безголовости – их поведение наталкивало его на воспоминания о жене. Она сбежала от него из-за такого же охломона, имевшего привычку в любую погоду скакать на доске по волнам. Эван же в своих до колен задранных штанах и растатуированной спине, узор которой скрывал видимые шрамы и вероятно заменял ему рубашку, выглядел даже против нас полным раздолбаем. Чтобы подчеркнуть разницу с хозяином, мы старались приодеться – не пристало нам походить на опустившегося американца с Богом забытого острова. Чем мы хуже Ли?

– А захотите покайфовать, – как бы отвечал он на наш молчаливый вопрос, – сходите в рестораник на пляже. Прямо тут недалеко есть превосходные отели. Я туда не попал – места забронированы на несколько месяцев вперёд. А там чудесно, как раз там и поют гавайцы. Нет ничего лучше гавайских песен и танцев. На них спрос. Представьте: ночь, океан, факелы и песни... Эх, раскрутить бы продажи. Но я не инвестор, я – маркетолог. А их песни – чудо. Ну а если зайдёте в кафе во время «happy hour» – с трёх до пяти, любое блюдо по три доллара. И дринки. Обязательно закажите май-тай. Это коктейль на основе чёрного и белого рома. С миндальным сиропом и ананасным соком. Я его очень люблю. В мире нет ничего приятнее, чем май-тай, поверьте на слово.

И показал безукоризненно белые зубы. Под стать машине, которая была у него тоже от кузова до салона в молочной гамме.

Мы иронично переглянулись: изысканный китаец полагал, что мы не знаем, что такое май-тай!

Вообще-то здесь, на острове, его изысканность значения не имела. Народ тут чаще ходил в шортах или в спортивных штанах. Но нашу абсолютную, не подвергаемую никаким сомнениям зависть он всё равно вызывал. Особенно кафешкой, где каждое утро завтракал. В целях экономии, мы, конечно, предпочитали что-то сами сварганить на эвановской кухне. Тем более что Эван предоставил для этого целый набор разнокалиберных кастрюль и сковородок. Они свешивались с решётки под потолком прямо перед нашими носами, настойчиво напоминая о себе. Да и всякие масла, соли, приправы в кухонных шкафах игнорировать было бы глупо. Мы прикупили в «Фудлэнде» вкуснейшие местные яйца, курятину-говядину, сок гуавы и разные другие вкусности – и кайфовали. Но всё-таки иногда забредали и в тот «куриный рай». «Куриный» потому, что интерьер там был посвящён различным породам местных кур, которых остров насчитывал тысячами. Несушки экспонировались во всю стену: были и снежной белизны, и пеструшки, похожие на тех, что бегают по нашим сельским подворьям, и благородные хохлатки со своими генералами в рясной жемчужной россыпи – глаз не оторвать. Все на длинных ножках и готовые к бою. Фаянсовые, фарфоровые, из метала и папье-маше, даже сплетенные из перьев в натуральную величину, и, если бы не гребешки, ало взблескивающие от пролетавших мимо фар, многих можно было бы принять за живых. Потому что в тусклом люминесцентном освещении такими и казались. В той кафешке мы наедались омлетами и блинами – так называемыми «панкейками» с макадмией – местными орехами, и напивались до отвала превосходного декафа – кофе без кофеина, который к тому же подливали бесплатно – free refill, так что еле вылезали потом из-за стола.

– Эх, живут же люди, – с завистью говорил Пецька. – А тут копейки приходится считать – мне ведь и подарков домой надо. Вдруг моя дура вернётся?

Ещё и по этой причине мы не следовали примеру Ли и столовались самостоятельно. Как говорится, желудок – не зеркало!

Но разговоры с Эваном становились всё интересней – на его дворик стало захаживать ещё больше гавайек. Одна из них, самая красивая, – с высокими скулами и широко разведёнными глазами – нравилась



мне, а другая – Пецьке. Вторая – белокожая – больше походила на жительницу материка. И Пецька часто рисовал её в своём блокноте, вызывая одобрительные улыбки остальных. Улыбки их, впрочем, ничего не означали. Вообще их интерес был сродни интересу детей. Только в детских глазах и прочтёшь такой откровенный телесный интерес, в котором не прочитывалось трепета ни от формы одежды, ни от статуса или титула – девчонкам просто хотелось понять, кто мы и что от нас ждать. В этом смысле мы, как и положено взрослым людям, давно научились скрывать своё любопытство за стёклами очков или непроницаемым выражением лица. Гавайки же ничего не скрывали. Они просто смотрели.

– Совершенно не понимают этики, – разочаровался Селюжонок, когда это понял. – Уставятся как козы и смотрят.

– Я вообще-то безработный. Если официально, – говорил Эван, сопровождая девчонкам иногда на укулеле – гавайской гитаре, иногда на ипу – лакированном гавайском барабане, напоминающем тазик. – В тропиках работать грех, да и негде, тут безработица около 11% – выше, чем везде в Америке. Вон она – профессиональная музыкантша, – кивнул он на ту, белокожую, – помыкалась-покрутилась на Большой земле. И приехала сюда. А родилась в Филадельфии. Там и музыке училась. Ей это было не сложно, у неё мать – гавайка, а у гавайцев к музыке способности от рождения. Но там музыкой не прокормишься. Здесь жить легче. Не надо столько одежды, сколько, к примеру, вам. И не надо так тратиться на еду, как вам. Еда у нас круглый год возле дома. А океан полон живности. И куры тут дикие – только прикорми. А у меня вообще свой маленький бизнес – сдаю эти две комнаты – и клиент идет бесперебойно, как косяк рыбы, и мой дом на меня работает. Простыни-одеяла автомат стирает. – Пальцы Эвана перешли в такой оглушающий ритм, что я даже подумал, что, наверное, на материке он был ударником в джазе. А гавайки вдруг застыли, глядя на него, а потом зачарованно и закрыв глаза, запели что-то новое. Я быстро набросал мелодию, пытаясь им подпеть. А потом та, что была немного похожа на европейку, захлопала первой в ладоши, что-то лопоча по-своему. И все зааплодировали, а Эван заиграл на укулеле что-то вроде туша.

– Тоже мне, отставной козы укулельщик, – пробурчал ревнивый Селюжонок, продолжая и дальше что-то бормотать вполголоса. Я понял – впереди у меня его монолог в полном объёме.

Наверное, это прочиталось и на моём лице, потому что Эван понимающе усмехнулся, внимательно посмотрев на нас обоих.

– Вы бы, парни, сегодня на пляж не ходили – тайфун может налететь, – вдруг выдал он с многозначительной ленцой. – Утром солнце со стороны горы всходило.

– К-как это? – немедленно оборвал свой нудёж Пецька, и глаза его выразили крайнюю степень тревоги.

– Да так... Восход всегда с востока. А перед тайфуном – с запада. Мы это знаем и – к воде уже ни на пушечный выстрел.

Последовавшая за этим немая сценка привела девчонок в состояние экстаза. Они хохотали так, как хохотал бы целый отель, а может, и ещё громче. До тех пор, пока посрамлённый Селюжонок, да и я заодно, не покинули поле боя без единого выстрела.

– И вот к этому бездельнику они бегают. А импозантный интеллигентный Ли им не подходит, – забыв уже обо мне, уныло констатировал Пецька наше отступление, конечно же, имея в виду себя. Он не учёл, что Ли был намного старше Эвана, а девчонки – и мальчишки, одинаково – все любят общаться с кем помладше. К тому же Ли съехал ещё утром, и на его место уже вселился какой-то аморфный кадр лет двадцати пяти. Целый субботний день он изучал остров по интернету, продавливая диван в ливинг-руме – общей комнате, где стоял старый кургузый телевизор – это было единственное место дома, напоминавшее о цивилизации.

– Педик наверняка, – брюзжал Пецька, исследуя в душевой содержимое новопривывшего розового футляра с розовой же зубной щёткой. Паста в футляре тоже была розовая. – В субботний вечер дома сидит.

Я хотел было защитить парня, но Пецька завёл такую долгую галиматью на эту тему, что я отступился и ушёл на пляж один. А когда вернулся, застал друга в компании уже новых постояльцев – «педик» съехал. Вместо него на кухне гужевалась парочка молодых япошек. Уж точно что педиков. «Коничуа-сайонара...» С традиционным смехом – обычно узкоглазые смеются по любому поводу и без повода, чем бесят не узкоглазых – и тем же «Лонгбордо». Они что-то лопотали Селюжонку об их традиционно-японском понимании взаимоотношений полов, а он знакомил их с примерами из собственной жизни. В запале он даже описывал размеры собственных гениталий, подкрепляя этим свою версию причин ухода жены. И при этом силится вытрясти ответ на жизненно-важный для него вопрос «почему она так поступила». Японцы традиционно смеялись и пили пиво – они не знали ответа. Гавайки, которые были тут же, тоже не знали. Так что дискурс продолжался до полуночи и мешал мне спать. Чтобы хоть как-то отвлечься,



я стал раздумывать о том, что за неделю в доме Эвана не было и часа простоя! Один постоялец тут же сменял другого.

– Так ведь это у вас всё упирается в деньги, – отмахнулся он, когда я об этом заикнулся. – А я на сей счёт не парюсь. У меня дружок был в Калифорнии – работал-работал, копил-копил, всё ждал, когда накопит парочку миллионов, вложит в дельце и заживёт с процентов. А в итоге напился, упал с яхты – и так и не нашли. Жизнь – она ведь, как падение с яхты: можешь выплыть. А могут и не найти. Или вот ещё: ты идёшь себе по улице. Дышишь всеми лёгкими. Солнышко. Птички. А тут – драка. И тебе не пройти, потому что пути ни назад, ни вперёд – ты как в клещах, хочешь-не хочешь, а ввязывайся. Ну, засучиваешь рукава, сжимаешь кулаки... Ты бьёшь, тебя бьют. И когда уже нет сил ни уклоняться ни самому бить, вдруг понимаешь, что это сон. И просыпаешься... в другой сон. И этот новый сон тебе понятен и приятен. А кроме того, ты его в любой момент можешь сам выключить. Что ты выберешь? Я выбрал остров.

– А не скучно одному? – Селюжонку наш разговор не показался интересным, и он повернул его в привычное русло.

– Мне? – Эван не сразу понял, о чём он. И ответил, как несмышлёнышу:

– Ты часто видишь меня здесь одним? К тому же, я вот дружка себе усыновил.

И кивнул на клетку с молочным поросёнком. Сосунок уже приучился к бутылочке, и Эван надеялся, что, когда он подрастёт, будут вместе ходить на охоту. Что будет делать на охоте поросёнок, я так и не понял. Гавайские трюфеля, что ли, вынюхивать?

– Вот такое у меня усыновление. А вот насчёт скуки... Дружище, по-моему, у тебя тоска о миражах, – заметил он, врызаясь в сочную мякоть ананаса. – Хочется сладкого потрясения реальности? Ну-ну... – он окинул Пецьку скептическим взглядом. Лёд его радужки не растопили даже тропики. – Скука – болезнь бездельников. Просто психическая проекция, – сказал он тоном, каким, наверное, говорил бы доктор с пациентом. – И всякая там беспредметная тоска – тоже. Упёрся носом в точку – и ничего другого не видишь. Любые комплексы – это прореха в психике, воронка, своего рода спираль. Не миражи тебе нужны, а приключения. Когда у тебя охота к приключениям, этого добра найдёшь, где угодно. Но всё равно они – твои отражения из внутреннего. Психику лечить надо. Так что – в дурдом, парень. Если сам выпутаться не можешь.

Селюжонку вытаращился. Такого ему ещё никто не говорил. Даже сбежавшая жена, хотя она могла выразиться и покруче.

Я делал Пецьке усиленные знаки глазами – не суетись, мол, дай послушать! – потому что он уже налился багровым румянцем и кряхтел от злости.

Японцев-пьянчуг, усевшихся с пивом сзади, Эван также не принял в расчёт, как и своих девчонок-гавайек, пальцы которых по-прежнему плели гирлянды из орхидей. Он вообще никого не брал во внимание, когда говорил. Он просто выражал свою точку зрения. Наверное, на этом диком острове так было принято.

– Совершенно неэтичный человек, – шепнул мне Пецька, решив, что просто что-то не так понял, и я ему потом всё объясню.

– А за что боролся, на то и напоролся, – так же тихо ответил я, хотя наш хозяин не понимал по-русски.

– У нас говорят «любви без печали не бывает», – подал голос один из японцев.

– Да? – развернулся к ним Эван, и на лице его прописалось недоумение. То ли оттого, что он забыл об их присутствии, то ли эта мысль не вписывалась в его концепцию. – Может и так... Но другая ваша поговорка говорит, что потребность в пище выше потребности в любви, – немного подумав, сказал он. – На голодное брюхо и песня не идёт. Ведь что такое любовь? Цветок, орхидея, например. – Он взял в ладонь готовую гирлянду и слегка встряхнул её. Комната наполнилась тонким ароматом. – Сколько ей жить, орхидее? Час? День? Ей невдомёк, что где-то под землёй, не видя света и не зная воздуха, день и ночь качают воду корни. Перестанут качать – и нет цветка. По сути, цветок паразитирует на корнях. Можно жить и так, конечно. На материке так многие живут. Ну а я выпал из этого процесса. Я сам себе и корень, и листья. А воды здесь много. Потому я хочу радости от того, что вижу вокруг себя. Хочу принимать и вбирать в себя. Просто быть. И мне совсем не важно, есть цветок или нет его. Цветы преходящи – сегодня есть, завтра – лепестки опали. Как там у вас «Какие свежие розы – и увяли»? – Он порылся на полке над столом – там стояло несколько книг, просто нам было не до чтения. Эван вытащил небольшой томик на английском.

– «Как хороши, как свежи были розы», – немедленно уточнил учитель Селюжонку. – Это Тургенев, – добавил он и покосился на гавайек.

– Тур... Чур-Гений? Нехилое имя для поэта. Но суть та же – мгновенность и недолговечность.



– Любовь вечна как мир, – пафосно парировал Пецька, наблюдая за реакцией девушек. Но те уже заваривали для Эвана какие-то травы и с насмешкой наблюдали за ним.

– Моя жизнь была долгой конфронтацией самому себе, – не отреагировал Эван. – Потом я оказался в Ираке. Вы не знаете, что такое хамсин? Нет? Ну так о чём тогда говорить? А мне они до сих пор снятся. И мой самолёт, по самое брюхо врытый в песок, тоже снится. И ещё стихи Киплинга. Знаете, какие?

Напрасно! Впустую!

Хоть выложись весь,

Но гонка вчистую

Проиграна здесь!

Это вам не Чур-Гений. Я ведь до той «Бури в пустыне» тоже, как ты, циклился на юбках и считал – ах, какой я несчастный, меня не любит Элейн. Вот вернусь с кучей денег и брошу к её ногам... Всё это чушь, парни. Детский сад. И безутешно рыдать никто не будет, и, если что, никакая куча денег не спасёт. И нас у тех проклятых арабов не бабы спасали, а ящерицы. Мы их чуть ли не живьем пожирали. И не забывайте себе головы химерами. Ушла-пришла... Когда с огромной высоты видишь цель только по приборам, тебя долбанёт по мозгам: вот он – город, люди – пых – и нет ничего и никого, были верблюды – бах – даже шерстинка не летает в воздухе. А своя собственная жизнь с пылинку покажется. Потому лучше просто **быть!** И ни у кого не отнимать этого «быть».

Он посмотрел на нас обоих так, будто только что собрал вселенную в фокус и на наших глазах создал новую.

– Один мой друг после Ирака оказался в инвалидном кресле. А я вовремя демобилизовался – успел «with honors», как говорится. Бросил Нью-Йорк и спасся этим островом. Я ушёл от их бега по кругу навсегда. Только иногда старые раны достают... Но зачем нам нужен был тот Ирак? А Югославия, а Ливия, а Венесуэла?.. Гренада? Давно уже на земле нет ни одной страны и ни одного островного государств, куда бы мы не сунулись. Американские базы, кстати, стоят на всех гавайских островах, даже тут рядом, на этом райском островке. Видели вывески на пляже: «осторожно, можете наткнуться на неразорвавшийся снаряд...»? Когда-то Бог изгнал нас из рая потому, что нам всё чего-то не хватало: яблок, земли, неба. Кто же перепрограммировал нашу генетику, парни? Обосрал нам рай. Минутку!

Эван развернулся и исчез на своей половине. И не вернулся. Внезапно лёг спать? Был он небрит, бледен и глаза его окружали тёмные круги. Наверное, в эту ночь ему снилась «Буря в пустыне».

– Отставной козы барабанщик, тыфу – снова съёрничал Пецька, когда из хозяйской половины раздалась яростная дробь барабана ипу, и белолица гавайка – красивая девушка с длинными волосами кинулась туда со своим отваром, так и не одарив Пецьку взглядом.

– И чего им надо, этим бабам? – сумрачно буркнул он, разглядывая себя в зеркало, отражавшее нашу убогую комнатушку.

Япошки гужевали до утра. А утром на их место вселилась немолодая велосипедистка – англичанка лет шестидесяти с породистым лицом и спортивной фигурой. Дама, как она сказала, уже исколесила всю северную часть острова и утром собиралась посетить южную. Чтобы посмотреть на заросшие нашим отечественным мятликом стены русского форта.

– Говорят, ваши опять готовятся к войне?

Я лишь плечами пожал: кто – ваши? И кто говорит? Зачем?

Моя тетрадь была сплошь заполнена гавайскими мелодиями, я их собрал более ста. Мы оба с Пецькой выглядели теперь как настоящие дикари. Только вместо тростниковых юбок носили чуть ли не до пупа подвёрнутые шорты, которые тут же и сбрасывали, стоило добраться до пляжа. Вообще-то Пецька и тут не забывал, что он учитель, и носил расписную гавайскую рубаху. Это, конечно, не стильная экипировка Ли, но всё-таки. У него набралось несколько блокнотов зарисовок – там красовались и курчавые шапки бабабов, которые раньше я видел разве что на картинках. И стайки девочек среди рождественских сосен – высоких и стройных, таких, какими изображают их у нас на новогодних открытках. И ползущие по песку огромные черепахи, о которых доводилось только слышать. Самым смешными были рисунки снеговика и Деда Мороза (или Санты?) среди пальм и груд бананов с ананасами. Мы ведь приехали сюда как раз на наш старый Новый год (пойди-ка объясни здесь кому-то это странное словосочетание!). Но атрибуты Крстмаса тогда ещё не убрали, и мы очень веселились, представляя Деда Мороза в трусиках. А пляжи здесь были везде отменные, они окаймляли остров со всех сторон: выскочишь из дома – и через дорогу прямо по тропинке! Но что за радость – один и тот же? Тем более что на одних всегда вскипали



молоком волны, на других они ласково лизали ступни. Ну а третьи давным-давно облюбовали любители серфинга. Мы и меняли адреса в зависимости от настроения, которое напрямую зависело от количества выпитого май-тая – превосходный коктейль, надо признать! Но так хорошо оно, наверное, только тут, в тропиках. Для нас, жителей северных широт, привычнее что-то покрепче. Но с май-таем или без него океан здесь был всегда живым существом. Со своим характером и своими лицами: то фиолетово-синий, то бирюзовый, то голубино-голубого крыла, переходящим в зелень. Он вёл с нами негромкий диалог и без всякого нажима со своей стороны, как бы исподволь, принуждая нас пазл за пазлом вписывать себя в свою систему координат, и менял нас, как истинный маг или искусный фокусник, у которого в обшлаге рукава всегда таится, чем изумить простодушного зрителя. Океан любил изменчивость.

И мы то резвились в млечном разливе прибоя, то заплывали далеко-далеко в дымчато-сизую его гладь, откуда до берега, как до луны. Хотя нас тут же предупредили, что этого делать нельзя – акулы! Заплывают иногда. Редко, да метко. Что было странно. В нашем Чёрном море и дельфины давно повывелись. А вчера мы стали свидетелями удивительного водного шоу: среди быстро опускавшейся мглы по волнам носился некто с факелом. Он взлетал на самый гребень, задерживаясь там на какое-то мгновение, а потом ухал вниз, помогая себе веслом. При этом факел в другой его руке взлетал вверх-вниз уже впотьмах и, когда он внезапно погас, Пецька забубнил было что-то про неудачные мозги здешних любителей острых ощущений. Но вскоре умолк и только смотрел, как бьются о коралловый риф могучие тела волн. Их мягкая и упорная мощь пробивала со временем сквозные отверстия даже в вулканических монолитах, что угрюмо вздымались неподалёку от берега. Огромная и мрачная пещера в северной части острова, где мы, подобно героям известного фильма, оставили на камне надпись «Ляксапка и Пецька тут были», тоже стала свидетельством этому могуществу. Ведь пещеру вылизали всё те же ласковые на вид, бирюзовые языки, что толкались в его брюхо, когда ещё, подобно слепым сосункам, берег стелился у самой воды. С тех пор прошли века...

– Да, кто не живёт в тропиках, тот впустую прожигает жизнь, – вздохнул зачарованный Селюжонок.

– Несмотря на базу НАТО, – подтвердил я.

– Не меня обсуждаете? – раздалось над нами, и в крошечной тьме кто-то, помигав фонариком, нарисовался на смутно белеющем рядом шезлонге. – Это я, Эван. Люблю вечером пробежаться по волнам.

Мы ошеломлённо молчали. Он-таки рискованный парень, этот Эван. Правда, в его руке оказался вовсе не факел. Обыкновенный водонепроницаемый фонарик с программным управлением, который переключался одним пальцем. А всё равно – я бы так не смог. И Пецька бы не смог. Всё-таки цивилизация и в раю не помешает.

Впрочем, уже наутро мы от души поминали чёрта – Эван дал нам в дорогу большущий ананас, и запасливый Селюжонок утрамбовал его в чемодан. А зоркие лучи камеры слежения, через которую протащили наши вещи, явили глазам полусонных местных секьюрити... бомбу. И рай в одно мгновение рассыпался. Крохотный аэропорт пришёл в лихорадочное состояние боевой готовности. Зазвякали миноискатели, защёлкали наручники. Суровые молодцы в камуфляже оттеснили нас с Селюжонком в сторону, с большой осторожностью вскрыли чемодан. После чего, хмурия брови, заставили нас съесть сей фрукт без остатка. И... от рая ничего не осталось...

МАРИНА АНАШКЕВИЧ

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

рассказ

У Саши Пушкина была няня, Арина Родионовна. А у меня – белорусская бабушка Оля, тоже неродная, вторая жена дедушки и мачеха папе. Сказок она не сказывала, только раз заговорила меня, когда, напуганная ночью крысой, я стала было заикаться. Бабушка поставила меня в таз с водой, хлопнула по спине веничком из трав и что-то шепнула. Что именно, не помню, но заикание прошло сразу и без следа. Каждое утро она приносила мне горсть земляники из леса и ещё пекла оладьи из картошки – драники, а я, уплетая их за обе щеки и запивая молоком, обещала – когда вырасту – помогать ей доить корову, рубить свекольную ботву свиньям (храпки) и полоть злющие колочки в огороде. И с опаской поглядывала на её босые ноги с выпирающими косточками возле больших пальцев. Бабушка не мешала помогать ей по-моему, когда я рвала георгины в палисаднике и плела венки из золотых шаров для телёнка, вешая ему на шею. Телёнок не возражал, рожки его едва пробилась – твёрдые, тёплые...

Укрывалась я лоскутным одеялом, спиштым бабой Олей. Я обнаружила там всего понемножку, в пёстрой картине одеяльного мира таились яркие, светлые и тёмные краски. Каждый лоскут выделялся по цвету, плотности, форме и размеру, но все вместе слагались в праздничное салютование. Жизнь была из одеяла ключом.

Ещё бабушка вязала из лоскутков круглые плотные коврики-солнышки. Мои ступни до сих пор помнят их домотканое тепло. Одеяло же было целой Вселенной: я помню цветы, зверей, геометрические фигуры и странные узоры, в которых проглядывали морды страшилищ... Оно казалось живым. Помню и чёрный, абсолютно чёрный квадрат, который всегда оказывался в ногах. Одни картинки притягивали больше – к примеру, олени на водоеме, другие меньше, но читать одеяло стало любимым занятием, таким же, как чтение луга и леса за домом, живности в прудике у бани, августовского звездного неба... Звёзды подмигивали в щели сарая, доверху забитого сеном, заготовленным дедушкой Звёздочке – да, да, именно так звали корову-мату. Так что спали на сеновале под самой крышей. И Ковш, который только и был знаком мне тогда, всегда находился с левой стороны дома – что он «вертится», выяснилось позже. Под открытым небом звёзд было так много, невыносимо, до того много, что от их света хотелось плакать... казалось, они проникали во все поры тела, и оно изливало ответные лучи...

За бабушкиным огородом простирался луг – цветастый и звонкий, весь в бабочках. Там я изловила невиданную саранчу – в красно-белую крапинку. Сидела, зажав её ладонью в траве, на солнцепёке, битый час, пока не вернулся с озера папа, с белым полотенцем на плече. Пальцы разжать я боялась. С помощью папы страшилище оказалась в жестяной банке из-под леденцов, при этом мне было сказано: «Поиграй и отпусти, доча». Саранча билась о крышку, потом затихла, но я не решалась даже заглянуть внутрь – боялась своей пленницы, а потом забыла про неё. Банка вернулась в Москву, и время спустя была-таки приоткрыта... Вот ты каков, тлен...

Под иконой у бабушки висел календарь, каждый день от него отрывали листок и ближе к осени он худел. С тех пор одна дата в календаре смущает мою душу: 30 августа, когда мама с папой укладывали вещи, багажник заполнялся банками с грибами, вареньем, отборными яблоками, а дедушка с бабушкой, во владениях которых было всё это несметное богатство, скромно стояли возле машины, не противясь желанию отца сфотографироваться на прощанье – мы возвращались в город... Вот я стою – там – с двумя рыжими котятками на руках – тощая, загорелая... Один из котят, царапаясь, вырывается из моих рук, не желая смотреть, как «вылетит птичка». На лице грусть, будто знаю, что в тот год умрёт дедушка, и папа, схоронив его, больше не повезёт нас в Ореховно, и что вернусь сюда лишь через тридцать с лишком лет, одна, и не смогу сдержать слёз, увидев наш Дом в самом конце деревни – стоит, как всегда, только



сменил цвет: с зелёного на жёлтый... Увижу, что на могильных памятниках дедушке и бабушке пустые овалы под фотографии, а самих фотографий – лиц – нет... Как же так?.. Последний из сыновей бабушки с дедушкой, самый младший, а мне дядя Коля (родившийся, когда дедушке было под шестьдесят) достанет семейный альбом, и время побегит вспять... Мы отберём фотографии, где бабушка с дедушкой помолже. А ещё попрошу его показать мне те две огромные сосны, к которым папа привязывал гамак, а мы с сестрой качались в нём, с хохотом перекручиваясь в верёвочной сетке... Сосны стоят на месте, правда, не такие большие почему-то. Коля любит сосенки: мы с ним ступаем как раз по тому месту, где был когда-то бабушкин огород, но теперь нет и следа его, зато есть маленькие сосны, посаженные дядей, – бор стал ещё ближе к дому, всегда бывшему неподалёку от леса и песчаного карьера, испещрённого дырочками ласточкиных гнёзд. И вот я стою там, наверху, на изготовку – одно из звеньев в цепочке пацанов и девах, – колени ободраны до крови, две растрёпанные косички... Сцепившись руками, мы вот-вот сиганём вниз, в тёплый песок, который везде – на зубах, в трусах, в волосах... «Даже в бровях...» – укоряет мама, следя, как умываюсь, а бабушка защищает: «Нехай девка балуется...». Дедушка молча отбивает косу, привычное для него занятие. Так и помню его с той косой, в неизменной серой кепке; сбежав с лестницы, приставленной к душистой копне, выпаливаю скороговоркой: «Доброутрадеда!». Деда Сафрон кивает, не отрываясь от дела – сенокос... Так же молчаливо он сидит в лодке с удочкой – дедуля, а помнишь того охроомного леща, которого ты с гордостью нёс по деревне? Он один перевешивал твой улов за неделю. Тогда же я напоролась на гвоздь и прыгала на одной ножке, не столько от боли, сколько демонстрируя «смертельную» рану... Помню даже, какую карамель ты любил и каждый раз заказывал её, когда твой средний сын Саша, мой отец, навевдывался в районный центр... (а старшего сына, Павла, убили на войне, и почти сразу, сгорев от горя, умерла твоя первая жена Пелагея, родная моя бабушка... Всё, что осталось мне – лица на фотокарточках). Ах да, конфеты... Мне же довелось лишь положить те конфеты на твою, дедуля, могилу – надо же, их до сих пор выпускают для сладён... А папе... в папину могилу положила землицу, что копнул для меня Коля, возле Дома солнечного цвета... А ещё... помнишь, деда?... когда я сказала, смеясь: «Дед, да ты такой старый... из тебя песок сыплется, вот ткну тебя пальцем, ты и развалишься!». Ты же молча взялся за прилолку и подтянулся на руках раз, два, пять, десять...

Я беру свои слова назад, дедушка. Бабушка, обними за меня тёплую Звёздочку. А рыжего Дзидуна – так звали того цап-царапыча – больше не стану подстерегать и вылавливать, чтобы приручить: нехай балуется... Да, и банка – та, жестяная, куда не проникал ни воздух, ни свет... она не пуста, а полна леденцов-самоцветов. Кузнечик в красно-белую крапинку пасётся на бабушкином одеяле – интересно, а чувствует ли саранча, что глажу её по нагретой солнцем спинке?

ЕВГЕНИЯ ДЖЕН БАРАНОВА

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

рассказ

Богатый – посёлок тихий. Хотя какой там посёлок! Село обыкновенное, узкое, малоурожайное. Была когда-то птицефабрика – да и та сгорела третьего мая девяносто четвёртого года. Говорят, Сашка Пьяных сжёт. Зачем сжёт – спрашивали, а он только голову опустит и бубнит, что не виноват. О чём с таким разговаривать? Сначала исчезли несушки, белокурые и задумчивые, опустел убойно-перерабатывающий комплекс, склады потихоньку опустели, комбикорма-то всем нужны. Последним исчез петух Сникерс, гордившийся своим желтоватым клювом больше, чем следовало. По винтику, по досочке, по зёрнышку – там и гореть-то было нечему.

Осталось, в общем, семей восемьдесят. Кто в Севастополь овощи возил, кто из Севастополя туристов. Неплохо жили, смирно. И фельдшерский пункт, и начальная школа. Крытая автобусная остановка. Биография Богатого и дальше складывалась бы вполне пристойно, если б не Ольга Сергеевна.

Первой её заметила дворняга – залаяла, застыла, опять залаяла. Потом на ставке поднялось какое-то волнение, утка вспорхнула. Тем в субботу всё и ограничилось. Ольга Сергеевна была воспитанным человеком.

Во вторник Геннадий Афанасьевич, возвращаясь домой с двумя лещами, заметил, что ветви его яблони примяты, как бы притоптаны, но вывода никакого не сделал, время было сонное, послеобеденное.

К четвергу об Ольге Сергеевне говорил уже весь посёлок.

В пятницу решили составить петицию, мол, так и так, учительница начальных классов, 58 лет, Ольга Сергеевна Паншина нарушает общественный порядок, пожалуйста, примите меры. Петиция – это хорошо, конечно, но куда с ней, с петицией-то, податься. Если в Симферополь ехать, в правительство, то доказательства нужны, свидетели, свидетелей же всего двое – одному восемь, другой шестьдесят три. Не поверят. Тогда решили сфотографировать нарушительницу – мобильные телефоны сейчас у всех есть.

Как только стемнело, высыпало ранними грибами всё взрослое население Богатого на фотоохоту. Прячутся, прислушиваются – тихо. Даже тише прежнего. Так и просидели часов до двух. Потом, конечно, разошлись.

А в воскресенье Ольга Сергеевна принялась за старое. Войну объявила, значит. Анна Игнатьевна предложила посменно дежурить, дежурить никому не хотелось. Филипп Исидорович предложил поговорить с учительницей, поговорить по-мужски. Наде стало жалко Ольгу Сергеевну, девушка даже расплакалась, но медлить было нельзя.

Утром следующего дня Филипп Исидорович в клетчатой рубашке и с чистыми намерениями готовился к худшему. Рубашка была не первой свежести, «а вдруг придётся бить, запачкаюсь», левая рука немножко дрожала, «бывшая жена всё-таки, как я буду». Если бы жители посёлка Богатый смогли заглянуть в потаённые глубины Филиппа Исидорович, то, кроме органов пищеварения, они обнаружили бы в нём и чувство вины, и чувство досады. Филипп считал, что с Ольгой приключилась беда именно потому и только потому, что он с нею развёлся, «ни одна нормальная баба такого не позволяет, никогда, все спокойные, готовят, да и Ольга нормальная была, борщ, аккуратная, я мужик или кто, я устаю, могу прикрикнуть, в доме порядок нужен, кто работать будет при таком отношении». Одолеваемый древнегреческим хором мыслей, Филипп Исидорович добрёл-таки до оранжевого домика с неровной крышей. Пахло травами. Филипп постучал. Открыли не сразу.

Ольга Сергеевна, помолодевшая, но строгая, смотрела на Филиппа Исидоровича.

– Ольга, тут такое дело.

– Проходи.



- Ольга, я не просто пришёл.
– Проходи, говорю.
– Зачем это? мстишь мне? что люди о тебе говорят!
– И что говорят?
– Что ведёшь ты себя антиобщественно.
– И как же это «антиобщественно» я себя веду?
– Все тебя видели, Ольга. И Галя-бухгалтер, и внук её Борька, и Федя Малой, и Григорий, тот, у которого пасака, и Кирюха. Все тебя видели.
– ...
– Все видели, как ты это делала, Ольга!
– ...
– Ты же учительница, детей учишь.
– Учю. Всю жизнь учила.
– Обо мне бы подумала. Не девочка уже. Думать должна.
Ольге Сергеевне разговор начинал надоедать.
– Филипп, что ты от меня-то хочешь?
– Прекрати.
– Что – прекратить?
– Летать прекрати, дура безмозглая.
Рот Ольги Сергеевны вытянулся в розовую полоску.
– И не подумаю.
– Тогда я с тобой по-другому, тогда я с тобой...

Что собирался сделать Филипп Исидорович с учительницей начальных классов, мы с тобой, дорогой читатель, так и не узнаем. Раздался удар, глухой и чуткий, потом ещё, потом будильник звякнул не свойственным будильникам мелодией, потом закапало, забублькало из кухонного крана на краешек фаянсовой тарелки, а потом Ольга Сергеевна, тщательно вымыв и высушив руки, взяла метлу из шкафчика на летней кухне и улетела в сторону Белой Горы.

ЕЛЕНА ШЕЛКОВА

ПЫТАЯСЬ КОГО-ТО СЕБЕ ЗАГАДАТЬ

Мы с тобой ходили в свидения,
Я ловил сачком снега зимой.
И не знал, что ты – стихотворение,
Всё ещё не созданное мной.

Уносил снега под солнце, в рощицу,
Чтобы снег не подхватил бронхит.
Ты смеялась:
Если вдруг не сложится,
Сложатся прекрасные стихи!

Как я злился!
Хочешь – будь неверною,
Можешь чашки и меня побить.
Но просил я до стихотворения
Никогда меня не доводить!

Довела.

И вот однажды в мир немой
Цвета снега стих упал в тетрадь.
Просто стать строкой забываемой:
Нужно научиться забывать.

Поделись талантами забвения.
Как сбежать,
Найти другую грусть,
Если ты – моё стихотворение,
А стихи я помню наизусть?!!

ЗАВЕДИ

Красота с одиночеством бродят.
Крепко спаяны эти пути.
Кто kota, кто совёнка заводит,
Ты меня,
Ты меня заведи.



В Третьяковке и Лувре мне грустно.
Что холсты, кринолины, парча?
Пить с ладоней твоих – вот искусство,
Что потомки должны изучать!

О любви и о птицах не спорят,
Страшно, что не страшны поводки.
Заведи меня!
В лес или море,
Заведи,
Только не доводи

До того,
Чтобы я заводила
Не тебя,
Не того и не там.

Птица может лететь легкокрыло
Только к верным своим адресам.

...будут падать солдаты, снежинки,
Таять вновь у Земли на груди.
Бог заводит всё ту же пластинку...
Заведи же меня,
Заведи.

А метель всё метёт по двору, и
Рифмы белые, как молоко.
Я тебе фонарей наворую,
Если, вправду, до звёзд далеко.

Я нарву фонарей, как ромашек –
Испеку нежный, лунный пирог.
Приезжай, быть бесстрашным не страшно,
Бомбы к нам не придут на порог.

Пусть границы, война и солдаты.
Приезжай, чтоб себя испытать.
Я с тебя не пылинки – куда там! –
Даже ангелов буду слувать...

И смотрят, и смотрят со дна океана
На белые звёзды – и нет иных дел –
И юнги, и боцманы, и капитаны
Давно затонувших, седых каравелл.



И видят, что звёзды – совсем и не звёзды:
Огни от турецких, крутых папирос.
Их курят матросы, их курят матросы
Погибшие на берегу, не всерьёз.

Ведь это не смерть, если не в океане,
Ведь это не гибель, когда без воды.
В какой-то стране быть в земле – это странно,
Когда с Чёрным морем ругался на «ты»!

И хочется с чёртова неба сорваться,
Нырнуть со всей дури к своим кораблям!
И там танцевать утонувшие танцы,
Кричать о фрегатах притихшим китам.

Но с неба – нельзя. И летят папиросы
С небесной тревоги на водную гладь...

...А ты говоришь – это падают звёзды,
Пытаясь кого-то себе загадать.

НАД ДУШОЙ

Разорви свой билет проездной.
Без тебя не все дома в дому.
Ты стой!
Ты стой!
Ты стой!
Мне не выстоять ведь одному.

Я бежал и на Марс,
И в Тибет,
Я транжирил себя до гроша.
И стихи, что писал о тебе,
Специально другим посвящал.

И в ломбард
(До чего я дошёл!)
Сдать пытался земной глупый шар.
Ты стой!
У меня над душой,
Чтоб душевнее стала душа.

И тогда я тебе расскажу
(Я бесстрашный!)
Свой страшный секрет...
Видишь – на подоконнике жук,
На полу зарифмованный бред.

Не брани тараканов моих.
Мой поступок почти что смешон:
Я сказал всем, что это –
твой стих.
И он мне,
И он мне посвящён.



Цветы не умирают тихой смертью,
Рождѣнные в стекле большой теплицы.
Зачем ты смотришь в небо, семицветик?
Ведь над тобою лица, лица, лица...

Тепло в теплице, только не согреться.
И выбора не будет: или – или.
Зачем вас в сумасшествии селекций
Талантливые звери выводили?

Вас выводили те, кто жил без башни,
Забыть бы лишь о ком-то где-то где-то,
И вот танцуют синие ромашки
И васильки кораллового цвета.

Колдует гений, сквозь пыльцу и слѣзы,
Он видит вместо лилий – чьи-то губы,
Он скрещивает розы и берѣзы
За то, что ей ботаники не любы!

По красному ромашковому полю
Влюблѣнные идут светло и мило.
Изобретателя ромашек помнят, помнят,
А ты его сто лет назад забыла.

И в этом вихре злых изобретений,
Больших открытий, проигрышей, жалоб.
Цветы скорей отбрасывают тени,
Чтоб хоть они от ножниц убежали.

СТРАНА СОЛИРУЮЩЕГО САКСОФОНА

Оркестры, повсюду оркестры, оркестры.
По струнам идѣшь, понимаешь: труба.
И дружбе нет места, и нежности места,
Но всё же страну сочинию для тебя.

Страну Солирующего Саксофона.

Нет тихого слова – всё чаще и чаще
От звуков и звяков гудит голова.
Здесь галстук, и тот подбирают кричащий,
А я всем назло подбираю слова.

К Стране Солирующего Саксофона.

Я их подбирал, как девчонка помаду,
Которая знает, что встреча – финал.
А всё оттого, что когда сам я падал,
Никто никогда меня не подбирал.

В Страну Солирующего Саксофона.



И пусть одному мне кружиться траваем,
 И пусть одному возвращаться домой.
 Я – неповторим.
 Или неповторяем?
 Я – не подбираем к тебе
 и тобой.

Я – буква.
 Я – слово.
 Я – фраза, которой
 однажды взорваться – затихнут миры.
 Среди оркестрантов, играющих горе,
 Услышь меня
 И подбери,
 подбери.

В Страну Солирующего Саксофона.

Я буду гнать!
 Стихи,
 портвейн из груши,
 Автомобиль
 сквозь белые цветы.
 Я буду согревать
 дыханьем лужи,
 В которых отразиться
 можешь ты.

Я буду гнать!
 Коней
 до самой Ниццы.
 Галиматья в расцвете –
 благодать!
 Пусть лишь во сне
 перехожу границы,
 За сны мои
 положено
 сажать.

Я буду гнать!
 Пургу
 от наших дочек,
 Вязать стихи,
 которые нельзя...
 Гляди, уже
 у стихотворных строчек
 Нарочно
 Отказали
 Тормоза.



Я буду гнать!
Поэты ведь гонимы.
А не гоним –
голимый лишь поэт.
Прогоним всех!
Прогоним, и Бог с ними...
Уйдёт,
Сказав,
Что больше
Бога
Нет.

ВЛАДИМИР ШТОКМАН

«ТАМ, В ТОЙ ПРОВИНЦИИ, ПЛОТНОЙ, КАК ОСМИЙ...»

КОРМЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙ

Вчера я был в бестиарии.
Кормил прожорливых троллей.

Несколько раз
неловко брошенная мной пища
не попадала между прутьями клетки
и падала в глубокий ров наполненный зловонной жижей.

Каждый раз заметив мою промашку
тролли начинали бесноваться –
визжа и завывая они скакали и кувыркались
сморкались и плевались
швыряли в мою сторону
недоеленные куски корма и фекалии.

К счастью
от них меня отделяло
прочное стекло монитора.

Племя, прозревшее в век слепоты,
Не предсказуемо. Чёрные стены
Могут рождать только горькие стоны.
В каменоломнях ночные посты
Светом прожектора ловят глазастых:
«Ишь, расшумелись! Небо им застит
Этот монблан неземной высоты!».

Так уж бывает с народом людей,
Тем, что живя в одиночках провинций,
Мог бы сказать о себе: «Мы провидцы
Неких ещё не рождённых идей».

Только безгласны они, словно рыбы,
Только безглазы, как серые глыбы.
Псы охраняют их тёмный покой.



Словно часы над багровой рекой
Солнце. Без стрелок, без глаз и без рта.
Медленный лик в неподвижную воду
Плавно скользит по небесному своду.
Миг – и исчезнет. И вновь – темнота.

Вереницы безруких старателей
И шеренги безглазых смотрителей,
Многотомье безмозглых писателей,
Мелкотемье немых говорителей...

Над страной облака беспросветные,
А под ними – сирые смертные,
Перед сильными – безответные,
Перед небом – святые и светлые.

Может быть, ещё распогодится,
Может быть, все ещё перемелется,
Может быть, всё, что нужно, исполнится.
Может быть... Только что-то не верится.

Н. Грому

Помнишь? – гадали на гуще кофейной,
Блюдце вертели и верили в духа,
Грусть заливали креплёным портвейном
И улыбались от уха до уха.

По гороскопам судьбы сверяли
И по крутым гексаграммам И-Дзина,
Слушая звуки небесной свирели.
Время растягивалось, как резина.

Вился дымок голубой горьковатый,
Каждый второй был отпрыском бога,
И колыхались волны нирваны
В каждой квартире, за каждым порогом.

Там, в той провинции, плотной, как осмий,
Жизнь представлялась подобием круга.
Только закончился «век високосный»...
Что непонятно – спросите у Гугла.

ВЕДЬМА

Меднум... ведьма... Медвяные ветви взметает,
тает во тьме метеора таинственным следом
едва леденящая душу тайна вещей и существ.



Веще в сущем, очнувшись, шевелится смутно,
 омутом слов-недомоловок манит и мерцает,
 словно осколками солнца в глубоком колодце...

Где найти тишины и покоя?
 Где укрыться от злобы дневной?
 Время века безумной рекою
 Катит воды свои надо мной.

Распадается жизнь на фрагменты,
 Расплываются лица и дни,
 В бестолковых скачках киноленты,
 В нервотрёпке немой беготни.

Что предметы, что люди, что тени? –
 Всё едино в Стране Дураков,
 Не понять её хитросплетений,
 Не разбить её цепких оков,

Не укрыться от чёрного взгляда
 Бесконечных бессонных ночей,
 Не спастись от гремучего яда
 «Человеколюбивых» речей.

Где тот берег свободы и воли,
 На котором минута – как век,
 На котором ни страха, ни боли,
 И любой человек – человек?..

Но река всё течёт, не мелея,
 Нет ни дна у неё, ни границ,
 И потоки дерьма и еля
 Так и льются с газетных страниц...

ОШИБОЧНАЯ ВЕРСИЯ

Диктатура совести. Повальные аресты.
 Тюрьмы памяти забиты до отказа.
 Комендантский час. Попытка к бегству.
 В городе свирепствует проказа.

Судорожно корчится в кармане
 Заживо забытое лицо.
 Купол водокачки над домами –
 Глупое колумбово яйцо.

Холодно. Уймите прокажённых.
 Чёрные пластмассовые птицы
 Ищут корм на выжженных газонах.
 Небосвод устал от репетиций.



Паспорта, проверки на дорогах –
Каждый вздох отмечен протоколом.
Острова свободы – в огородах,
За густым дубовым частоколом.

Сделались ночи томительно длинными,
Сделались дни утомительно серыми,
Пялятся в душу глазами совиными
Тусклые звёзды с холодного севера.

В сквере продрогшем голодные голуби,
В почву промёрзлую тюкают клювами,
Мащут акации ветками голыми,
Город понурый с домами угрюмыми.

Старая площадь как чёрное озеро,
Пёс беспризорный с поджатою лапою,
Редких прохожих насквозь проморозило –
Не ожидали зиму внезапную.

Зиму бесснежную, стужу бесстыжую
Не ожидали, не знали, не верили,
Ну а теперь уж не предотвратишь её –
Ломится, нагая, в окна ли, в двери ли.

Что там болтают про близкую оттепель?
Дескать, надейся, и всё образуется.
Были да сплыли надежды, и вот теперь
Ветер морозный повсюду беснуется.

Перезимуем... И круче бывало ведь,
И не такие ненастья видали мы.
Нас не успела природа избаловать,
Лишь закалила летами летальными.

Чайник поставь на конфорку лиловую,
Окна и двери закрой поплотнее.
Переживём эту зиму суровую
И посмеёмся весною над нею.

Почудилось, что времени в обрез,
Невидимый *каюк* уже причалил,
И звучный зов доносится с небес,
Исполненный возвышенной печали.

За суетой озлобленного дня
Всё было недосуг собрать манатки,
Теперь вот впопыхах, судьбу кланя,
Пакуешь в чемодан свои тетрадки.



Как будто можно время наверстать,
Как будто можно черновик исправить,
Как будто можно всё ещё мечтать
«О доблестях, о подвигах, о славе»...

А облака плывут над головой,
Как скомканные белые страницы.
«И небосвод наивно голубой»
Зияет у неведомой границы.

АЛЕКСАНДРА ШАЛИНА

РЕЧЬ МОЯ МЕНЯ РАЗДЕЛА

Это было моё решение: говорить
о тебе не с тобой – неправильное решение.
Пёс мой в марте простыл, и, кажется, был бронхит,
но неделю назад наметилось улучшение...

Я не еду домой на майские: ходит слух,
проверяются поезда на границе с Крымом,
да и ехать туда теперь – это слушать двух
соломоновых матерей о правах на сына.

Я не знаю, зачем мне память, когда она,
как история государства – при каждом новом
государе переписывается, и вскоре
принимает любую форму, в какой ценна.

Но без памяти, кем я стану и кем я есть?
Человек, потерявший дом, не обретший дома?
Гость, который не помнит, у чьих он сейчас знакомых...
Но проходит к столу, и ему предлагают сесть...

Я бы лучше стояла в роще, чем гадать на кофейной гуще,
дух лесной, как орехи, лушит несмешных городских детей:

тишиной забивает горло, тишиной затыкает уши,
я бы лучше, намного лучше...
но на деле, я лишь честней.

Я ночую в доме простых людей,
для которых бог – это свойство быта –
он в жаре вечерней, в муке из сита
и ему не надобно быть сложней.



И такого бога легко любить –
он привычен, выражен, осязаем.
И мы с ним не то что друг друга знаем,
но могли бы, в общем, заговорить

при других обстоятельствах. Там, где я
родилась – он был холоден и двуличен
где росла – почти не входил в обычай,
где училась – был сложен, но пояснён.

И на двадцать третьем своём году,
всё, что я могу – стать спиной к свету
и смотреть, как бог, которого нету,
проникает в щели... печёт еду...

Раньше во мне было много. Теперь осталось
то лишь, о чём стихами не говорится:
я содержу работу, потом усталость,
после всего во мне проступают лица
тех, кого я никогда не предаю. И вот.
Корни здоровы, но дерево не растёт.

Если к тебе прибьётся моя зима,
жди её с тёплым хлебом и молоком...

дети, ростки дающие от ума,
держатся от сердечных особняком.
Я не имею ножниц, но садовод
очень умел – комар не подточит нос.
Дайся макушку срезать – и в рост пойдёт
корень сердечный. Известь и купорос
вместо манжетов белых по рукавам.
Будешь теперь смеяться и горевать.

Можешь, конечно, не верить моим словам,
я тебе не любовница и не мать.

ОБ ИССЯКАЮЩИХ РАЗГОВОРАХ

Вода пересыхает... мы молчим.
Пустыня необъятна. Караван
всё тянется, едва ли различим, –
везут твои слова к моим словам
верблюды между двух своих горбов...



До чего же долгие были провода:
будто всяк уехавший – прокажён.

Вот и я к себе прихожу из города,
разрезаю надвое хлеб ножом

и уже не кажется, нет, не кажется...
Ничего не спрячется в тишине.

Посади весной тонкокожий саженец
в ненапоминание обо мне.

Разбираться будем потом. Сейчас –
в доме включен свет, в доме включен газ,
в бессловесном воздухе резонанс
от любого звука.

Хоть смотрюсь я этаким гордецом,
ко мне ходят люди с твоим лицом,
а на кухне время брызгой-жильцом
потирает руки

и, слюнявя пальцы, считает дни.
Избегая вынужденной возни,
Выхожу из дома. Поди смекни,
отчего же струсил?

Отчего всё гладко, но чую слом,
отчего прямые большим числом
неизбежно сходятся под углом,
образуя узел.

Что говорить? Выживать слова,
манкировать изяществами речи?
Мы никогда не станем человечней,
так что уже об этом горевать.

Иди за мной по скошенной траве,
неся в себе палачество эпохи,
пусть вечер разливается и глохнет,
в пустой разгоряченной голове...

Навряд ли кто сумеет объяснить,
зачем мы так неразвиты в искусстве
переводить другим простые чувства,
а сложные себе переводить.

Божок янтарный – солнце в головах.
Пошто молчишь, лицом деревенельый.
Смотри, как речь моя меня раздела,
как речь моя меня переврала.

всё абсолютно честно:
случится горе – я не приду,
случится счастье – я не приду
я Магомет, который с горою в ссоре.

навряд ли гора имеет его ввиду.

Утро в тисках оконных.
Будешь ли ты спокойна,
если меня не примут
люди с моим умом?
Если меня оставят
в комнате узких ставней,
и я не вспомню, как мне
выйти в дверной проём.

—

Я в состояньи мира,
ты в состояньи мира –
это необходимо:
нам не снести войны.
В том, что как в древнем риме
все наши чувства вымрут
в будущем обозримом,
мало твоей вины.

ГОРЫ

Объясняю тебе ещё раз,
по-хорошему, по-простому,
я всегда называю горы
именами своих знакомых

и хожу потом к ним, как в гости,
успокоенная участием
молчаливых. Довольно сносно –
я в порядке, и горы счастливы.

ВЛАДИМИР МЯЛИН

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. МОНОЛОГИ

поэма

1.

Я помню: мальчиком, гравюру взяв
У Гирландайо – Мартина Голландца –
Неделю я копировал с неё.
Там бесы, взяв увесистые палки,
Антония святого искушали
Ударами. На шумный рыбный рынок
Ходил я каждый день тогда, дивился
Зубастым рыбам; красным плавникам,
Раздутым жабрам и глазам навывкат.
Учитель мой пытливости моей
Слегка завидовал, а было мне лет десять.
Тогда намного больше, чем теперь,
Я знал, искусство сердцем понимая.
Прилежен не был я в ученье, всё
Бродил по улицам предместий флорентийских;
Там – Арно, лиловая в закате,
На зеркале удерживала лодки;
Там – Понте Веккьо с арками, там – церкви
Небесный шарик, башенка, там вилла
Средь гор, заросших кедрами и плющем
С вкраплениями синей жакаранды.

Однажды утром мой дружок Граначчи
Привёл меня в сады Сан-Марко, там
Античные фигуры расставляли
Рабочие. Какой восторг тогда
Я испытал, бессмертные творенья
Воочию увидев в первый раз!
Античность светлая мне мрачно улыбнулась,
Заставив взять резец железный в руку
И столбик мрамора поставить пред собой:
Задумал я скопировать тогда
Сатира, фавна голову – смеялся
Божок античный, но доставало
Всей части нижней странному лицу...

Рабочие резец мне одолжили
И дали мрамора кусок приличный,
Такой тяжёлый, что и сдвинуть с места
Не мог я – и в аллее тут же



Работать начал... А дня три спустя,
 Почувствовал я взгляд. Я обернулся:
 На фавна моего смотрел прохожий,
 Он улыбнулся и сказал: «Все зубы
 Ты сохранил сатиру-старика,
 Но в этом возрасте у фавнов нет зубов».

Как хорошо теперь я это знаю!..

С тех пор я жил у герцога. Дворец
 Стал домом мне, король мне стал отец,
 Флоренцией прекрасной – мастерская.

2.

Любезный Медичи! В былые времена
 Не так всё было; медленнее реки
 Текли, по их отлогим берегам
 Росли леса, холмы скрывали виллу.
 Увеселений шум и ток вина
 Не заглушал божественного слова,
 Рассудка не мутил напиток светлый
 Искусств – а тёк себе легко по жилам,
 И в сердце радость, юный блеск в глаза
 Он доставлял, повсюду проникая.

А что теперь? – Разлит. А ты – в гробнице
 При Сан-Лоренцо, рядом с Джулиано.
 Уже старик я, а совсем недавно –
 Как будто день прошёл или неделя –
 Был принят я тобой, одет, накормлен.
 Ты подарил мне плащ тогда лиловый,
 Его повсюду я возил с собой,
 И, надевая или так любуясь,
 Я вспоминал закатные часы –
 И Арно фиолетовые воды...
 Когда в изгнание в зеркало каналов
 Венеции гляделся я, когда
 В Болонье я исстукивал фигуры
 Для усыпальницы – передо мной текла
 Река моя, придерживая лодки...

И, как монах перебирает чётки,
 Перебирали звон колокола.

3.

Не долго воздухом чужбины
 Дышать в те дни мне довелось.
 И во Флоренцию с повинной
 Мне возвращаться не пришлось.

Какая власть потушит пламя
 В груди? – Какие времена



Загопчут душу сапогами? –
Лишь кисть художнику нужна.

Нужны ваятелю до смерти
Резец и мрамора кусок,
Чтоб из зернистой этой тверди
Он душу высвободить мог.

И, результатом не доволен,
Кошелек положит он тугой
Себе в карман. И снова болен,
И снова бредит он пьетой.

Скучлив от Вакха – до Давида,
От Купидона – до святых.
Нет, не республикой открыта
Земля во странствиях моих.

4.

Шесть лет мне минуло, когда ушла
В мир лучший мать моя, её почти не помню.
Черты её мне видятся, размыты,
Но яркие, словно день, как будто мрамор
В каменоломнях солнечной Каррары.
И, дело странное, когда Пьету свою
Выстукивал я – образ материнский,
Её лицо в сознание проступало.
Так проступает грунт сквозь краски слой,
Или рельефы тел сквозь твёрдый камень.
Потом меня корили, что юна
Мадонна, а Христос в своих годах.
Но разве мыслей чистота – и святость
Не дарят краски свежие чертам,
А телу – гибкость, грацию, упругость? –
Не придают движениям неспешность
И плавность даже в скорби материнской,
Немыслимой?.. Иисус же испытал
Все горести и страхи человека,
И только грех, навязчивый и тёмный
Ему неведом был – и годы
Его коснулись, как и всё земное
Небес касается... Мне кажется теперь,
Что все мои мадонны материнский
Имеют облик. Старое чудит
Порою сердце, ум как брага бродит.
То лаврами себя вознаградит,
То юный пыл в тех давних днях находит.

5.

Отец мой бил меня за то, что я
Учиться не любил, забросил
Грамматику и начал рисовать.
Я помню, разминал я глину,

Играл резцом каменотёса – мужа
 Кормилицы моей. В их светлом доме
 Провёл я детство раннее – и прежде,
 Чем перьями писать – резцом
 Я камень научился резать.
 А камень был везде – куда ни глянь:
 Жена каменотёса – дочь
 Каменотёса же, – я с молоком
 Кормилицы впитал любовь
 И нежность к ремеслу каменотёсов.

Вот, твёрдость камня учит нас терпению,
 Даёт возможность много передумать,
 Переосмыслить, перевоплотить
 В своём сознании, пока слои
 Сбиваешь с мрамора. Свободней
 Себя ты чувствуешь, на досках стоя,
 Как бы паря над пропастью без крыльев –
 Одним воображеньем... Но во всём
 Художник должен быть монументален –
 И в радостях летучих, и в скорбях.
 И если образ вздумает он древний
 Извлечь из тьмы твердеющей времён,
 То пусть в уме не сразу, постепенно,
 Рождается и возрастает он.
 От тесноты сознанием отсекаем,
 На Божий свет являясь по частям,
 Он, наконец, предстанет, узнаваем,
 Как старый друг приветливым очам.

6.

Спи спокойно, Донателло:
 Мрамор брошенный не пуст.
 Слышны звуки то и дело
 Из его сомкнутых уст.

Спит Давид в громадном склепе,
 Не истукан и не зрим,
 Как зерно живое в хлебе,
 Мёртвым скульптором храним.

Но живой живому нужен, –
 Молоток берёт, резец
 Новый скульптор – и разбужен
 Бранный отрок, наконец.

За плечом праща из кожи;
 Перед боем мой Давид
 Напряжённо тих, похоже,
 Хоть и буря в нём кипит.



Будет худо великану,
И молва из рода в род...
Может быть, и я восстану –
Скульптор-Бог меня спасёт.

7.

Я во Флоренцию вернулся из Болоньи.
В то время власть была в руках монаха,
Будь то часовня или монастырь –
Везде он обличал и бичевал,
Покуда сам, как лёгкий прах, не взвился
К лазурным флорентийским небесам.
А до того туда летели книги,
Картины мастеров непревзойдённых,
Мандолы, флейты, редкие вещицы.
И с ними знатных горожан досуг
Кружился пеплом, устилая пьядцу.

Не знаю я, что лучше – зло ли,
Которое приносит облегченье?
Добро ли, за которым по пятам
Ступает дьявол? Сколько лет прошло,
А всё я вижу бледное лицо
Монаха у столба. И пламя
Крадётся, льнёт к полам – и отступает
На миг. И страшный крик. И ужас
Оцепененья... Бедный Джироламо!

8.

Вчера хвалил Челлини мой картон
Давнишний, с битвой славной при Кашине.
Что ж, им доволен был я – жалко мне,
Что он исчез. Солдаты в жаркий день
Купались в водах Арно. Вдруг,
«К оружию!» – раздался крик, кричал
Один из флорентийских генералов,
Заметив неприятеля. Тогда
Испуг купающихся мирно охватил,
Солдаты встрепенулись; брызги
Летели в стороны; друг друга на ходу
Толкали воины, к одежде устремившись.
Ещё бы миг – и бранная отвага
Заставила б их лица просветлеть.
Но миг сей не настал ещё – мы видим
Поспешность – не стремительность фигур.

Нередко в мастерской, врасплох захвачен
Желанием схватить резец скорей,
Или перо, – бываю озадачен
Или напуган битвою моей –



С самим собой. Бегу, одежды целы
На берегу, на голове смешон
Венок от солнца; и нагое тело
Как бы во сне. И враг – со всех сторон.

9.

Вчера Асканио купил свечей.
Работать по ночам такая мука!
И жарко от свечи, и по лицу
Стекает пот; и не идёт работа...
Удушлив день, удушлив так же вечер;
Слабеет солнце, за холмы заходит.
Река, как пар, и лодки, словно тени,
Недвижны. Вдруг повеет ветерок –
Всё встрепенётся вмиг – и снова тихо.
И ночь близка. Вот выглянули звёзды,
Блестя, как дёсны без зубов – и мимо
Проходит Старость со свечой в руке,
Как финик, сморщенной. Проходят
Торговки ранние. Скрипит телега;
Везёт товар на рыбный рынок – души
Умерших. Та – хватает воздух ртом,
Та бьёт хвостом; вон та топорщит жабры;
Надутый шар краснеет плавниками
И глазки пялит на меня из груды
Стеклянных рыб... Подобны слизи
Под утро сны... Сверкают их чешуйки, –
Вот весь улов, вот дней моих итог...

10.

Однажды высмеял я своего
Учителя; он краски клал прилежно
На полотно – так густо, как маляр,
Малюющий направо и налево.
Стучал, как дятел. Я ему сказал,
Что от него мои завяли уши.
Он размахнулся и сломал мне нос
Ударом кулака; сухим печеньем
Мой хрустнул хрящ – и с этих самых пор
Мне говорят, что стало напряжённей
Моё лицо – и более рельефно,
Как камень от работы долота.
Спасибо, мой дружок! Твоя забота
Имеет нрав кулачного бойца.
Ты удружил мне, Пьетро Торриджано!
Мой нос усёк не хуже ты Творца:
Нет совершенства там, где нет изъяна.



11.

На камни море выбросило ската.
Идёт волна в снегу прибрежных пен.
Суставы ломит – поздняя расплата
За красок яд, за сырость папских стен.

Как скорбный скат, в песке полузарытый,
Один лежу, не глядя в небеса,
И вижу мрамор мощного Давида,
И слышу птиц опасных голоса.

В какой простор зовут меня сирены?
Не я ль к кресту, как к мачте пригвождён?
Удар резца, ещё удар – и пены
Всё унесут в морскую даль времён.

12.

Бывают дни уныния, тяжёл
День душный, не идёт работа.
Пустынно в доме, ни детей, ни друга.
Пустынно в мастерской; повсюду
Сметённый мусор, мраморная пыль
На всём; в углу, как из скалы – фигура
Из мрамора печально выступает...
Всё падает из рук; ничто
Не радует, ничто не удивляет...
Но вот – кольнуло, лёгкий холодок
Бежит по позвоночнику; знакомо
Мне это чувство – словно всё в тебе
Преобразилось, ожило, застыло.
Рельефы мира и его черты;
Высоты, пропасти; движенье крови
По венам, мысли светлые его
И думы мрачные – всё, всё тебе подвластно.
Бери резец и лишнее сбивай...
А сам ты далеко, как та планета –
То с Данте в лодке среди скал, то с Тассо
То с Фидием... То с герцогом живым...
Придёт – и, улыбнувшись, скажет:
«Опять ты зубы фавну сохранил?»

ОЛЬГА СОКОЛОВА

БУМАЖНАЯ УТКА рассказ

*«From now your life becomes empty and joyless because Joy leaves you»
«С этого момента ваша жизнь становится пустой и безрадостной, потому что Джой покидает вас» (Джой переводится как «радость»)*

От того дня у меня ничего не осталось, все имейлы и смс удалены, и только номер телефона не хватает духу удалить. И сама я понимаю теперь, что всё это было немного глупо и наивно. Но он был, был, этот день абсолютного счастья. Счастья хотеть чего-то и получить.

Это был приезд человека, который уже год занимал моё сознание своим невероятным умом и характером. Это не было страстью, это было что-то другое. Наши отношения были очень странными. Познакомившись, мы в течение года поддерживали дружескую переписку в духе людей, которые знают друг друга уж сто лет. Мы даже не говорили друг другу привет, а просто писали свои мысли сразу. И тут он объявляет, что забронировал обратный билет в свою страну через Бангкок, чтоб меня повидать. Я перестала спать по ночам, не имея возможности даже объяснить себе, почему так волнуюсь, ведь это не было романтическим увлечением. И вот он приехал, и сразу томный, расслабленный Бангкок вдруг оказался в россыпи солнечных зайчиков, которыми лучились глаза Ливанца. Казалось, он знает всё на свете. Русские классики – лучшее проведение досуга, которого у него в принципе немного, так как у бизнесмена и путешественника обычно мало остается времени на чтение. Но только не у Джоя.

Он приехал и вместе с ним приехала гармония: как по волшебству находились рестораны с самой вкусной едой, магазины с самыми интересными вещами, и только тайские таксисты как обычно думали невообразимо медленно, доводя этого человека-молнию до белого каления и грозного встряхивания белоснежными от рождения волосами.

Мы гуляли как подростки, и он смешил меня каждую минуту, то сравнивая с героиней романа, то рассказывая про своих невероятных родственников. Он и сам мне казался каким-то забытым двоюродным дядей, заскочившим в гости на денёк. Он рассматривал меня, как какую-то забавную статуэтку, чуть ли не с ложечки кормил и казалось, пытался показать сразу всё на свете.

Вечером мы сидели в его потрясающем номере, прихлёбывали белое вино. Мы дурачились вовсю, он прочитал мне лекцию о манерах истинной леди, усадил меня в изящную позу в кресло, а сам завалился прямо на ковёр и вещал оттуда, аргументируя, что те, кто были на войне, не признают манер. И мне очень-очень не хотелось уходить и заканчивать этот чудесный, такой простой и совершенный день. Но остаться я не могла, это бы всё испортило.

Я поняла, что больше мне не хватит духу общаться в таком непринуждённом, как раньше, тоне. Надеюсь, в водовороте его удивительной яркой жизни с завтраками в Париже и ужинами на Филиппинах он забудет о странной украинской девчонке, которую он когда-то повстречал, будучи проездом в Таиланде.

– Мила, собирай вещи, я купил билеты в Одессу.

Мила захлопнула свой дневник – как странно в век компьютерных технологий вести дневник от руки!
Как же давно мы в последний раз виделись с Джоем – Ливанцем.

Она сидела на кровати, уставившись на полную сумку.

– А сумка уже собрана! – радостно отчиталась она. В сумке лежали два вечерних платья, деловой костюм и босоножки на шпильке. Самое то для февральской Одессы.

Влад зашёл в спальню и присел рядом.



– Всё нужное взяла?

– Конечно! Только то, без чего не смогу обойтись!

Владу тоже нужно было собирать вещи, но он сидел рядом, обхватив руками голову. Вокруг глаз залегли фиолетовые тени, он почти не спал эту неделю.

Зазвонил его телефон в гостиной, он резко вскочил и пошёл отвечать.

– Да, привет, Лена. Да, купил билеты. С отцом Милы договорился, он встретит в аэропорту. С заведующим психоневрологического диспансера тоже. Он близкий её отца, он всё сделает по высшему разряду.

Её опять начало трясти от злости. *Зачем Лена звонит и звонит, я же ей уже объяснила, чтобы перестала вмешиваться в то прекрасное и удивительное, что происходит сейчас в моей жизни. Ливанец обязательно меня найдёт, и мы разгадаем загадку сфинкса. И тогда на Земле наступит новый порядок.*

Влад не глядя бросал вещи в чемодан. Ей показалось, что он плачет.

– Ну Влад, ну не обижайся, что я могу поделать. Я никак не могу быть больше с тобой. Ливанец – мой волшебный мужчина, он предназначен мне ещё двенадцать тысяч лет назад. Я же тебе рассказывала, мы перерождаемся из жизни в жизнь и не можем встретиться. И только в этой жизни мы, наконец, встретились, и теперь он тоже меня узнает.

– Хватит! – лицо Влада исказила гримаса боли. – Мила, я не могу это слушать, – Влад сел перед ней и взял за руки. – Котёнок, пожалуйста, потерпи совсем немножко, мы полетим в Одессу, там твой папа, мама тоже приедет, только ничего не делай и никуда не уходи, пока мы не сядем в самолёт.

– Ладно. Как хочешь. Молчу.

Дорога в аэропорт, казалось, займёт вечность. Тайское такси лениво скользило по хайвэю. Пользуясь тем, что Влад сидит на переднем сидении она украдкой достала телефон и написала Ливанцу: «готовься, мы скоро увидимся, жди меня в аэропорту Каира, как только решу дела в Одессе, сразу прилечу и мы поедем к сфинксу. Следи за своим давлением, ты можешь не выдержать того, что сейчас происходит. Осталось совсем мало времени». Дописав, она открыла окно и выбросила телефон. *Теперь он и так меня найдёт.*

В самолёте Милу одолел беспробудный сон, и проснулась она уже от того, что Влад легонько тряс её за плечи. Сонная, она вывалилась из самолёта и задохнулась от минусовой температуры. На ней была лёгкая кофточка и джинсы – в Таиланде тёплые вещи ни к чему. Взявшись за руки, они с Владом что есть духу побежали к автобусу.

Забрать багаж было делом десяти минут.

В зале прибытия Мила увидела своего папу с дублёнкой и мужским пуховиком в руках.

– Надевайте ребята, ещё и простудиться ко всему прочему не хватало. Сестра Милы передала и другие тёплые вещи.

До диспансера ехали в тягостном молчании. Наконец, она осторожно спросила:

– А зачем мы едем в психушку?

– Мила, это не психушка, это отделение пограничных состояний. Поговоришь с врачом, моим другом, и если никаких показаний нет, поедем домой, я квартиру в центре снял.

Она расслабилась. *Конечно, я же не сумасшедшая какая-нибудь, чего меня будут в больнице держать, доктор поговорит со мной и сразу поймёт, что я не больна, а избрана, скорее всего, он уже и сам в теме.*

Вид ПНД на Канатной создавал очень гнетущее впечатление. Стены были выкрашены в разные цвета и невозможно было сконцентрироваться, жёлтый королевский шёл рядом с розовым демоническим. Почему-то везде были сетки и решетки.

Медсестры выглядели чрезвычайно встревоженными и недружелюбными. Маленькое окошечко, ведущее из женского отделения на лестничную клетку, открылось и показалось недовольное лицо медсестры.

– Вы к Воеводскому? У вас назначено? Хорошо, проходите.

Они вошли внутрь и дверь в кабинет заведующего приветливо распахнулась. Он сидел в центре кабинета в удобном мягком кресле и лучезарно улыбался, создавая большой контраст с лицами медсестёр.

– Проходите, проходите, прошу вас.

Они сели напротив его стола, Мила в середине, папа и Влад по обе стороны.

– На что жалуетесь?

Воеводский улыбнулся ещё шире и ласково посмотрел на неё.

– Лично я ни на что не жалуюсь и не понимаю, что я здесь делаю.

– А помнишь, как ты всю одежду выкинула? – осторожно спросил Влад.

– Ну и что? Я решила купить новую.

– А как ты в простыне по лицам ходила?



– Миссия такая была, что я могу поделаться.

– А, собственно, какая предыстория? – весело спросил Воеводский.

– Мила принимала таблетки для похудения, потом всё и началось.

– Ах, таблеточки? Знаем, знаем, проходили. Вот что, Мила, побудь пока здесь, как в санатории, я тебе даже выделил место в легендарной палате номер шесть. Сдашь анализы, прокапаешься – надо же тебе детоксикацию сделать, попьёшь витамины, и домой через пару дней поедешь.

«Точно демон. Заточить меня хочет в своей преисподней» – подумала Мила.

– Я сделаю так, как мама скажет. Можно, я ей позвоню? Только у меня телефона нет.

Папа нашёл мамин номер и протянул ей телефон.

– Алло, мам? Скажи мне, ложиться мне в больницу или нет?

– Милочка, солнышко, это огромное везение, что Воеводский – папин друг, пожалуйста, если ты меня любишь, делай всё, что тебе говорит доктор.

Она нажала на сброс, в глазах стояли слёзы. *Моя мама меня предала.*

– Хорошо, показывайте вашу палату номер шесть.

В палате возле окна лежала молодая девушка с несчастным лицом. Наверно, тоже чувствовала, что старому миру скоро придёт конец.

– Мила, я принёс тебе ноутбук и вот возьми телефон для связи. Все душевые принадлежности и чайник я принесу попозже.

Папа отдал ей вещи и крепко обнял.

– Кстати, здесь вкусно кормят. И мама приедет послезавтра. Отдыхай.

Папа сделал знак Владу и они удалились.

Мила осмотрела ноутбук. В гнездо была вставлена флешка-модем МТС. *«Красная – от демонов»* – подумала она, вынула её и пошла в коридор, где стояла мусорная корзина. Выкинув флешку, открыла ноутбук и увидела доступную сеть без пароля. *Само собой, специально для меня старались.* Одним махом она удалила все страницы в социальных сетях и свой почтовый ящик. *В новом мире они мне не понадобятся.*

Дверь скрипнула и зашла молодая блондинка с уставшим лицом.

– Как тебя зовут?

– Мила.

– А меня Света. Ты с чем здесь?

– Сама не знаю, родственнички запихнули непонятно зачем. А ты?

– Раздвоение личности. Она виновато улыбнулась. – А дома муж некормленный, ребенок...

Мысленно посочувствовав Свете, Мила прилегла на кровать советского образца и стала наблюдать за духами на стене. Конечно, Воеводский бы сказал, что это просто отблески уличных фонарей, но она-то знала, что к чему. Мила и не заметила, как провалилась в сон.

Проснувшись, она долго не могла понять, где она и что делать дальше. Взгляд её упал на ноутбук. Самолёт, папа, доктор, палата номер шесть... *Надо написать Лене... Стоп, я же все страницы удалила. Фильм, что ли, тогда посмотреть... А проверю-ка я свой старый ящик, его-то я ещё не удалила.*

В эту минуту распахнулась дверь палаты и вошла медсестра.

– На уколы, на уколы! Королёва Мила, а тебе потом ещё и капельница.

Попа от уколов болела знатно. *За что мне это?* Устроившись поудобнее, она вновь открыла ноутбук и запустила сервис фримейл. Спам, спам, старые письма по работе... ничего интересного.

Она осторожно взглянула на брелок возле окна. Та выглядела лучше, чем вчера.

– Я – Мила. У тебя есть сигареты? Пошли курить.

Курить можно было на лестничной клетке под присмотром медсестер.

Они задумчиво затягивались и выпускали дым. *Интересно, почему эта девушка здесь?* Но спрашивать Мила стеснялась.

– Завтрак! – раздался очередной зычный крик.

Все женщины выстроились в очередь. Красный халат, жёлтый, фиолетовый. Знаки плясали свой потусторонний танец.

Еда неплохая здесь... Она опять села за ноутбук и без особых надежд нажала кнопку «Обновить». Новое письмо! Отправитель... Джой! Ливанец!!! Трясущимися руками открывает...

– Мила, я получил твоё странное смс. Что у тебя случилось? Всё в порядке? Я пытался звонить, но твой номер отключен.

В порыве чувств она занесла руки над клавиатурой... *Стоп, а что я ему напишу? Что я в дурдоме? Он на-*



верняка это как-то превратно истолкует. Тщательно всё взвесив, она написала: я немного приболела, сейчас в Украине, в больнице. Но скоро весна и всё будет хорошо.

Ну вот, так он не будет волноваться. Ей вдруг стало очень грустно. *А вдруг он не найдёт меня и мы опять потеряемся в Колесе Сансары. Ведь найти друг друга мы можем только в этой жизни. Первый и последний шанс во Вселенной.*

Она вышла в столовую. За одним из столов сидела кудрявая девушка, перед ней лежали листы бумаги, розовые, жёлтые, фиолетовые. Слишком, слишком много цвета...

Мила подошла к ней и склонилась над её работой.

– Что это ты делаешь?

– Лебедя. Хочешь, будем вместе делать? Я – Настя.

Это выглядело как разновидность оригами. Основание лебедя было уже готово. Девушка медленно показала Миле, как складывать узкие полоски резаной разноцветной бумаги.

– Подожди, а другие цвета есть? Голубой, зелёный, серый, чёрный, белый?

– Нет, только эти. А что?

– Розовый цвет демонов, жёлтый – королевский и простым смертным не положен. Фиолетовый – цвет неуверенности.

– Эх, а что же делать?

– Ты тогда сама его мастери, а я – пас.

Попа от трёхразовых уколов болела всё больше. Снова и снова Мила проверяла почту, но ответа от Ливанца не было.

Она пыталась собирать гигантский пазл в столовой, но её мысли были далеко. Звонил папа, сказал, что сам прийти не может, а нужные вещи прислал с курьером. И правда, в пакете на посту медсестёр был чайник, чай, зубная щетка и паста, гель для душа и прочие мелочи.

На следующий день после обеда и капельницы она изо всех сил пыталась телепортироваться в Каир, как открылась дверь и вошла мама. Она была совсем не такая, как Мила её запомнила.

– Какая же ты красивая, стала, мам!

– Правда?

– Да ты вся светишься! Ты что, тоже готовишься совершить переход?

Мамино лицо внезапно помрачнело и она опустила глаза, ссутулилась.

– Мам, ну что ты расстроилась? Всё же хорошо.

– Да, девочка моя, всё будет хорошо, я сейчас пойду с доктором поговорю.

Мамы вышла и Мила украдкой последовала за ней. Как ни странно, на посту медсестёр никого не было. Она дождалась, пока мама зайдёт к Воеводскому, и приложила ухо к двери.

– Вы мама Милы? Ситуация пока стабильная, мы даём ей антидепрессанты. Если психоз не пройдёт, назначим нейролептики, их надо будет какое-то время попринимать. Ну, ну, не плачьте, её случай не такой уж и тяжёлый. Вероятность ремиссии очень велика.

«Вероятность ремиссии, вероятность ремиссии...». Прямо совопились все объявить меня сумасшедшей. Она быстро добежала до палаты и улеглась на свою кровать. Через пять минут зашла мама.

– Милочка, я пока побуду в Одессе, когда тебя выпишут – поедem домой.

Этого ещё не хватало! Я вообще-то в Каир собираюсь... Но вслух она этого говорить не стала, мама и так расстроена. Мама чмокнула её в лохматую макушку и ушла. А старый почтовый ящик был всё так же пуст.

На следующий день Света забежала в палату сияя.

– Девочки, сегодня же 23 февраля! Настя пригласила своего друга-музыканта и он даст концерт! Праздник скорее для Воеводского, это же он в Афгане служил, но все девочки тоже приглашены.

Вот ещё, надо оно мне, придёт какой-то бородатый гармонист и будет про Катюшу петь.

В знак протеста она залезла под одеяло с головой. Ни волшебного мужчины, ни нормальной музыки.

Так она пролежала довольно долго. Девушки из её палаты ушли в столовую ждать концерта. Потихоньку из-за закрытой двери стал раздаваться гул женских голосов. А Мила начала дремать. Сквозь пушистые объятия сонного оцепенения она вдруг услышала, как наступила тишина. А потом прозвучал Голос. Низкий, хриплый, Его Голос! Ливанца!

– Дорогие дамы и товарищ Воеводский! В этот праздничный день позвольте мне исполнить мою любимую песню. Надеюсь, она вам понравится.

О Господи, Джой, пожалуйста, пусть это будет Утиная охота Александра Розенбаума. Пожалуйста!

Аккорд. Ещё аккорд.



– «В плавнях шорох и легааавая застыла чутко... Ай да выстрел... Только повезло опять не мне... Вечереет, и над озером гоняяют утки... Разжирели – утка осенью в большой цене».

Песня лилась, как небесная музыка, и слёзы градом капились по её лицу. Она вскочила, распахнула дверь и увидела его – красивого мужчину лет сорока пяти. Конечно, это был не Ливанец, но она знала – это Он прислал ей это зашифрованное послание в обёртке из Утиной охоты. И тут она поняла, что теперь всё и впрямь будет только хорошо.

Оставшиеся дни в больнице прошли совсем неприметно, то мама, то папа приходили поддержать Милу. Влад улетел обратно. Наверно, он окончательно смирился с завершением их отношений.

И вот день выписки. *Мама, такая смешная с чайником в охапке. Папа, такой серьёзный с рецептом от Воеводского в руках.*

Мила уже открыла дверь отделения на лестничную клетку, как вдруг кто-то тронул её за плечо. За ней стояла Настя, в руках у неё был бумажный лебедь. Белоснежный.

– Держи, это я специально для тебя сделала. Лебедь был тёплым и шуршал в руках. Мила в последний раз обвела взглядом отделение. Девушки из её палаты стояли, держась за руки.

– Пока, Милка, и больше не попадай сюда.

– Пока, девочки, выздоравливайте!

Она ехала с мамой и папой в такси и молчала. Вывески и фонари больше не рассказывали ей своих сказок. Привидения не плясали на стенах домов. И фиолетовый казался не таким уж и плохим цветом. Но не было теперь и портала. И... волшебного мужчины. *Моего. Ливанского. Мужчины.* Нет, он-то конечно существовал, но он жил своей жизнью и та безумная смс-ка только заставила его покрутить пальцем у виска. Мало ли, сколько блаженных по Земле ходит. Слезы хлынули из её глаз.

– Пап, почему жизнь такая паршивая штука?

– Девочка моя, жизнь такая, какой ты её делаешь. Старайся, борись и всё придёт, не сомневайся.

Зайдя в арендованную папой квартиру, Мила первым делом зашвырнула белого лебедя на подоконник, подальше с глаз долой это напоминание о «санатории». Папа вручил ей новый модем-флешку и убежал на работу. Мама пошла на кухню и стала тихонько звенеть посудой, готова такую долгожданную домашнюю еду.

В прострации Мила вставила модем, открыла ноутбук и тяжело вздохнула – теперь придётся восстанавливать все социальные сети и основной почтовый ящик.

В браузере была открыта вкладка почты старого ящика, после запуска системы она автоматически обновилась и... на панели мигало уведомление о письме. Отправитель – Джой.

Открывать? Не открывать?

Была не была, открою.

«Дорогая Мила, извини, что сразу не ответил, исламисты устроили в Бейруте путч и я был адски занят. Я, честно говоря, не совсем понял, что у тебя произошло. Ты можешь дать мне свой украинский номер? Напиши мне, пожалуйста, что у тебя всё-таки случилось, какая нужна помощь. А когда всё уляжется, приезжай ко мне в Бейрут, я забронирую билеты и отель. Скучаю, Джой».

Скучаю, Джой... Скучаю, Джой!!!

Мама прибежала из кухни на её визги.

Откинув шторм, Мила схватила лебедя и расправила его смятые крылья.

– Мам, ведь это же у лебедя просто шея длинная, а если под другим углом посмотреть, это утка, правда?

– Правда, Мила, правда, иди кушать.

Смех прыгал по обшарпанным стенам съёмной квартиры, отскакивал от стен и потолка и, наверно, все соседи теперь знали, что у этих людей всё будет только хорошо.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

ОНИ рассказ

1. Миф о возвращении

Контраст света и тени. Бескомпромиссное лето. Лабиринты улочек, по которым я осмеливаюсь ходить с закрытыми глазами. Запахи? Кисловатый у мусора в подъездах, камень, пропахший луком. Ассоциируется с детством. Здесь мало что изменилось. А недостатки вызывают восторги. Приятно прикоснуться к прошлому, посетив родной город, из которого давным-давно уехал. Теперь всё здесь близко и понятно, а с бывшими неприятности сроднился, страшные призраки из детства вызывают умиление. Но настоящее никогда не даст вернуться. Я проделал большой путь, но, по сути, остался на месте. И о чём говорить с людьми, которых не видел большую часть жизни? Только о неважном, о глупостях.

– А, кстати, Олег, э... давным-давно ты рассказывал о встрече с летающей тарелкой. Ты тогда трудился в техфлоте. Помнишь? – вот что я надумал спросить у лучшего школьного товарища, исчерпав стандартный набор любезностей.

К чему я завёл этот разговор? Погода казалось слишком уж очевидной, чтобы о ней упоминать. Линия давнего диалога с годами потерялась. Между тем, я отлично помнил старую байку Олега. Он ходил в северных морях, мирно трудился. И вот однажды... Якобы, судно сперва нормально двигалось вперёд и ничто не предвещало неожиданностей, но потом внезапно остановилось по неясным техническим причинам. Откуда-то сверху, с высоты небес спустился объект, напоминающий летающую тарелку. Застыв напротив судна, он осветил прожектором палубу. Повисев так немного, он взмыл ввысь и потерялся из виду. Когда НЛО улетел, корабль снова продолжил путь, все системы заработали, оказавшись в полном порядке, словно ничего особенного и не произошло. А я, услышав эту историю, отчетливо представлял себе весь тупой, первобытный ужас, полностью лишённый всякой нервной суеты, у пьяных и потерянных моряков.

– А, – отмахнулся Олег. – Чепуха. Ничего примечательного, если быть честным. Наше судно стояло на Азовском море. Команда сошла на берег. Как-то, отдыхая на пляже, мы наблюдали за небом и вдруг заметили, – одна звезда довольно быстро движется по странной, запутанной траектории... Такие дела. Это всё.

Я же вспомнил нашу нескладную юность, наполненную перманентным самоутверждением и бахвальством. Как же жизнь меняет бестолковые нарративы! Но, возможно, историй было две?

– Ты увлёкся уфологией? Помнишь дядю Юру? – продолжал свою речь Олег.

Я помнил дядю Юру, замечательного гитарного мастера и удивительно целостного, собранного, рационального человека, здравый смысл которого заканчивался именно в том самом месте, где начиналась уфология. Этот мой хороший знакомый, по его собственному утверждению, давно и интенсивно общался с инопланетянами. Меня это немного удивляло. В СССР всё было централизовано. И для инопланетян было бы правильнее обратиться в обласвет или сразу в ЦК компартии УССР, а то и всего СССР. Но пришельцы всё же отдали предпочтение простому гитарному мастеру, имеющему множество недостатков, главный из которых – полное игнорирование принятой в стране субординации. Даже членом КПСС дядя Юра никогда не был. Мне, впрочем, импонировали предпочтения инопланетян. Я любил хорошие гитары. Впрочем, рассказы дяди Юры о внеземном разуме всегда были связаны с другим, вполне земным сюжетом. Изготовление и продажа инструментов приносили впечатляющие доходы, но, при этом, данный факт никак не отменял светлой заветной мечты мастера, – выигрыш в спортлото. Не уверен даже, что тут важны были именно лёгкие деньги. Каждый раз, обращаясь за помощью к пришельцам, дядя



Юра грезил о небесном, о чём-то выходящем за рамки обыденного и опостылевшего опыта. Добрые инопланетяне охотно сообщали скромному гитарному мастеру необходимые цифры. Но, увы, номера раз за разом оказывались проигрышными. А дядя Юра нисколько не держал обиды на своих благих небесных покровителей: «Я сам виноват, я вёл себя недостойно и обидел инопланетян, понимаешь, они всегда поступают справедливо! Они чисты и непорочны. Наша греховная природа их оскорбляет. Они хотят помочь, но им важнее наше исправление». Так он и не выиграл в спортлото... Дядя Юра умер от рака довольно молодым. Но все помнили его прекрасные гитары, иногда очень точно скопированные с каких-то западных образцов, а иногда и смело придуманные.

– О, да, Олег, конечно, помню. Но больше как гитарного мастера, чем как уфолога. И музицировал он замечательно. Мог бы стать отличным исполнителем. Впрочем, разве это профессия?

– Кстати, у меня для тебя новости уфологии. Местные, родные и близкие. Ты удивлён? Конечно, проще представить себе такое в глубинке, где люди пьют... Пермская аномалия – вот абсолютно нормальное явление. Это где-то на стыке хорошего университета и горького алкоголизма. Но мы тоже не лыком шиты.

– Олег, поверь. Я не сомневаюсь в способности жизни преподносить любые внезапные сюрпризы. Даже от человеческого фактора не всё зависит. Ибо сказано: «Весь мир театр, а люди в нем вахтёр».

– Раньше были актёрами.

– Ну кто-то таким и остался...

– Поясняют сегодня даже больше прежнего.

– Возможно, но всё же, вернёмся к нашим пришельцам, что у вас натворили инопланетяне?

– Ты Светку Куракину помнишь?

Как же! Я помнил поразительно тощую, высокую и самоуверенную девочку, занимавшуюся балетом и танцевавшую на всех школьных мероприятиях. Ещё она размахивала в школе дорогим хламом. Кажется, её отец работал во флоте и не шил. Это поразительнее любого НЛО. Но встречались и такие редкие экземпляры. Света же по уши влюбилась когда-то в моего нынешнего собеседника, в Олега, а тот Куракину никак не замечал. Словно не видел её вовсе. Про эти чувства сразу всплыло в сознании, в старших классах Олег приударил за её очень дальней родственницей. По дружбе он мне как-то нахваливал предмет своего обожания. Оказавшаяся рядом Света нервно бросила: «Она шлюха, за трешку отдастся!». Олег обрадовался и принялся убеждать Свету помочь ему договориться с предметом обожания, ведь ради любви и трёх рублей не жалко!

– Да, Олег, конечно, помню.

– Она побывала замужем, а потом вернулась к нормальной жизни. С семьёй не сложилось. Внешне её муж выглядел солидно, ловкий мальиш. Но Света о нём шутит: «Такой в воде не тонет... опытный трубопроходец». Я мало знаю о превратностях её жизни и не хочу быть испорченным телефоном. А тебе могут быть интересны её рассказы. Она верит, что её похищали инопланетяне...

– Я могу понять пришельцев, молодая дама, недавно развелась с мужем. Кроме того, тощая. Такую легко тащить в летающую тарелку. Ну и перегрузки при взлёте не будет.

– Вот ты и загорелся желанием возобновить давнее знакомство.

Олег был прав. Но я ему об этом не стал говорить, уведя разговор в сторону.

2. В гостях у Светы

Я не столько заинтересовался абсурдной историей, сколько заторопился в прошлое. Раз уж я начал делать визиты, то следует их довести до логической завершенности, полноты. В прошлом часто ищут силы и знания для понимания, угадывания или способности принятия будущего. А иногда стоит погрузиться в былое, чтобы от него окончательно отказаться. Чего же ищу я? Не знаю. Так часто устанавливаются связи между людьми, наверное. Ждешь, что кто-то изменит твою непутёвую жизнь, едва прикоснувшись к ней... пусть даже пустым разговором. Но это, конечно, чепуха. «Мы одни в этом доме», как пел Гребенщиков.

Телефонный номер набран. Голос в трубке вполне узнаваем, но облёкся в скрываемую бархатными интонациями грусть. У меня глубины воспоминаний, а говорить нечего. Света может вести беседу, но выжидает. А выход из неловкого положения прост – мы легко условились о встрече у неё дома. Как же чрезмерно я оглядываюсь назад! Но ради хорошей истории можно.

Признаться, когда я звонил в дверь, я не был уверен, узнаю ли я Свету. Но глаза остались практически прежними со времени нашей последней встречи... лишь наполнившись нетипичной для неё печалью.



Остальное не имело значения. Я ощущал любопытство и неловкость, – мы никогда не были близки, мы всегда существовали в разных измерениях, хотя и часто виделись, и вели беседы.

А тут вдруг оказалось, Света боится яркого света. Все окна зашторены. В доме царит полумрак. Про освещение она сразу пояснила: «Внешний свет мешает видеть свет внутренний». Это так не похоже на повадки моей старинной знакомой, дуры-одноклассницы. Перемены очевидны. Я мог бы из деликатной вежливости смыть с лица неприличное удивление. Но слишком уж неожиданна фобия светлой, солнечной Светы.

И ещё одна странность, угощая меня, она сказала: «Вся еда не солёная, я не ем соль, прости». В её быте не было никакого кокетства. Света выглядела нервной, уставшей, издёрганной, презирающей себя и других. Но говорила со мной очень мягко. Удивительно, непривычно мягко.

В этой бледности и измученности угадывалась знакомая эстетика, романтизм, Э. По, декаданс, что-то такое.

– Ты стала похожа на Милен Фармер.

– Я? Ну что ты? – Света слегка покраснела от смущения. – Милен Фармер – не только певица, но и актриса. Невозможно походить на актрису. Это актриса на всех похожа, потому что всё время меняет маски, примеряет на себе чужие образы. Среди её образов может быть и мой. Но я – это я. Я не ношу масок.

– Ты права, конечно. Это я увидел в тебе лучшее, что может нравиться в популярном образе Милен Фармер. Хороший повод для комплимента.

Мой визит её, похоже, немного оживил. Полагаю, она нуждалась в любой поддержке, в любом собеседнике. Но я сразу почувствовал, она боится сочувствия. Света рассчитывает на гибкость и мягкость. Смогу ли я задавать именно те вопросы, на которые она надеется?

После второй чашки чая я решил:

– Света, представляешь, я виделся с Олегом Дроминским.

– Ты меня хочешь удивить встречей с самым твоим загадочным школьным товарищем?

– Странность не в этом. Олег говорил что-то про инопланетян в твоей жизни. Это звучало несколько сбивчиво, путано. Разъяснять свои слова Олег не стремился. А я и не спрашивал. Не нравится мне испорченный телефон.

– О, это напумевшая история. Ты мог о ней прочитать в местной прессе. Но такие люди, как ты, предпочитают сплетни. Впрочем, кто же верит сегодня прессе? Слухи, и в самом деле, всегда правдивее. Ты совсем не читаешь газет?

– С распространением туалетной бумаги печать утрачивает былое значение... А если без шуток... Да, в самом деле. Свидетельства очевидцев. Даже ложь здесь – внутренние убеждения, а значит, субъективная правда. Задача же газетчика – удивить, поразить. И здесь тщетно искать зёрна истины. Собственно, я теперь и не живу здесь. У меня нет доступа и интереса к местной печати. Да, я и убежал от местных новостей, от липких, душных печатных сплетней маленького города, где и без газет всё известно.

– Ах, каким снобом ты стал!

– Дело вовсе не в снобизме. А в жуткой зависимости от окружения. Летишь, бывало, по улицам, «печальный демон, дух изгнания», а тебе: «Как дела дома? Твоя мама вылечилась от насморка? Вы уже водили собачку к ветеринару?». Ощущение, что ты в трясины, а все роли заранее распределены. И недопустимо быть Фаустом, когда у тебя выясняет товарищ по детскому садiku третьей жены твоего одноклассника что-то о благополучии подаренного на именины кота.

– Ладно. Пусть. Так ты хочешь узнать историю от меня?

– Да, из первых рук... уст. Мне интересен нарратив.

– Я могу и приврать. Хотя нет здесь простора для вымысла. На первый взгляд всё крайне просто и банально. Я буду рада с тобой поделиться. Ты всегда посочувствуешь, даже если речь идет об очевидной ерунде. Разумеется, если не нужна реальная помощь. Хотя здесь вовсе не ерунда. Всё серьёзно, вопреки блеклости нарратива. Но отнесись к моему рассказу с должным вниманием. Хотя он и может выглядеть, как пустяк, на самом деле, всё очень серьёзно.

3. Рассказ Светы

Мне всегда нравились инопланетяне. Их запредельность и загадочность, равно как и обрывочность сведений лишь подстёгивали интерес. На исходе существования СССР все стали интересоваться чем-то за пределами колбасы, с которой всё равно были перебои. Многие... вот некоторые, например, увлеклись



всякой мистикой, кто-то религией. Не задумывалась об этом специально, но как-то вдруг замелькали всюду кресты и экстрасенсы. Ты чем-то таким не увлекался сам? «Духовность» хороша для людей, склонных к мазохизму, я думаю. Большинство людей не способно обходиться без строгих родителей-наставников, всяких богов-богинь или духов-демонов. Люди добровольно принимают или даже приманивают их реальную или воображаемую опеку, напрашиваясь на неизбежные наказания за характерные, обычные для каждого человека поступки. Это как... Я стояла в очереди к кассе, а за мной мама с ребёнком. Женщина держала в руке только туалетную бумагу. Малыш крутился-вертелся, баловался, шумел. Никакие увещевания не помогали. Ребёнок отказывался спокойно ждать окончания пытки ожиданием. В конце концов, его мама отбросила сложные и манипуляторные увещевания, заявив прямо: «Нам необходимо купить туалетную бумагу... ты ведь тоже какаешь». На это ребёнок с серьёзным выражением лица, отчеканив каждую букву, ответил: «Мама, я больше никогда не буду какать».

Мне в принципе противна любая иррациональная вера, всё далёкое от науки. Инопланетяне не кажутся таким очевидным идиотизмом, как боги-духи. Освоение космоса, множество миров – это логически оправдано, обосновано. И хотя в настоящее время подтверждённых фактов известно не так уж и много, изучение Вселенной – это правильная научная перспектива в истории человечества.

А ещё инопланетяне умные и простые, как мне всегда казалось. Если они способны создавать столько мощные космические корабли, что на них можно достигнуть нашей планеты, то уровень развития их мозга должен многократно превосходить наши интеллектуальные способности. Вне всякого сомнения, с рационализацией всех сфер своего существования, пришельцы должны утратить что-то чувственно ценное. И вот они прилетят и поймут. А то им и захочется «чего-нибудь такого, земного». Так я, в целом, себе это представляла. Хотя это уже всё на грани шутки. Но я с радостью приписала бы им такое повехностное увлечение, последнее в иерархии простых космических радостей.

Вот такой круг интересов у меня образовался. Я собирала какие-то статьи, общалась с обрётёнными в то время единомышленниками. Непосредственно о внеземных контактах не грезила. Нет, в глубине души, пожалуй, надеялась... Мне они представлялись далёкой, хотя и важной целью.

У каждого есть некая тяга к чужим. Проще влюбиться в кого-то из соседнего класса, чем из своего. Своих знаешь, как облупленных и потому не ждёшь от них ничего хорошего. А инопланетяне во многих фильмах мне лично казались симпатичными.

Мой бывший? Да. Разумеется. Так мы и познакомились. Он тоже увлекался уфологией. Потом меня, впрочем, это в нём раздражало. Мужик не должен играть. А, кстати, ты знаешь, как мы познакомились? Ладно, буду упускать романтические моменты, раз они тебе неинтересны. Хотя напрасно ты боишься чувств. Возможно, они и лежат в сути всей этой истории.

Моё увлечение вовсе не было obsesией. Я собирала какие-то материалы. И муж что-то находил. Я думаю, наш брак – нелепость. Тогда и отчасти даже сегодня на женщину вне брака у нас косятся. Она считается несчастной или неправильной. Возможно, и не считается, но она засчитывается объектом для агрессивного сочувствия, прикрывающего демонстрацию превосходства. Вот и надо было вступать. Нас ничего не связывало. Ну, разве, он принёс какую-то интересную газетную вырезку... и у него была гитара. Больше ничего общего.

Уфология же... В те годы, ты сам знаешь, всё было невнятно, нечётко, приправлено верой в человека, в сомнительного советского человека, на самом деле. Старое рушилось, а новое никто нащупать не умел. Все тогда блуждали как слепые котята. Все терялись во мраке. Хотя мы, конечно, и жадно всматривались в мир. Но никто не понимал, как и куда глядеть, что фиксировать. Даже слов, языка для описания наблюдений у нас не было. В Советском Союзе можно было «познавать мир», отказавшись от его свободного изучения. Для всего существовали готовые формулы, общепринятые схемы. Выйти за их рамки, как оказалось, – задача очень непростая.

Люди среди уфологов встречались разные. Нет никакой закономерности, единого алгоритма того, как и у кого зарождается интерес к пришельцам. Какую только публику к нам не заносило! Порой крайне сомнительную. Ты слышал про Гурама Уджупевича Цушбая? Отъявленный сталинист, классический антисемит, он был первым секретарём Украинского рескома КПСС. Такой истинный, матёрый советский руководитель! Возможно, такие просто изначально жили в альтернативной реальности. Изначально. Им сложно принять действительность, которую их же официальная идеология и отрицала. Получается, реальность запрещена, а разрешённое скучно. От такого можно только сбегать в космос. Впрочем, увлекались уфологией и серьёзные учёные. Ты не был знаком с Игорем Николаевичем Ковшунум? Ещё, я помню, была дама средних лет и сборища под прикрытие Союза театра. Но это смутно. Ездил с единомышлен-



никами в разные короткие походы в пределах Одесской области. Мы опрашивали людей. Приглашали экстрасенсов. Ведь никакого понимания сути феномена у нас не было и быть не могло. Все средства тогда казались допустимыми и пригодными. Я сейчас полагаю, само признание того, что есть жизнь вне Маркса, уже являлась для многих достаточно смелой и важной задачей. Наши ряды оказались пёстрыми, мы пришли из разных слоёв, обладали разным уровнем образования, как я уже сказала. Но это не служило почвой для противоречий, конфликтов. Мы все родились советскими людьми, выросли на практически одинаковых книгах, музыке, у нас были похожие жизненные установки. А вокруг царил непроглядная серость, стандартность, принципиальная одинаковость. Поэтому сионист и антисемит, коммунист и диссидент могли легко договориться, что не отменяло их решительной готовности действовать друг против друга. И всем, наверное, было важно выбраться из серого пятна официоза. А в уфологии все равны, все принимаются, и академик с неучем вполне могли быть солидарны. Оба одинаково не понимали, с какой стороны подходить к необычным фактам. Впрочем, образование, конечно, делало ум гибче. Учёному проще. Я уже говорила, мы приглашали экстрасенсов. Тебе это интересно? Любопытный момент? Многие из них представляли из себя таких же замученных советским пустословием людей. Вопрос о дьявольском наваждении, как у Гарольда Ли Линдси, не мог стоять в формально атеистическом, но верящем во всяких «барабашек» обществе. У многих или даже у большинства вера в мудрость пришельцев вполне гармонично сочеталась с верой в чёрную магию. И религия здесь часто оказывалась лишней. Ведь рациональный, здравомыслящий человек не допустит существования Бога?

Теперь к сути. Я никогда не рассчитывала на контакт с пришельцами. Впрочем, наверное, в глубине души на него надеялась. Я не верю, что происшествие является результатом самовнушения. Ещё ты можешь подумать, что событие событием не является. Но потом ты поймёшь... И так, я легла спать. Я видела очень яркий сон. Словно всё наяву. Вот я лежу в кровати и смотрю в сторону окна. В какой-то момент занавески начали неестественно изгибаться. При беглом взгляде могло показаться, что их колышет ветер. Но при долгом и пристальном созерцании становилась очевидной противоположность движений. Потом сквозь ткань начинает пробиваться луч. Источник света находился на улице. Пару секунд. Щелчок – окна распахнулись. Предо мной странные существа. Большие головы, маленькие туловища, сами как-то темноватые. Не помню их количества. Три, четыре, пять? Небольшое количество. Я встала, оделась. Никакого страха. Попыталась объяснить с ними жестами, почему-то немногочисленными знакомыми мне английскими словами, словно воссоздавая сцены из американских фильмов. А они... или один из них вполне ясно сказал по-русски: «Мы пришли с миром. Человечество загнало себя в тупик. Безудержное потребление и эгоцентризм приведут вас к гибели. Помогите нам спасти Землю». Я согласилась. Почему нет? Мне не жалко. Чем могу, так сказать. Они пригласили меня посетить их корабль. Очень вежливо. Во всех их словах ощущалась чрезвычайная деликатность. А я, разумеется, не могла отказаться. Не помню, как мы оказались в их корабле. Забавно было смотреть в иллюминаторы. Такое всё вокруг абсолютно тёмное и ослепительно яркое солнце! Земля вдалеке. Мы говорили о войнах, экологии, человеческой алчности и лени. Инопланетяне удивлялись, что мы до сих пор не создали единого правительства Земли и не пришли к одной единственно правильной философии. А мне было обидно за народы, отстаивающие свою независимость, за жестоковейных людей, не готовых уверовать в истину... Вдруг всё покачнулось. Секунда плохой резкости. И вот я стою возле холодильника с полным ртом еды. Бодрую. Совершенно неясно, как я там оказалась. Была в кровати, спала. А теперь проснулась, – стою возле холодильника. Я бы не придавала значения этой истории, если бы не проявившееся вдруг умение предсказывать разные бедствия. А ещё меня сопровождает несколько апатичное состояние. Постоянно. Хотя я должна радоваться контактам с мудрой внеземной цивилизацией? Изменились и вкусовые предпочтения. Иногда инопланетяне сообщают мне разную, очень полезную информацию...

– Ты превращаешься в человека-паука, – попытался я сосчитать. Но шутка вышла нелепой и Света лишь с недоумением посмотрела на меня. После короткой и неловкой паузы она мягко и приветливо улыбнулась:

– Сегодня ты сломаешь палец. Извини. Я не виновата. Так мне говорят. Зубоскальство наказуемо.

В душе я посмеялся над пустой зловерной угрозой. А разговор ушёл в другую сторону. Тем было много. И общение мне было чрезвычайно приятно.

4. Пророческий дар

Распрошавшись, я вышел на улицу. Вожаденный покой. Хотел прогуляться, подышать тёмной прохладой ночных переулков. Вдруг увидел подходящий к остановке трамвай, – не упускать же неожиданную



возможность. Это жизнь. Так должно. Кто мы без спешки и беготни? Итог предсказуем. Я остушился, упал. Момент невообразимого ужаса... Но всё обошлось. Дорогой костюм был цел, лишь слегка запачкан.

Время шло. Часы отбивали ритм. Я занимался своими делами. Пальцы слушались не очень хорошо, рука приобретала симпатичный синий цвет. Или синий цвет приобретал руку. Так ли это важно? На следующий день я отправился делать снимок, – трещина, которая в некоторых странах является «переломом без смещения». Даже в таких простых вещах люди не могут прийти к согласию. Ах, Света, как же ты могла знать? Или накаркала?

Вдруг я сообразил. Света много философствовала. Не типично. Раньше она больше щебетала, наполняя воздух пустотой. Или молчала. А тут много слов о пустячном событии. Размышления, умозаключения в таком количестве, независимо от качества, достойны внимания. Удивительно. Неожиданно. И зачем ей это? Впрочем, активная жизнь, действия сегодня вообще теряются в тёмном прошлом. Остались слова, бессодержательные дискуссии и замечания. Раньше тёк поток случайных событий, а ныне поток случайных слов. Но слова Светы неслучайны. Это целая философия, это объяснения и там, где лучше бы промолчать. Впрочем, возможно, это брак сделал Свету разговорчивее. Уверен, во время бракоразводного процесса она вела долгие и изнурительные философские дебаты.

Я условился встретиться с Дроминским, – кто же ещё прояснит мне ситуацию? Кафе в центре. Свет солнца, тени деревьев. Разношерстные горожане. Всюду контраст. Но бессмысленные метания прохожих, носящиеся рядом, равнодушные люди создавали ощущение полной изолированности от внешнего мира.

– Как тебе наша Сивилла? – таким вопросом Олег сопроводил улыбку, предваряя начало разговора.

– Я не спрашиваю тебя о неожиданности такого почина беседы... Мы прежде говорили об уфологии. Помнишь? Сбивчиво получается. Не знаю, с какой стороны подступиться.

– Со Светой я много лет практически не общаюсь. Сталкиваюсь с ней иногда, конечно. Мы обмениваемся двумя-тремя словами. Всё. Но о её подвигах наслышан. Она звезда местного значения. Невозможно игнорировать слухи о ней в маленьком, довольно провинциальном и заносчивом городе.

– Так о чём народ не безмолвствует?

– Света предсказывает одно событие за другим. Ей всё, якобы, сообщают какие-то головастые мужики из космоса.

– Кому предсказывает?

– Частным лицам. Сделала несколько важных пророчеств в городском масштабе.... Ах, о судьбах мира она тоже что-то вещала. В наших жёлтых-прежёлтых газетах это часто печатается, да и по радио я, кажется, слышал...

– А бизнесменов за деньги она консультирует? Это может, я полагаю, приносить реальные доходы.

– Не знаю. Какое-то время она арендовала помещение во Дворце моряков... Не уверен. Мне кто-то об этом рассказывал. Не знаю точно, брала ли она мзду. Ходят упорные слухи, она соглашалась принимать только редкие добровольные подарки. Не похоже это на коммерчески выгодное предприятие... Да, сейчас понял, если бы она хорошо зарабатывала пророчествами, она бы имела постоянный кабинет, о расположении которого я бы непременно где-то услышал.

– А почему же Света отказывалась от платы?

– Боится обидеть инопланетян, говорят...

А я внезапно подумал: «Какие же эти пришельцы гадкие, не дают хорошему человеку заработать на хлеб». Демоническое происхождение инопланетян показалось мне вполне логичным. Подлые гости из Пренсподней. А между тем Олег продолжал:

– Она ведёт себя несколько странно. Словно боится людей, общения, но и много встречается с людьми. Она тебя нормально приняла?

– Отлично. Весёлой я её не нашёл. Но она вполне общительна, привлекательна и интересна.

К столику приблизился человек с рюкзаком. Одет неопрятно, моется не особо часто. Но не бомж. Наследие прошлого. Редкое упорство в привычках двадцати-десятилетней давности. Лоб не светится, глаза не блестят и никакой глубины в них тоже нет. Однако без печати идиотизма, имеются ясные признаки ума, особой злобы тоже не просматривается, запаха алкоголя нет. Народный интеллеktуал, мыслитель среди тёмных людей.

– Чуваки, вам книги не нужны? Недорого отдам.

Пожалуй. Приобретение книг сродни поиску смысла жизни, – это занимательно. Вне больших запахов уличного торговца не было системы. Обрывки знаний. Клочки. Альбом Альбрехта Дюрера я сразу взяла. Пусть будет.



– Обязательно возьмите это, – торговец протянул какую-то религиозную брошюрку.

Тёмное, похожее на кулак лицо не давало возможности отшутиться, и я ограничился простым «нет».

– Это вы зря, вы вообще верите в Бога? – не унимался торговец.

На нас вопросительно посмотрел официант. Я попытался изобразить на лице скуку и страдание. Торговец всё понял и быстро удалился.

– А кто является Свете? – вдруг спросил Олег. – Я всегда верил в инопланетян, но теперь усомнился. Ведь не может быть двух искуплений, двух Христов. Невозможно и такое, чтобы Бог не создал для кого-то пути к спасению.

– И второй Торе не бывать.

– Да, на чём-то таком погорела Александрийская библиотека, – примирительно улыбнулся Олег.

5. Вода камень точит

Капли пытались достучаться до земли, били её беспощадно. Но и людям пришлось несладко. А я укрылся в какой-то парадной от внезапно прорвавшего неба. Нервно смотрел в одну сторону – мне пристало туда двигаться. Побежать? Звук торопливых шагов с другой стороны вырвал меня из оцепенения:

– Света?

– Ну и дождь! Тоже надеешься переждать?

– Вся наша жизнь – сплошное ожидание смерти.

– Ты всегда любил умничать. Но твоя фраза никому ничего не открывает, ничего не проясняет, никому не помогает.

– Да, прости. Я неудачно шучу. Это всё дождь, мрачная погода. А что интересного и нового говорят твои «головастики» о практических вещах, о погоде?

– Они не транслируют прогноз. Это ведь не та сфера, на которую они желают оказать влияние.

– А ты по их поручению куда-то идёшь?

– Да, мне сказали двигаться в этом направлении. Я не знаю цели.

– Возможно, я и есть цель.

– Возможно. Они тобой интересуются.

– Хвалят, надеюсь? – я попытался скрыть неуверенность в себе.

– Говорят, ты ужасно ленив. Но они хотели тебе передать, что у тебя своя миссия.

– Какая?

– Ты сам потом поймёшь.

Меня неопишимо тяготил этот странный разговор. Я всегда любил сумасшедших. Их манера начинать беседу, их критика не бывают агрессивно навязчивыми, как у формально здоровых людей. Человек разумный постарается унижить, чтобы доказать себе что-то, занять твоё место, он постарается больно ударить, даже если ему это и не нужно в настоящий момент, а просто потому, что он опытный охотник, всегда бдящий, всегда сохраняющий сноровку. Безумцу, юродивому ничего от меня не нужно. Он говорит. И чем менее его слова связаны и подчинены самостоятельной логике, тем более усилий требуется для их интерпретации. Получается чрезмерное толкование при минимальных изначальных данных. В конце концов, слушатель сумасшедшего больше занят своими мыслями-интерпретациями, чем приходящим извне. Это чистое и интенсивное самопознание. А активная работа мысли порой утомляет. И я не желал продолжения разговора о прищельцах. В тот день я был не в духе. И постарался быстро распрощаться. Невнятные оправдания разбивались о загадочную улыбку Светы. Но я не ждал её веры моим словам. Решение принято. Осталось лишь раскланяться.

Я побежал сквозь капли. А какой-то божж мне кричал: «Сволочь! Это ты отравил Сократа!».

6. Сон

Я редко запоминаю сны. Они волнуют и беспокоят ночью, но безвозвратно уходят с наступлением дня. У каждой стороны бытия своё место. Но на этот раз путешествия в царстве Морфея прочно застряли в моём мозгу. Всё оказалось очень уж ярким и чётким. Серые гуманоиды с большими головами, словно сошедшие со страниц пошлейших комиксов, сулили мне непостижимые блага. Я так и не понял сути их предложений. Кажется, речь шла о каком-то абстрактном и невнятном величии. А я всё пыжился и загадочно улыбался. Верилось, это заслуженное признание, я избранный. Потом я глядел в небо. На нём

словно ниоткуда появлялись фиолетовые летающие тарелки. Они выписывали удивительные фигуры. А я ощущал связь с огромным космосом, я вбирал его в себя. И, представлялось, нет ничего невозможного, а это старт для великого будущего.

Пробуждение в хорошем настроении, – формально нелепое содержание сна вовсе не перечеркивало положительных эмоций. Я отправился к Свете, но не застал её дома. От этого защемило сердце, – а вдруг я не избранный? Ах, не следовало вчера так нелепо бежать от судьбы. Зачем я так спешно распрошчался со Светой?

Такие мысли скользили на фоне глубокого осознания абсурдности моего сна и всех этих упований на избранность. Что за чепуха, в самом деле? За что избранность? За что она мне? Кто я такой? Никаких особых достижений за мной не числится.

Между тем, поток отвергнутого сознанием сознания скользил вперёд, поднимая из глубин тёмных извилин мозга всё новый ил. Словно я и не властен был над этими возмутительными идеями, словно они и не мои вовсе... хотя мои, конечно, мои...

Кто сказал, что всё заслуживается поступками, личными достижениями? Разве сами личные достижения не являются результатом реализации врождённых качеств? А сама эта реализация – не следование изначально заложенной программе? Вот, скажем, человек крайне низкого мнения о муравьях. Действия насекомых представляются заложенными в них от рождения природой, а, значит, не воспринимаются как личный успех, результат свободного индивидуального рационального выбора каждой из этих особей. Тогда как человек – гордая своим безумием обезьяна, мыслится хозяином своей судьбы. Люди не просто таскают палочки, а выполняют непростые функции, которые, как представляется, требуют выдающихся индивидуальных интеллектуальных способностей. Удивительна как сложная программа, так и сложное индивидуальное творчество. Их возможность одинаково труднодостижима. Но, однако, уровень трудности не может служить доказательством самостоятельности, наличия свободы воли. А наши профессиональные занятия, включая самые запутанные и многоступенчатые, могут быть определены в нас изначально заложенным инстинктом. И реализуем мы их в нашем обществе, которое не отличается принципиально от муравьиного. Любое действие, любое творчество бессмысленно вне социума. А, значит, уже не является принципиально индивидуальным. А вот ещё пример из мира животных, опровергающий наличие свободы воли. Возьмём сложную область человеческой деятельности. Медицина. Ведь она была у истоков человеческого прогресса, с неё, наряду с богословием, начиналась организация университетского образования. Наконец, само обозначение профессионального занятия, «врач», часто заменяется словом «доктор», являющимся также обозначением высшей академической степени. Когда я защитил диссертацию по истории, мои дети ещё долго путались: «Папа, ты же врач! Ой, нет... тьфу... этот... как его там... доктор!». Возможно ли предположить, что занятие таким сложным делом заранее задано в человеке и не является результатом его свободного творчества, продуктом его свободной воли? Если медицина – изобретение человека, то занятие ею не должно быть присуще животным. Так вот, гуляя с моим псом, я заметил с какой тщательностью, с каким усердием он тестирует анализы мочи и кала. А потом глядит на меня своими умными глазами и, я готов поклясться, пытается изречь свои мудрые, несомненно верные диагнозы. Лишь физиологические особенности гортани не позволяют ему высказать всё понятным мне человеческим языком.

Я гнал из головы весь этот неуклюжий абсурд и удивлялся его появлению в моём сознании, но словно кто-то шептал: «Не в словах суть, сквозь всё это скользит нечто важное, его следует принять». А ещё ощущение одновременно нелепости мыслей и ощущение, что я достиг предела познания, схватил что-то важное, как Прометей украл у богов огонь. И это конец.

Я забрёл в какую-то забегаловку, поел... и отравился. А потом наступил незабываемый вечер в обществе унитазов.

7. Результат отравления

Не люблю жаловаться, но сам факт отравления в приличной забегаловке вызвал протест каждого атома моего измученного жизненными обстоятельствами мозга. Кипящая злоба звала в бой. Кроме того, я был в отпуске и располагал свободным временем, – мог позволить себя кляузничать, ругаться, сражаться. Гнев был силён. Подобно тому вирусу зимой я ворвался на чужое пространство, дёргая измученных работников и требуя пустить меня к начальству. Мы пугали друг друга милицией. Счёт вышел равным. Вина каждого очевидна. И хозяин спустился с высот своего кабинета. А я ему сразу бросил короткое, но важное: «Меня отравили».



– Сократа тоже отравили, – невозмутимо парировал он. – Сам этот факт ещё не делает его великим философом, разумеется. Но, полагаю, играет в карьере сего знаменитого грека не последнюю роль. Именно об отравлении все и всегда твердят, о нём все знают, даже люди весьма далёкие от академической жизни.

– Вы как работник общепита ставите неверные акценты, – едва сдерживая удивления и возмущение, крикнул я.

– Возможно. Жизнь – сложная штука. Человеку трудно вырваться за пределы своего узкого и ограниченного индивидуального опыта.

– Но ваше дело – следить за качеством продуктов, даже если и весь мир – лишь иллюзия. Вам не должны мерещиться отравленные клиенты. Такой сон – нарушение внутренней гармонии. Не находите?

– Я вполне могу предложить вам компенсацию. – Мой оппонент неожиданно оборвал ставшую бессмысленной и тягостной дискуссию.

Гнев прошёл, потерялся в пустых словах. А жара многое объясняет. Злого умысла, конечно, не было и быть не могло. Мы с хозяином распивали кофе и мирно обсуждали компенсацию. Мы легко поладили. Нашли множество общих знакомых. Обсудили индивидуальные проблемы, философские, эмиграцию. И вот:

– Я совсем не мог здесь жить. Все друг друга знают, домашняя обстановка. Вот ты идёшь такой, злой и мрачный подросток, по улице, строя из себя Фауста, «печального демона, духа изгнания», а тебя вдруг возвращают на грешную землю словами: «Ой, здравствуй, как дела у мамы? Вы уже водили кошку к ветеринару? Вы закончили клеить обои?». И т.д. Всё в этом ключе.

– Меня больше беспокоит бесперспективность. Все легко выстраиваются в безальтернативную иерархию. И если тебя из неё выдавили наглые конкуренты, которые далеко не всегда более достойные, что особенно обидно, то нет никакого другого пути... Эх, вот чем я занимаюсь. А ведь я закончил мехмат. А здесь, в этой жалкой харчевне легко увязнуть. Рутинка затягивает. Местные дрызги, любить-разлюбить. Вот официант, с которым ты разговаривал – весьма ловкий паренёк. Подавал большие надежды, крутил приличные деньги. Его измотала и довела до ручки его жена, с которой он, слава Богу, развёлся... Её зовут Света... Куракина, кажется...

– Моя одноклассница.

– Нескладные одноклассницы вырастают и становятся вполне гармонично развитыми стервами. Хотя... Что ты о ней думаешь?

– Ничего... Прошло немало лет. Теперь она местная знаменитость? Общается с инопланетянами, – я всё время улыбаясь, стараясь придать всему оттенок пренебрежительного скептицизма. Собственно, в глубине души в инопланетянах я никогда не был убеждён.

– Думаешь, инопланетяне проделали такой огромный путь, летели сквозь колоссальные расстояния, чтобы пообщаться с этой стервой? Мои им искренние соболезнования. Не верю, что говорю такое. Туристы – мой хлеб. Надеюсь, пришельцы любят вкусно поесть.

– Не хочу сплетничать у кого-то за спиной. И всё же... Инопланетяне не женятся на Свете приехали.

– Между нами, а что они могут от неё узнать? Какие у них общие интересы? О чём, в принципе, они могут с ней разговаривать?

– Вижу, ты к инопланетянам настроен скептически. Впрочем, и я не вполне серьёзно к ним отношусь.

– Если они общаются со Светой, то я, как минимум, ставлю под сомнение их разумность. Наличие этих инопланетян может доказать наличие гуманоидной жизни во Вселенной, но ставит под сомнение высокий интеллектуальный уровень этих существ.

8. Всем нам

Вечером я включил местный канал телевиденья. Просто как фон. Не более. Я увидел Свету. Она дрожащим голосом зачитывала послание «внеземного разума». Я не смогу полностью воспроизвести текст. Я не обладаю безупречной памятью. Но примерная канва и основные идеи хорошо отпечатались в моём сознании. Там было что-то приблизительно такое:

Инопланетяне и ранее многократно обращались к землянам. Но теперь прогресс стал очевидным. К настоящему времени представления человечества об окружающем мире заметно улучшились. В самом деле, люди полностью осознали, Земля не плоская и не находится в центре Вселенной, а вращается вокруг Солнца. Далее шли ещё какие-то рассуждения на околонучные темы. Затем осуждалась вера учёных в неизбежность научных законов. Мир, на самом деле, хаотичен и в нём нет ничего неизбежного.

Правда, Света рассуждала и о гармонии чисел. Это странно противоречило её словам о хаотичности. Выходило ещё и так, что жизнь на Земле создана инопланетянами. Но существует и эволюция. Новые виды существ происходят от старых. От человека тоже произойдут более разумные существа. Хотя здесь не всё складывается хорошо. У человечества нет внятной стратегии, развитие зависит от случая. Людей же интересует лишь удовлетворение кратковременных потребностей. Само мышление человека довольно примитивно, потому что основывается на выборе из двух взаимоисключающих возможностей. Между тем, следует искать сходства, а не противоречия, стремиться к всеобщности. Указанный недостаток свидетельствует, – обитатели Земли не вполне разумны и отстают от разумных пришельцев. Отсюда неизбежно напрашивается вывод, достойный крайнего сожаления: если человеческий метод восприятия бытия и можно с трудом назвать мышлением, то всё равно вся система познания является самой примитивной из возможных. Впрочем, у более развитых обитателей Вселенной тоже есть свои изъяны. Землян же следует считать не разумными, а потенциально разумными. Не из-за врождённых задатков, а из-за того, что цивилизация пошла по ошибочному пути, предполагающему непрерывную верификацию истины математикой. Арифметический счёт привёл к появлению у людей головоломок, вызванных не реальностью мира, а именно примитивностью мышления. Человечество тратит силы, пытается решить их, подменяя ими познание загадок Природы. Это увлечение математикой и приводит к противопоставлению явлений, а также к необходимому восприятию свойств предмета как конечной величины. Самовоспитание разума заключается не только в постройке сложной системы логического мышления, но и в переработке, и в улучшении фундамента. Другая проблема – язык. Использование его для передачи и хранения информации (формулировки) – указывает на крайнюю примитивность, недоразвитость. Язык – временное явление на низших этапах эволюции. Ведь сам язык, застывшие речевые формулы формируют ложное восприятие окружающей действительности. Кроме того, лексические единицы, обладающие ограниченным смыслом, противоречат принципу всеобщности. Гносеология оказывает влияние и на мораль. Резкость суждений, конфликт противоположностей провоцирует и столкновения между людьми, между группами, между государствами. Фактически и абстрактное добро, и абстрактное зло одинаково порочны. Само отставание одной из сторон мировой гармонии, единства губительно и неэтично. Принцип «да-нет» превратил всю планету в огромную тюрьму народов. А чередующиеся войны лишь подтверждают, – резкое развитие технической цивилизации не заставило человечество поумнеть. Что же касается перспектив исторического развития, с большим затруднением можно делать прогнозы именно из-за отсутствия целостного восприятия у землян, множественности социальных устройств и политических состояний. Такая разобщённость уже в прошлом отбрасывала человечество назад. В былых войнах, как правило, грубая и примитивная и, в силу этого, более жестокая цивилизация уничтожала более разумную и гуманную, чтобы в свою очередь оказаться уничтоженной ещё более грубой. В настоящее время на земле господствует самая примитивная из всех – машинная цивилизация. Она охватывает всё человечество, держит его под контролем и не даёт возникнуть новой цивилизации, если только не уничтожит сама себя и если только всё человечество в совокупности не возьмёт контроль в свои руки и не трансформирует её состояние в другой вид цивилизации, гораздо более разумный. В прошлом высший инопланетный разум уже обращался к человечеству и предлагал свою помощь и поддержку. Необходимо оговориться, что во время предшествующих обращений локальные цивилизации-получатели значительно превосходили уровнем своего развития современную машинную цивилизацию. Собственно, одним из важнейших признаков разумной расы является умение каждого её представителя ставить коллективное выше индивидуального. Инопланетный разум вовсе не отстраняется от контактов с человечеством и от помощи ему. Как творцы жизни на Земле, пришельцы демонстрировали осознание своей ответственности за её дальнейшее развитие. И уклонение от прямых обязанностей не достойно инопланетной миссии и уровня обращающихся к человечеству космических дипломатов. Посему пришельцы провозглашали переход к решительным действиям, дабы склонить человечество к раскаянию.

Дальше диктор стал вести свободный, открытый диалог со Светой Куракиной. Тут уже и пересказывать особо нечего. Света с восторгом, дрожащим голосом, на повышенных тонах, в ответ на все вопросы описывала инопланетян, говорила об их доброте, непоколебимом гуманизме и желании благодетельствовать человечество. Меня же это весьма удивило, как-то слишком много похвал и информации. Света рассказала лишь об одной своей встрече с инопланетянами. И та происходила словно бы во сне. А я задумался о том, о чём размышлял и раньше: откуда же вся её информация, все её сбывающиеся пророчества. Почему Света никак не уточнила, не раскрыла сути, обстоятельств своих перманентных контактов? Хотя в её силе и постоянной зависимости от указаний пришельцев я уже неоднократно имел возможность убедиться.



Мои мысли прервал ответ Светы на вопрос ведущего – «К каким именно решительным действиям перейдут инопланетяне, дабы склонить человечество к раскаянию?».

– Через три дня море затопит один из районов города.

– Какой?

– Этого я не могу вам сказать. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет».

– Но как можно утверждать о гуманизме инопланетян, если они намерены убить людей?

– Все мы смертны. А смерть для человека – благо. Инопланетяне гораздо мудрее людей, они лучше нас понимают, что нам необходимо. Не будьте самонадеянным, ошибочно полагая себя умнее представителей более сильной и мудрой цивилизации.

9. Грядёт потоп

Предсказание не выходило у меня из головы несколько последующих дней. Я думал о нём, хотя повода размышлять не было. У меня не было никаких фактических данных и никаких изначальных твёрдых установок, которые вели бы мою мысль. Само обилие мыслей на этот счёт являлось чистой obsesией. А я упорно угадывал, будет или не будет. При этом абсолютно отчетливо осознавал каждой клеткой своего тела – нет, не будет. Это чистая интуиция, но я обосновывал её невозможностью события, его полной экстраординарностью. Казалось, спокойное и совсем не бурное Чёрное море не способно на столь коварную выходку. Его смешные маленькие волны не казались угрозой целому городскому району. Всему этому противостояли инопланетяне, которых я не видел, не знаю, а потому и не склонен ничего от них ожидать. Света, конечно, давала в прошлом исключительно успешные предсказания. Но кто сказал, что успех ей и дальше будет сопутствовать?

В лицах прохожих я и искал тревогу, но находил лишь равнодушие. Это огорчало. Как же они не реагируют на пророчество? Ведь прежде все вещи слова Светы сбывались. Откуда это безразличие? Неужели они не верят в реальность опасности. Я тоже не верю. Но я – это другое дело. У меня есть интуиция, у меня своя философия и суждения. А случайные прохожие могли поверить. Вдруг на улице – Олег Дроминский. Нам было по пути. Хорошая возможность обсудить пророчество Светы.

– Мне её пророчества безразличны. Я считаю, что никаких инопланетян нет. Мы уже об этом говорили. Ты забыл? Нас морочат демонические силы. К ним я прислушиваться не буду, даже если в словах Отца Лжи есть отблески, обрывки истины. Если Господь не открыл что-то, людям этого знать и не положено, – вдруг начал проповедовать Олег.

– Позволь, но ты меня сам и отправил к Свете.

– К Свете, но не к её «инопланетянам». Она нуждается в помощи. Для человека, как социального животного, всегда важно вернуться в социум. Свете следует оставить пришельцев и переключиться на нормальное повседневное общение с людьми. Ты сам-то веришь в «неземной разум», о котором она твердит?

– Хм. Мне всегда черти нравились больше инопланетян. О демонах известно больше, чем о пришельцах. О них проще рассуждать. Впрочем, сегодня все наши попытки обозначить как-то незнакомое явление порочно в своей основе. Ведь название не обязано отражать суть. Когда-то людям нравилось приписывать аномалии чертям, сегодня инопланетянам. Но название вовсе не является результатом понимания аномалии. «Чёрт» и «пришелец» – это лишь слова, которыми обозначается то, о чём мы ничего, в сущности, не знаем. Получается, нет никакой разницы, будем ли мы называть эти сущности «чертями» или «инопланетянами».

– Ну у этих слов есть своя история... У каждого из слов своя особая коннотация... Ты не согласен?

– Согласен. Но это все не имеет значения в большинстве конкретных ситуаций. Мы блуждаем во мраке. И вся эта «коннотация» не описывает суть, не является результатом исследования явления. Это лишь наши лексика, которые нам удобно применять для подтверждения заранее придуманных беспочвенных теорий.

10. Час суда

Все дела сделаны. Завтра уезжаю. Я надышался воздухом детства, и пора возвращаться во взрослую реальную жизнь, туда, где я живу уже много лет, где все мои текущие дела. И вдруг звонок, – Света дрожащим голосом настаивает на необходимости встречи. Хорошо. Мы условились поговорить в кафе, на нейтральной территории.

Я ждал Свету у входа в тени дерева. Жара стояла нестерпимая, но в ней ощущался и какой-то покой, неподвижность... или желание неподвижности. Словно всё замерло, достигло умиротворения. А дама опаздывала. Но это казалось неважным. Я наслаждался тишиной.

Вдруг я увидел подбежавшую Свету. Не видел её бежавшей, но она запыхалась, как-то резко внезапно остановилась возле меня. Она возникла неожиданно, ниоткуда. Запах её тела приятно побеспокоил ноздри, – без духов. Света сразу со слезами бросилась мне на шею, – «Ах, меня обманули... Меня обманули! Что мне делать? Как жить дальше?».

Мы вошли в кафе, сели, а Света всё тараторила и тараторила, её слова не казались связанными и последовательными.

– Света, пожалуйста... да что случилось?

– Ты разве не знаешь? Подлец! Ты думаешь только о себе! Ты разве не знаешь?

– Что я должен знать?

– Никакого потоп! Меня обманули!

– Но люди живы. Разве это плохо?

– Они обманули, они оставили меня. Но и это ещё не все. Я всё вспомнила про корабль, про добрых пришельцев. Ты помнишь? Это всё иллюзия!

– Сон? Но приятный сон. Разве нет? Ты прикоснулась к чему-то достойному внимания, пусть и не наяву. Ты стала знаменитостью, расшевелила сонный город. Так ли уж это всё плохо?

Глаза Светы метали молнии. Вся она пылала гневом и негодованием, если я правильно помню, её била дрожь:

– Я, правда, была на корабле пришельцев. Но они изменили мои воспоминания, отредактировали, что-то стёрли, что-то дописали. На самом деле меня похитили. С самого начала я ощущала ужас, не хотела идти. Меня били, куда-то тащили. А потом резали. Мне вставили имплантаты, шарики из неизвестного металла в голову. Вот, – Света протянула мне маленький шарик. – Они из меня посыпались через ноздрю, вчера, во время купания.

– У тебя должны остаться шрамы.

– Никаких шрамов, поразительно! Я помню, как меня резали без наркоза, эта жуткая, неописуемая боль и ужас. Мне вскрыли живот, потом голову. А рядом, на соседнем столе искромсанный и кровоточащий мужчина умолял его убить. Потом, я помню, в этой комнате инопланетяне принуждали мальчика лет тринадцати к совокуплению с шестидесятилетней женщиной.

– Но почему ты теперь веришь в правдивость этой истории, отвергая то, что ещё вчера тебе казалось абсолютной истиной?

– Что с тобой? Ты мне не веришь?

– Послушай, никто из соседей ведь не видел, как ты покидаешь квартиру в сопровождении инопланетян? Но я не говорю, что это иллюзия. Вещи ведь неоднозначны, многое двойственно и заключает в себе противоположные смыслы. Например, водка. Это двойственный продукт. С одной стороны, говорят, она вредна. Но водка вполне применяется и для лечения, как ты знаешь. Наш мир отпускает каждому столько чудес, сколько мы сами готовы принять. Наше сознание меняет реальность. И субъективное легко становится объективным, когда мы к этому готовы... Однажды я находился в состоянии крайнего воодушевления, возбуждения. Я свободно открыл дверь, которая была заперта на замок, вышел, снова закрыл дверь... и не смог её опять открыть без ключа, так как моё состояние менялось.

Света посмотрела на меня, сверкнула полными злобы и ненависти глазами, вскочила и убежала. Я кричал ей вслед, просил остаться, извинялся, но тщетно. Она ушла. И ладно. Какая-то она не по погоде нервная.

11. Пару лет спустя

События уходят и к ним не хочется возвращаться. В прошлом я часто вёл дневники, и они помогали самоанализу. Но периодически я их выбрасывал. Неизбежно наступал момент, когда в них уже нечего искать. Тогда важно избавиться от старого хлама, не цепляться за утратившее смыслы в настоящем. Вообще боюсь оглядываться, не хочу смотреть назад. Да, и автор дневников через какое-то время – это уже не я сейчас, это какой-то человек из прошлого, с которым у меня уже мало общего. Начинаются проблемы с



хронологией. Всё спутывается, смешивается, а детали утрачиваются во мраке ещё вчера светлого и очевидного. Важное уходит, второстепенное остается.

Олег больше не выходил на связь. Не отвечал на письма, нигде не обнаруживался. А вот Света не ушла из моей жизни полностью и навсегда. Она нашла меня в Фейсбуке, мы виртуально подружились, хотя говорить нам оказалось не о чем, нет общих тем. Даже посты друг друга мы редко «лайкаем». В её сообщениях всё чуждо мне, в моих всё чуждо ей. Она снова увлеклась танцами, а ещё занимается здоровым питанием, повторно вышла замуж. У неё своя жизнь.

Однажды Света написала мне личное сообщение. Мы поздоровались, обнюхались, – поделились информацией о текущих событиях и семейных обстоятельствах. Все эти события и обстоятельства скучны, однообразны, пусты и бесцветны, как и вся человеческая жизнь. В конце концов, вся литература, всё творчество человека имеют лишь три темы – чувство голода (борьба за хлеб, то есть гражданская лирика), инстинкт размножения (любовная лирика) и самооправдание. А тут неожиданное: «Знаешь, мне всегда нравился Олег. Он был особенным человеком».

– Почему был?

– В тот день, когда согласно предсказаниям инопланетян должен был случиться потоп, Олег бесследно исчез. Его не смогла найти ни милиция... никто. А ведь я пыталась, даже обращалась в частное сыскное агентство. Безрезультатно. Выброшенные деньги.

– Мне очень жаль... Действительно. Он прекрасный человек. Но для бандитов это, конечно, не аргумент в защиту жизни.

– Ты, правда, веришь, что в таком маленьком городе преступники могут скрыть все улики?

– А что тогда?

– Уверена, его похитили инопланетяне.

«ФОНОГРАФ»

РУТА МАРЬЯШ

ДЕТСТВО НА ВСЮ ЖИЗНЬ фрагмент из книги «Калейдоскоп моей памяти»

Ощущения детства, свои первые, даже чуть обозначенные переживания, человек несёт за собой всю жизнь. Даже впоследствии деформированные, преобразованные ходом жизни, эти ощущения и переживания продолжают действовать, как притягательное или отталкивающее начало. Это зависит от того, как ход жизни соотносится с этими первоначальными ощущениями, становятся они балластом в жизни или стимулом, мешают или способствуют жизни. У меня бывало по-разному, тем не менее, погружение в воспоминания детства доставляет мне большую радость, и ностальгия по моему детству жива во мне всегда.

Утро, тишина в доме. Из кабинета отца в другом конце квартиры доносятся попеременно два голоса – голос Шевы, секретаря отца, читающей ему, полностью лишённому зрения, вслух, и голос отца, диктующего ей свои мысли. Лейтмотив всей жизни в доме, в семье – возвышенность чувств, стремление к идеалу, романтизм, атмосфера умственного труда. В моём детском восприятии вдохновенный голос отца переливается в звуки классической музыки, которую он часто слушает. Бетховен, Шопен, Чайковский – фон жизни в доме, фон моего детства.

Первый язык, ставший для меня основным на всю жизнь – русский. Сказки Пушкина, книжки Чуковского, Маршака, детский иллюстрированный журнал «Задушевное слово», русские романсы – всё это создало в моем юном воображении идеальный, милый сердцу, красочный образ страны, откуда родом мама и где живут её родные – образ России. В те годы русская культура занимала значительное место в жизни латвийской интеллигенции. Наиболее наглядным, непосредственным воздействием на меня обладала живопись. Это – моё самое сильное впечатление. И сейчас, стремясь воскресить ощущения детства, я вглядываюсь в картины Богданова-Бельского, Александры Бельцовой и ощущаю, что манера, в которой они писали, их краски и свет по особому близки мне. Но возможно, я сейчас это домысливаю, и это – моя фантазия. О России с присущей ей восторженностью рассказывала мне Шева – человек, сильно повлиявший на меня в детстве. Шеву в семье очень любили, называли ласково «Шевеле», «Шепселе». Это был Человек-Ангел, беззаветно преданный своим друзьям, начисто лишенный эгоизма, себялюбия. Она целиком посвятила свою жизнь моему отцу, его интересам, его творчеству. Её личной жизнью была жизнь нашей семьи.

Мать, отец, Шева, старшая сестра Дита часто говорили между собой на идише – языке, на котором до Второй мировой войны говорило одиннадцать миллионов евреев. Я понимала этот язык, но сама говорить на нём не научилась. Мне так и осталось непонятным, почему меня в детстве не научили языку идиш, еврейской азбуке. Ведь основной темой творчества отца была история евреев, еврейская культура. Моё имя – Рута, было явно не еврейским, на европейский лад звали многих моих сверстников – детей из еврейских семей: Агнесса, Элеонора, Лилия, Белла, Эвелина, Зузанна...

Большинство моих подруг посещали еврейские школы, в их семьях соблюдались еврейские традиции – ели только кошерную пищу, пользовались отдельной «молочной» и «мясной» посудой, отмечали субботу и все религиозные праздники. Мне это казалось любопытным, но чуждым, так как у нас в доме



всего этого не было. С первого класса я училась в латышской школе, посещала её и по субботам, когда мои подруги в школу не ходили, соблюдая требования еврейской религии. Многие из них носили на шее красивые кулоны с изображением Мойше Рабейну – пророка Моисея. Кулоны мне нравились, но я воспринимала их только как украшения, к которым была равнодушна. У нас в семье охотно ели традиционные еврейские кушанья: «гепмирте мапе» – мацу со сладким творогом и изюмом, куринный бульон с клецками из мацы или еврейскими пельменями – «креплах», говяжью «еврейскую» колбасу, говяжьи, красные от селитры языки и грудинку, которые продавались в кошерных лавках «Ахдут» и Барона. Охотно ели фаршированную рыбу и круглое печенье в меду – «тейглах», а также и сладкую русскую творожную пашу с цукатами, которую можно было купить в магазине Матейки на центральной улице города.

Мой отец высоко ценил человеческое достоинство, идеи гуманизма, активное стремление к справедливости, но был неверующим человеком. Не думаю, чтобы он относился к религии враждебно, но определенно выступал против использования религии в целях, которые он считал антигуманными – для порабощения людей и укрепления неравенства между ними. Отец, как и мать, прекрасно знал Библию и считал, что центром любой религии должно быть этическое учение, законы нравственности. Отстранённость от религии в детстве сыграла, я думаю, не лучшую роль в моей дальнейшей жизни, создала некий духовный вакуум, который впоследствии заполнялся расхожими идеями, а иногда и затруднял выбор нравственных ориентиров. Теперь я сожалею об этом. Вера в Бога была присуща людям во все времена, она родилась и росла вместе с человечеством, её принимали мудрецы Востока, философы Древней Греции. В основе её – поклонение силам природы, культ предков, стремление достичь гармонии между собой и вселенной. Без Бога человек ощущал себя одиноко в мире разобщённых картин, явлений, лиц. Задумываясь сейчас над понятиями совести, соотношении добра и зла в человеке, я понимаю, какую огромную роль в формировании морали играет религия, заповеди, проповедь милосердия, сострадания, доброты.

Но как сочетать существование всемогущего Бога, олицетворяющего Добро и Справедливость, с тем, что творится на земле, в обществе, в природе – с хаосом и жестокостью? Почему Бог, создав человека и заботясь о нём, допускает, что на протяжении всей истории человечества несправедливость в основном торжествует над справедливостью, страдают не только грешники, но и праведники? Возможно, ответ в том, что Бог, создав человека свободным, дал ему также и свободу выбора между добром и злом. Где есть возможность добра, есть и возможность зла. И, быть может, зло существует для того, чтобы выделить добро в качестве контраста; возможно, Бог, дав человеку сознание добра и зла, дал ему и силы для борьбы со злом. И хотя формула Христа «Подставь другую щеку» на практике часто оборачивается поощрением зла, в иных случаях эта формула может означать преодоление побуждения к мщению и расправе, обуздание тёмных инстинктов.

Моя мать говорила мне: Бог в самом человеке. Я сейчас время от времени посещаю храмы Божьи – синагогу, православные, католические и протестантские соборы. В трудные минуты обращаюсь к Богу, иногда в мыслях дохожу до такой глубины в себе, что кажется, будто во мне заговорил кто-то иной, не я, и я ощущаю Его присутствие, возникает чувство слияния с какой-то высшей сущностью. Всё же моя молитва всегда оборачивается диалогом с собой, со своей совестью. И я понимаю, что, хотя в моём детстве не было религиозных обрядов, кошерной пищи, субботних свечей и поста, тем не менее, была вера в Высший Разум и его силу, в Совесть.

Есть люди, которые проповедуют смиренность, кротость и терпение, советуют пройти сквозь жизнь так тихо, чтобы судьба тебя не заметила, довольствоваться своим маленьким уголком. Меня этому не учили в детстве, а воспитывали во мне своего рода максимализм – активное стремление к радости, красоте, ко всему яркому, значительному. Меня сознательно готовили к активной деятельности, поощряли во мне попытки творчества, внушали веру в возможность счастья, во взаимность окружающего мира. И так получилось, что в моей душе всегда присутствует не только стремление к действию, но и вера в то, что всё разрешится к лучшему, жизнь изменится и всё будет хорошо. Это, наверно, и есть существо того, что было во мне заложено в детстве.

Мои мать и отец были поздними детьми своих родителей, поэтому я уже не застала в живых своих дедов, а бабушек знала, только когда они уже были в преклонном возрасте. Киевскому дедушке Шмилуку – отцу моей мамы сообщили о моём рождении, когда он лежал на смертном одре. Я пришла на свет, словно на смену ему, унаследовав, быть может, от него какие-то неизвестные мне черты. Киевская бабушка Майя – красивая, величественная и немногословная, приезжала несколько раз к нам, в Ригу, погостить. С ней мы были большими друзьями, она гуляла со мной и, хотя была женщиной весьма волевой,



разрешала мне «садиться ей на голову». Когда мои шалости переходили через край, она с улыбкой спрашивала: «Рутеле, на тебя уже гэц напал?». Помню, у неё с моей мамой были препирательства по мелочам, по поводу покупки одежды: бабушка хотела зимнее пальто со «скупсовым» воротником, мама же предлагала ей каракулевый. Но они очень любили друг друга, бабушка жалела мою маму за её трудную судьбу, а вернувшись в Киев, на вопрос о том, как живёт в Риге её дочь, отвечала: «Как драгоценный кубок, до краёв наполненный слезами». Бабушка скоропостижно скончалась в возрасте 69 лет. В семье остался некий «культ бабушки Майи» – её именем называли девочек в последующих поколениях.

Бабушку Розу – мать моего отца я помню совсем старенькой, сторбленной. Она давно овдовела и жила в Риге, но не с сыновьями, а в семье своего двоюродного брата Михеля и его жены Анетты. Там у неё была своя комната, и, когда мы к ней приходили, она открывала ящик комода, доставала круглые мармеладки, обсыпанные сахаром, и угощала меня. Такие мармеладки я охотно ем и сейчас. На дни рождения внуков бабушка приезжала на извозчике, одетая во всё чёрное, с большим чёрным зонтом и всегда дарила одно и то же: серебряные стопочки – «бехерлах». Умерла она в возрасте 90 лет во сне. Помню, как в день её похорон я плакала, лежа в постели с очередной ангиной.

Моя мать была очень красива, было в ней что-то, привлекавшее внимание людей с первого взгляда. Она располагала к себе, владела искусством вести оживлённую беседу, на протяжении всей своей трудной, многострадальной жизни сохраняла интерес к окружающим, умела дружить с людьми разного положения и возраста, всегда выглядела женственной, элегантной и ухоженной. Несмотря на трудности жизни, мама умела быть праздничной и создавать праздничность вокруг себя. Она была очень волевой, властной и всегда серьёзно обдумывала свои поступки – этому её научила жизнь. Мама была опорой семьи, главным действующим лицом, на ней лежала забота о благополучии и воспитании детей, о ведении дома, о здоровье и покое отца, о создании для него условий, при которых он мог бы всецело посвятить себя творческому труду. Отец не только писал статьи и книги, но и был также присяжным поверенным и имел свою адвокатскую контору, которая обеспечивала семье постоянный доход. В конторе, которая занимала часть нашей просторной квартиры, за большим коричневым бюро с откидывающейся гофрированной крышкой работал помощник присяжного поверенного, а в отдельной маленькой комнате – секретарь-машинистка. Мама руководила и их работой, помогала отцу в делах, посещала различные официальные учреждения.

В доме постоянно жила прислуга, которую всегда называли по имени – Женя, Стефа, Мария, а также помогавшая по хозяйству немолодая, одинокая еврейская женщина – «фройляйн Рейзхен». Ко мне ежедневно приходила гувернантка, она называлась «Руточкина фройляйн». За семь лет их было несколько – сменивших друг друга молодых интеллигентных женщин: Люба Нашпатырь, Этель Димант, Этя Плинер. Они были разными, и каждая из них оставила свой след в моей детской душе. Торговка Аннушка, большая, грузная, с белым платочком на голове, по утрам приносила в тяжёлой корзине продукты с рынка, с ней имела дело всегда только мама. Прислуга называла маму «барыня» и целовала ей руку в благодарность за деньги или подарки к праздникам. «Баринном» прислуга называла и отца – это вполне совмещалось с его «левыми» социалистическими взглядами. Принадлежность части людей к низшему сословию тогда была привычной, само собой разумеющейся, ведь все они родились и росли ещё при царском режиме. Тогда в ходу были и такие обращения, как «мсье», «мадам», а незамужних женщин, почему-то больше называли по-немецки – «фройляйн». В памяти ещё сохранялись старые названия главных рижских улиц, их по-прежнему называли Николаевская, Александровская, Романовская, Курмановская.

Моя привязанность к незрячему отцу была молчаливой, нежной и постоянной. Говорили, что в первые дни своей жизни, будучи грудным младенцем, я непрестанно орала, словно предчувствуя все грядущие трагедии века, однако немедленно замолкала, когда меня клали на кровать отца. Изредка, в минуты отдыха, отец тормозил меня, называя «Рута-Пуга», «Путикам», и эти мои ласковые детские прозвища родители вспоминали до самой их смерти, по разному поводу. Я была не в меру резва и шаловлива, и отец дал мне шутливое прозвище «башибузуку». Уже, будучи взрослой, я прочитала, что башибузуки – это «бешеные головы», турецкие полуразбойники-полупартизаны, известные своим диким нравом и кровожадной свирепостью.

Мама всегда была занята, времени для общения со мной у неё было мало. Иногда мы вместе гуляли, посещали театр или родственников и знакомых. Быть с мамой для меня всегда было праздником. Она не была щедра на ласку, на проявления нежности и лишь изредка крепко обнимала меня, прижимая к себе, называла Рутеле, Рузя, «доня моя», «мизинка моя» – то есть младшенькая. Я это воспринимала с большой радостью, как награду. Смутно, больше по рассказам, я помню, как однажды, когда у меня толь-



ко прорезались зубки, я, стоя в своей детской кроватке, просунула голову сквозь нитяную сетку и стала задыхаться, посинела и потеряла сознание. Вызвали детского врача, и тот вернул меня к жизни. В моей памяти это событие как-то связано с тоской по маме. Помню и то, как мама за непослушание «давала мне траски» – больно била ладонью по попе, а предупреждая моё непослушание, говорила: «получишь траски». Я этого боялась, наказание было связано с болью и обидой.

Мама родилась в день еврейского праздника Лаг-Баомер – в День завершения скорби. Отмечали мы это всегда первого мая. Утро начиналось с вручения маме большого букета красных роз от отца. Помню маму во цвете лет, в пёстром летнем шёлковом платье, которое я называла «пучи-пучи» и просила его надеть – в нём мне мама особенно нравилась. Мама любила всё яркое, красочное, обладала хорошим вкусом и частенько заглядывала в антикварные магазины, которых было тогда множество, главным образом, в старом городе, их тогда называли по-немецки – «Ан-унд фер-кауф». Мама находила там разные старинные вещички, которые называла «шмукзахен», приносила домой, начищала и ставила в хрустальную витринку. Предметом особой гордости были две большие вазы из цветной мозаики, купленные мамой у Каульбарса – в самом изысканном рижском антикварном магазине. Мама была практичной, но при этом широкой и щедрой.

Многие рижские дамы встречались в послеобеденные часы в кафе у «Отто Шварца» или в «Рококо», обсуждали светские новости. У мамы таких подруг не было, она не была расположена к таким беседам, для этого у неё не было свободного времени. Я помню лишь Евгению Исааковну Розенцвейг, которую мама высоко чтит, и изредка обращалась к ней за советом, а также Эсфирь Осиповну – жену еврейского поэта Якова Розенбаума, который был близок с моим отцом. Мне запомнилось, что из всей большой семьи моего отца, мама предпочитала общаться с его братом Соломоном, очень доброжелательным и подвижным. Он приходил к нам, и стоя вдвоём в коридоре нашей квартиры, они с моей мамой подолгу о чём-то заинтересованно беседовали. С другими родственниками обычно встречались только в дни семейных торжеств.

Мама редко проявляла своё плохое настроение и вообще была против грусти, тоски, печали, против такого рода «хемунген», как она это называла. По-немецки мама говорила слабо, хотя отдельные немецкие слова употреблять любила. Языки ей вообще давались плохо. Когда ей бывало особенно тяжело, она говорила по-еврейски «их бин фун айзен» – «я из железа». Бывали скандалы между мамой и моей старшей сестрой Дитой, которая была всего на восемнадцать лет моложе матери и на девять лет старше меня. Ссоры возникали из-за своеволия Диты, из-за её пропусков занятий в школе, неаккуратности в одежде, её ранних романов, пустого время проведения, которое мама называла «шлендраньем». Мама и Дита шили себе платья у дорогой портнихи Энтиной, что вызывало во мне ощущение второсортности – мне платья шила дворничиха. Это у меня осталось на всю жизнь – одеваться так же красиво, как одевались мама и Дита, я никогда не умела. Помню, как однажды родители пошли на пресс-бал в офицерский клуб. На маме было длинное бархатное вечернее платье, а в руках серебряный сетчатый бальный ридикюль с тёмно-красным рубином на застёжке. Потом мама рассказывала, что «на балу у мадам Шалиной, жены адвоката, были плечи, как взбитые сливки»...

Никогда – ни в детстве, ни потом я не задумывалась над интимной стороной жизни моих родителей. Мама была на тринадцать лет моложе отца. Он был с ней ласков, нежен, но больше всего думал о своей работе, о творчестве. Впоследствии мама говорила, что, родив двух дочерей, была вынуждена сделать ещё восемь аборт. Иногда между родителями возникали ссоры из-за того, что отец мало думал о зарплате, – это всецело лежало на маме. Временами она взрывалась, упрекала его и громко плакала. В такие моменты я чувствовала себя глубоко несчастной, стояла, сложив молитвенно руки, и дрожала. У мамы было немало молчаливых поклонников, возможно, были и какие-то увлечения; помню, известный в Риге доктор Гах – немец, регулярно присылал ей белые розы. Но мама говорила мне потом, что никогда отцу не изменяла, ведь, изменив, она не смогла бы дальше нести свой «сладкий крест». Это были её слова.

С самого рождения я попала в напряжённую обстановку, в атмосферу трагедии – отец тогда видел уже только одним глазом, а спустя год ослеп окончательно. Это наложило отпечаток не только на моё детство, но и на всю последующую жизнь. Я в то время не осознавала всей трагичности положения в семье, но интуитивно пыталась выбраться из этого состояния напряжения, была в поисках чего-то более лёгкого, простого, необременительного. Это отразилось и на моём выборе подруг, друзей и на образе жизни в молодости, из-за чего много ценного времени было мною потрачено зря. Я не отличалась постоянством в своих увлечениях, многое начинала и вскоре бросала, оставаясь дилетантом в музыке,

литературе, в разных областях знаний. Я слабо играла на рояле, слабо каталась на коньках и лыжах, не овладела чистописанием, черчением, не была сильна в математике, основательно не изучила ни одного иностранного языка. Быть может, это изъян моего воспитания, результат того, что в детстве я недостаточно общалась с родителями: они были заняты своими делами, а мною, кроме Шевы, занимались сменявшие друг друга приходящие воспитательницы – «фребелочки», как тогда их называли. Родители же, каждый по-своему, были и остались для меня недостижимым идеалом.

Я унаследовала от своих родителей некоторые внешние черты, способности и свойства, а также и их вечное, но различное беспокойство. От мамы – беспокойство по поводу устройства, налаживания жизни, беспокойство и даже тревогу о будущем, о том, что произойдёт, если настанет «чёрный день». От отца – беспокойство творчества, беспокойство о высоком, общезначимом. Оба эти беспокойства живут во мне и поныне. Однако в отличие от родителей я не смогла в той мере, как это удалось им, обратить своё беспокойство в действие, в результат. Но наряду с беспокойством во мне, как и в них, живёт и стремление к тишине, покою, к согласию с собой. От отца я унаследовала стремление слить воедино жизнь и творчество, потребность работать, следуя своей внутренней воле, мало считаясь с другими факторами, желание разглядеть явление жизни в незначительном факте, случае. Во мне, как и в нём, звучат порой то «фортиссимо» и то «пианиссимо», и я полностью согласна теперь с известным утверждением, что жизнь – это счастье, долг, страдания и труд. В жизни моих родителей было много страданий, их страдания были несравнимо тяжелее, серьёзнее, чем мои, как и их жизнь – несравнимо серьёзнее моей.

Эстетикой моего детства были уют, порядок, праздничность, особая тишина творчества. Семья, дом, в котором я росла, стали для меня символом защиты, прочности жизни, привили мне способность самозащиты от хаоса и в то же время постоянное желание быть, как в детстве, под чьим-то крылом. С детства осталась со мной на всю жизнь необходимость в поддержке и защищённости, доверчивость, даже порой наивность, постоянное ожидание и поиски источников радости, способность увлекаться, совершать неожиданные поступки и совсем не по-взрослому разочаровываться и горевать. Я ощущаю свою детскость, как слабость, но порой и как силу.

Прикасаясь к истокам бытия, к началу своей жизни, я словно смотрю в глазок калейдоскопа, где разноцветные осколки памяти, отражённые в зеркальной поверхности сфер, складываются в фантастические, сказочные узоры и при каждом, самом малом повороте возникают всё новые и новые, невиданные, неповторимые красочные орнаменты. Я вижу маленькое красное блестящее ведёрко, ярко-зелёный сопочек, разноцветные формочки для пирожных из песка, своё первое шерстяное платьице цвета весенней травы и второе – в мелкую сине-красно-зелёную клетку, надетое перед первым в жизни спектаклем «Красная шапочка и серый волк». Вижу красную шапочку на златокудрой головке моей куклы Маргариты, неизменно сопровождавшей меня в кабинет доктора Хаза на сеансы «горного солнца», которые запомнились голубыми от кварцевого света простынями и острым запахом озона. Мою первую соломенную шляпку, тоже красную, с вишенками на полях. И красную фетровую шапочку, гладкую, тёплую и мягкую. Вижу связки больших воздушных шаров – голубых, зелёных, розовых, жёлтых. Густо-зелёный лес с дубовыми листьями и ярко-коричневого Конька-Горбунка в книжке с картинками. Мою большую красную чашку в белый горох. Белую фаянсовую рюмочку для яйца с изображением пёстрого петушка. Большой оранжевый шёлковый абажур с бахромой над обеденным столом. Красочное богатство детских товаров в заветной лавке «Песталоцци» – цветные карандаши, водяные краски, переводные картинки, которые надо было осторожно намочить в блюдечке, а потом прижать к чистому листу и с нетерпением ждать результата – изображения куколки, кошечки, зайчика или рыбки. Блестящие яркие бумажные картинки для наклеивания в альбом – ангелочки с крылышками, забавные пупсики, мышпонок Микки-Маус. Яркую белизну снега, голубизну неба, синеву летнего моря, мои детские купальнички – салатный, голубой, жёлтый.

Любимые запахи в детстве – запах настурции, белого душистого табака, резеды и маттиолы в саду на даче. А в конце лета – дух спелых яблок повсюду – дома и на улице. Восхитительно пахли в лавках живая и копчёная рыба, квашеная капуста, сыр, свежий творог, мандарины. Никогда потом эти запахи не ощущались так остро, как в детстве. Помню и запах сероводородного источника в курортном парке Кемери, и горьковато-сладкий аромат библиотечных книжек, от которого замирало сердце в предвкушении увлекательного чтения. Читать было приятнее всего за ужином, когда перед тобой тарелка с едой, а рядом аккуратно переплетённая книжка из библиотек Шнайдера и Шира, Этингера или Ланге. Нравилось с аппетитом есть жареную рыбку, сосиски с картошкой, помидоры, огурцы со сметаной, манную кашу. Полезные овощи: шпинат, цветную капусту и морковь – меня заставляли есть насильно. Особыми



лакомствами были пористый шоколад фабрики Кюзе, сливочные тянучки и большие конфеты – халва в шоколаде или слива в шоколаде.

Дни моего рождения начинались всегда с радостного пробуждения – у кровати на маленьком белом столике уже лежали подарки: новая кукла в розовом платье с бантом и в лакированных туфельках, детская красочная игра «рич-рач», складной картонный аквариум с разноцветными рыбками и магнитной удочкой, новое шёлковое голубовато-зелёное платье в мелкий цветочек. Самыми интересными подарками были книжки – «Княжна Джаваха» и «Маленький лорд Фаунтлерой». После обеда, часам к пяти, приводили в гости детей. День был зимний, их долго раздевали в передней, снимали пальто, ботики, разматывали шарфы, переодевали, застёгивали нарядные туфельки, девочкам завязывали волосы бантом. Дети торжественно входили в столовую, где уже был раздвинут и накрыт белой скатертью большой дубовый стол. Ели сладкий именинный крендель, пили из больших чашек горячий шоколад с взбитыми сливками. Потом переходили в детскую, кто-нибудь из взрослых ставил нас в круг, и мы пели «Как на Руины именины испекли мы каравай». Запомнилось ощущение крепко сцепленных детских ручек, качающихся вверх и вниз, вверх и вниз: «... вот такой вышины, вот такой низины». Пели песни «Стоит стар человек в лесу глухом...» и «Мама купила мне куклу и барабан...». Затем демонстрировались новые игрушки, подарки, устраивалась лотерея, и каждый ребёнок выигрывал забавную вещичку. Дети не оставались на ужин, их уводили домой. Собирались взрослые – родственники, друзья родителей. Но моё участие в празднике на этом не кончалось и, прежде чем сесть за стол, гости заходили в детскую, где я демонстрировала своё умение сочинять стихи, устраивать кукольный театр. Сценой театра была полка в прикроватной тумбочке, освещённая изнутри лампочкой-ночник. Актёрами были маленькие целлулоидные куколки. Потом взрослые уходили в столовую, садились ужинать и вести свои разговоры, а меня укладывали в постель.

Помню приготовления к детскому карнавалу в день рождения девочки Дуди Дубинской. Мне тогда пошили русский сарафан из красного ситца, твёрдого, накрахмаленного. На нём моя сестра нарисовала масляными красками большие жёлтые подсолнухи, отчего сарафан стал ещё твёрже и стоял колом. Под ним была тонкая белая маркизетовая блузка с широкими рукавами, на голове – кокошник, а на – шее большая связка пёстрых бус из папье-маше. В самый разгар праздника, когда все танцевали и пели «Ах вы сени, мои сени...», мои бусы порвались и рассыпались по полу.

Обычно новая одежда не вызывала у меня особой радости. Всё новое было непривычным, не всегда удобным, иногда слишком открытым, чего я тогда не любила. Уже в детстве у меня были свои, хоть и неосознанные, требования к фасону, покрою и цвету одежды. Ощущение «своей» и «не своей» одежды осталось на всю жизнь. Неприязнь и раздражение вызывали рейтузы, резинки, которыми пристегивали к лифчику чулочки, тёплое шерстяное бельё. Любимыми были гольфы – чулки до коленок, которые почти всегда были в ссадинах: я не отличалась особой ловкостью и частенько падала. В косы мне вплетали атласные ленты – васильковые, красные, белые. Возиться с косами было хлопотно и однажды на даче в послеобеденный «мёртвый час» я ножницами отхватила себе волосы до самого затылка. Жить стало легче, и меня стали водить стричься в парикмахерскую Альберта, где пахло одеколоном и палёным волосом. Прикосновения рук парикмахера и его ножниц вызывали дрожь и лёгкое опасение, что мне нечаянно подстригут уши.

Детство связано с кукольным миром, с миниатюрными предметами, которые я особенно любила. Мне было года четыре, когда, вернувшись из Вены, где отцу безуспешно прооперировали глаза, родители подарили мне крошечный золочёный сервизик. Я пришла в неописуемый восторг и, как потом в семье часто рассказывали, громко стала звать сестру: «Дита, иди-ко посмотри, что они мне привезли!». Вероятно, с этого сервизика и началось моё пристрастие к миниатюрным игрушкам, к обустройству маленьких мирков-укрытий, отгороженных от окружающего, к созданию своего собственного, отдельного детского уюта. Помню голую, пузатую целлулоидную куколку с зелёным пушистым пером на голове, пищащего улыбающегося резинового пупсика с дырочкой на спинке, без которого я ни за что не хотела садиться в ванну, плоские картонные куколки с набором разноцветных бумажных платьев. Меня почему-то отталкивали и даже вызывали отвращение тряпичные игрушки, мягкие куклы, и после них я всегда охотно мыла руки. Домашних животных в доме не было, если не считать купленной однажды жёлтой канарейки в клетке, не вызвавшей моего интереса, и маленького крольчонка, которого я стала купать в рукомойнике, отчего у него полопалась шкурка и у меня его отобрали. Уже после войны я принесла домой маленького чёрного котёнка и назвала его Лавочкин. Но котёнок вечно попадал под ноги моему отцу, мама его невлюбила, и его пришлось кому-то отдать. Лишь теперь, совсем недавно в моём доме

поселился кудрявый бежевый песик по имени Казя – всеми любимый, дружелюбный, но весьма требовательный и ревнивый.

Сейчас, гуляя по родному городу, в котором мне посчастливилось прожить всю жизнь, я подхожу к домам, где были расположены квартиры моего детства, захожу в подъезды, дворы, гляжу на окна. За окнами нашей самой первой скромной квартиры на улице Марияс, которую я называла «Малиновской», всегда былолюдно, шумно – это была торговая улица. Помню, как, взобравшись на детский стульчик, чтобы достать до подоконника, я увидела процессию, движущуюся под звуки оркестра и барабанный бой и возглавляемую огромным, нечеловеческого роста чучелом, одетым в женскую одежду. Это было шествие отряда «Армии спасения» – весьма популярной в те годы благотворительной организации. Меня охватила ужас, и с криком «Бабаиха!» я отпрянула от окна. Не раз меня потом взрослые при непослушании пугали: «Вот придёт Бабаиха!», – и это действовало. В той квартире я запомнила длинную тёмную переднюю и коридор, где проходили чужие, казавшиеся тогда очень высокими, люди, при виде которых я путливо убегала в комнату, оклеенную тёмно-синими обоями. Это была спальня родителей, в которой спала и я, детской тогда не было. Во второй комнате стоял чёрный телефон и радио «Телефункен». Помню суматоху при переезде на новую, лучшую и большую квартиру в бельэтаже на тихой улице Алунана, в районе парков. Вещи завозили во двор и заносили в квартиру с чёрного хода, а я на высоком деревянном детском стульчике сидела на крыльце.

В детстве замечается каждая деталь в доме, а сейчас вспоминается лишь немного. Я хорошо помню все предметы массивного чернильного прибора на столе отца, из зелёного мрамора с бронзовыми медведжатами. Окна столовой выходили во двор, напротив высокой глухой стены; в любое время дня там было темно, и всегда включали электричество. Вокруг большого овального стола семья собиралась к обеду, сидели на дубовых стульях с высокими спинками. Стол всегда был сервирован нарядно, у приборов лежали белые салфетки в серебряных кольцах. Накрывала и подавала к столу прислуга, суп наливали серебряной разливной ложкой из большой белой фарфоровой супницы с крышкой. У окна на отдельном столике стоял деревянный красный музыкальный ящик с металлическим валиком в игольчатых пупырышках. Валик медленно вращался, и раздавались мелодичные звуки – нежная негромкая музыка. У стены стояло чёрное блестящее пианино с двумя бронзовыми подсвечниками по бокам. Сестра играла Шумана и Шуберта, а я – гаммы Ганона, этюды Черни, «Танец крестьянина» и «собачью польку». Я ходила на уроки музыки с чёрной квадратной нотной папкой с завязками по бокам и ручкой из витого шёлкового чёрного шнура. Уже в другой нашей квартире, последней предвоенной, в нарядной светлой гостиной стояло пианино из красного дерева с надписью «Беккер», а в кабинете отца висело большое деревянное резное панно, на котором были изображены две чёрные обезьяны, украшенные перламутровой инкрустацией.

Спальня родителей была маминого любимого розового цвета, мебель из карельской березы, два широких светло-коричневых табурета с выпуклой резьбой были из «розового дерева», как говорила мама. Мамины ночные рубашки были тоже розовые, шёлковые. У мамы было больное сердце – «грудная жаба», как тогда называлась стенокардия. Помню, как её осматривал приезжий врач из России, известный профессор Плетнёв, тот, которого потом, в тридцатые годы, расстреляли. В комнате сестры Диты в конце коридора были красные обои с пёстрыми попугаями. Там часто сидели её знакомые молодые люди, мне иногда разрешалось туда заходить, со мной разговаривали, сажали к себе на колени. Разница в возрасте – девять лет – тогда казалась огромной, а жизнь сестры – таинственной и недостижимой.

Цвет обоев в моей детской был голубым, со светлыми узорами, и я, лёжа в кровати, вглядывалась в эти узоры и находила там какие-то знакомые силуэты, пейзажи, лица. Эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Помню, топившиеся зимой, высокие белые кафельные печи с бапечками у потолка, камин с решёткой, маленькие аккуратные поленья берёзовых дров и чугунные щипцы. С этими тёплыми печами и солнечными морозными зимними утрами связано воспоминание об удивительном, ощущаемом только в детстве беспричинном счастье при наступающем выздоровлении после очередной болезни. Я переболела всеми детскими болезнями – корью, во время которой окна днём занавешивались плотными тёмными шторами, свинкой, запомнившейся вонючими ихтиоловыми компрессами на распухших желёзках, и ветряной оспой. В то время все очень боялись эпидемии детского паралича – полиомиелита, но это меня, к счастью, миновало. Детской болезнью скарлатиной я заболела уже после войны, будучи студенткой второго курса университета.

Постоянной угрозой моего детства была ангина: у меня были увеличенные воспалённые гланды. По этой причине запретной была мечта о мороженом – восхитительных белых, розовых и кофейных шариках между двумя вафельными кружочками. Особенно я мечтала о мороженом с изюмом и цукатами



под названием «Калифорния», которое подавали в кафе «Италия» в Старом городе, на Известковой улице. Взамен этого меня угощали взбитыми сливками в кондитерской на самой вершине Бастионной горки, называя это в утешение «тёплым мороженым». Гланды надо было удалять, и на первую в моей жизни операцию в частную клинику доктора Сникерса на улице Бривибас меня повели, дав предварительно твёрдое обещание, что впредь я смогу кушать настоящее мороженное. Помню операционное кресло, доктора в белом халате, блестящие инструменты в его толстых пальцах, холодный клеёнчатый передник на моей груди, тупую боль в горле, когда из моего широко раскрытого рта вытаскивали круглые кровавые куски и бросали в продолговатую овальную металлическую чашку, подвешенную под подбородком. На второй день мне принесли в палату мороженое. Но есть я его не смогла – было больно глотать. Так моя мечта о мороженом, осуществившись, утратила свою прелесть и исчезла вместе с удалёнными гландами.

Зимой в городе заливали катки, ярко освещённые по вечерам, там громко играла музыка в ритме вальса. Я училась кататься, держась за спинку кресла на полозьях. Недалеко от нашего дома в парке на Эспланаде в декабре возникал веселый рождественский базарчик, там продавались горячие, хрустящие и ароматные вафельные трубочки с взбитыми сливками, искрящиеся ёлочные украшения – серебряная канитель, хрупкие стеклянные шпильки для верхушки ёлки. Особенно запомнились сине-зелёная птичка с голубым хвостиком-кисточкой, грибок-мухомор с красной в белую крапинку шляпкой и разноцветные конфеты-хлопушки с блестящей бахромой, в которых можно было обнаружить маленькую игрушку. В серых шатрах располагались зверинец со львами и комната смеха с кривыми зеркалами, откуда постоянно раздавался дружный хохот. Легковые извозчики зимой возили пассажиров на санях с кожаным поломом. Сами они сидели впереди – толстые, огромные, в тёмных суконных пелеринах. Запомнилась краснолицая женщина-извозчик. Однажды я увидела её на улице пьяной. Сейчас мне кажется, что в те годы зимы были холоднее и более снежными нынешних – крепкий мороз проникал сквозь мои тёплые вязаные варежки и низкие фетровые ботинки с металлической пряжкой. Помню своё первое зимнее пальтишко – синее, бархатное с коричневым мехом и пелеринкой. Когда я из него выросла, пальтишко ещё долго лежало зимой на высоком подоконнике в уборной, чтобы не дуло из окна. Я очень ждала весну, когда, наконец, можно будет скинуть надоевшие за зиму рейтузы и шерстяные чулки...

От лета я всегда ждала чего-то прекрасного, какого-то необыкновенного, именно летнего чуда. В начале июня мы выезжали на дачу в Лиелупе. Прислута уже с утра отправлялась с вещами на грузовике, а мы с родителями, прежде чем сесть на дачный поезд, шли обедать в ресторан «Римский погреб», где подавали бульон со слоёными пирожками и витали аппетитные ароматы. Дачи были деревянные, их хозяева ежегодно готовились к приезду дачников, и там пахло свежей масляной краской. Помню, как в Лиелупе, на даче мирового судьи Неймана, где мы жили несколько лет, я кубарем скатилась вниз со свежеекрасочной ярко-коричневой деревянной лестницы, а внизу стояла мама с широко раскрытыми от ужаса глазами. В саду на шестах сверкали на солнце стеклянные зеркальные шары, цвели георгины, флоксы. Эти цветы были совсем другими, чем в городе, в цветочных магазинах, где было всегда влажно, душно и стоял густой запах роз, гвоздики, гиацинтов. Летом мы все – мама, Дита, я и мои кузины носили платья с немецким названием «дирндаклайд» – из тёмного ситца в мелкий пёстрый цветочек. Подол широкой, присобранной в талии юбки, квадратный вырез и короткие рукавчики на резинке были подшиты узким белым кружевом и отделаны сверху чёрной или тёмно-синей бархатной лентой.

На взморье были свои выходы к берегу сквозь дюнный лес – тропинки или деревянные мостки. На пляже до полудня были «мужские» и «женские» часы, когда можно было купаться и загорать нагишом. Мы приходили к десяти утра, когда мужчин на пляже уже не было, располагались на больших махровых простынях, загорали, купались, а когда «женское» время заканчивалось, на дюнах появлялись первые мужчины, все быстро надевали купальники. Мой маленький кузен Яша первым во всеуслышание объявлял о том, что идут мужчины, и тоже торопливо натягивал трусики. На берегу, у самой воды, мы строили замки, высокие башенки из песка. Это было так увлекательно, что я однажды даже укусила свою «фройляйн» за голый живот, когда та насильно пыталась увести меня с пляжа. Я любила спокойное море и особенно вечерний закат, когда солнце прямо садилось в гладь моря. Ощущения, связанные с морем моего детства, сопровождали меня потом всю жизнь, оживали на берегах Чёрного, Средиземного и даже Мёртвого моря, всегда напоминая родной Рижский залив, песчаный пляж, дюны, кустарник и высокие сосны.

На даче соблюдался строгий распорядок дня. После пляжа обедали, потом надо было полежать в постели, а часам к четырёх-пяти все дети отправлялись в лес, где были солнечные пригорки, полянки, покрытые прошлогодней хвоей, много черники, а из сосновых шишек, мха и вереска мы сооружали прелестные маленькие корзиночки. Лиловый вереск мы называли «эрика». Позднее, в годы юности, тот



же лес бывал и местом длительных походов за грибами, мне были знакомы все его тропинки и холмы до самого устья реки Лиелупе, впадающей в морской залив. Сейчас многое там изменилось и уже не найти той лавчонки, где нам отпускали в кредит кефир, бисквиты «Микадо», мармелад, записывая всё в маленькую синюю тетрадку. С годами летние забавы становились разнообразнее: играли в серсо, крокет, в мяч «фелкербал» между двумя командами, устраивали олимпиады, бегали к теннисным кортам подавать игрокам далеко укатившиеся твёрдые белые мячики. У всех были свои велосипеды марки «Липперт», «Латвелло», «Омега» или «Эренпрейс» с пёстрыми нитяными сетками на задних колёсах. По воскресеньям вокруг пожарной каланчи устраивались детские праздники. Там наперегонки скакали в мешках, соревновались в чистке картошки, танцевали под звуки духового оркестра... Я любила ходить к реке, но купаться мне там не разрешали, и я тоскливо бродила вдоль берега по зарослям тростника и подбирала дохлых рыбок, от запаха которых потом было не отмыть руки.

В детском летнем пансионе Берза, куда меня поместили, пока сестра Дита болела скарлатиной, по утрам давали какао и яйцо всмятку, а папа с мамой меня посещали и кормили в лесу крупной клубникой и крошащимся жирным кексом. В пансионе мы мастерили бумажные гирлянды и фонарики, ставили детский спектакль, в котором я была гномом и в длинном красном колпаке вместе с другими гномами гуськом шагала под музыку Грига. Одна девочка из старшей группы сказала потом, что я своего гнома играла хуже всех, и это меня очень задело. В июне, в самый разгар лета, когда вокруг все праздновали Лиго, был день рождения моего папы. Мне покупали нарядный картонный веночек с длинными разноцветными бумажными лентами, а отцу – большой дубовый венок.

В августе часто дождило, и большую часть времени я проводила за книжкой. Читать я научилась рано, по русской складной азбуке. Первые книжки запомнились картинками – сказки с рисунками художника Струнке, там было много ядовито-травянистого цвета. Книжка «Федорино горе» почему-то ассоциировалась с кружкой молока, а немецкая книжка о прокаженных Максе и Морице запомнилась изображением аппетитной жареной курицы. Книжки Лидии Чарской и Клавдии Лукашевич в твёрдых синих и зелёных переплётах с золотым тиснением, толстая книга Брема «Жизнь животных» с рисунками птиц и зверей и совершенно непонятная тогда книга под названием «Семь ликов озера Дива», связанная почему-то с романом «Ах, зачем эта ночь так была хороша...».

По возвращении с дачи мама брала меня с собой в город, где покупала на зиму много всего сразу – вязаные свитера, кофточки, в магазинах Лихмана и «Пека», тёплое трикотажное бельё у Файтельберга. Ещё мама заходила вместе со мной в магазины на улице Известковой – к Вайнерману и Кремеру за тканями, где ловко отматывал с рулонов шерстяные и шёлковые материи сам молодой Кремер с блестящими напыженными чёрными волосами. Рядом был магазин Ратфелдера, где продавались добротные кожаные изделия – чемоданы и сумки. Чтобы подобрать мех на воротник для зимнего пальто, ходили в магазин «Альбина». Все покупки потом приносил домой посыльный. В магазинах маму принимали очень услужливо, называли «мадам доктор Шац». В те годы одежду и бельё отдавали в чистку и стирку на фирму «Данцигер», имевшую много приёмных пунктов в городе.

Отношения с мальчиками меня стали занимать ещё до школы, мне тогда очень нравился сын нашего дворника Коля Тетерман. Как-то, гуляя с мамой, я попросила её заплатить за билетик, который вытаскивал из ящичка попугай-предсказатель: хотела узнать, как этот Коля ко мне относится. Дружила я со своим ровесником Осей Розенбаумом, отчаянным шалуном, который однажды летом рассёк мне бровь детской саблей, воюя с высокой крапивой. Настоящие маленькие кавалеры, красиво одетые и шаркающие ножкой, были в музыкальной школе Маевского, где меня учили играть на фортепиано и где сам Маевский за фальшивые ноты иногда бил по пальцам. Я участвовала в детском оркестре, мы исполняли «Детскую симфонию» Моцарта, в которой я на протяжении нескольких тактов извлекала звуки из металлического треугольника, а также дудела на дудочке: «Ку-ку, ку-ку». Оркестром дирижировал красивый мальчик Коля Нестеров, он нравился всем девочкам. Перед нашим выступлением в зале консерватории я сильно волновалась, но не столько за свою партию кукушки, сколько за свой внешний вид. Ведь среди нас там были и девочки-ангелы, в кружевах и с бантами в светлых кудряшках, а я чувствовала себя рядом с ними чересчур крупной и недостаточно изящной. Образцами тогда были киноактрисы – девочка Ширли Темпл, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Лиль Даговер, Паула Вессели. Мне очень хотелось иметь шляпку с полями «маленькая мама», как у Франчески Гааль и Дины Дурбин, но потом в детскую моду вошли синие пилоточки из «чёртовой кожи» с красным шотландским верхом, такие же синие курточки с ремешками и красные шотландские юбки в складку. В моде был жатый ситец «тобралко», незадолго до войны мне пошили из него несколько летних платьев, но только одно из них – красное в белый горошек, мне



удалось носить, оно было на мне, когда мы в начале войны пешком покинули Ригу. Надо сказать, что вопросы изящества меня тогда очень интересовали. Я вырезала женские фигуры из журналов мод, и мне нравилась девочка Бекки из книжки о Томе Сойере и Гекльберри Финне. В парке на Эспланаде играли в классы – прыгая на одной ноге, подталкивали впереди себя плоский камешек или стекляшку. Я не отличалась ловкостью, меня обычно обскакивали подруги. Ещё была весёлая игра «калимбамба». Дети, крепко сцепив руки, становились в две шеренги друг против друга на некотором расстоянии. Из одной шеренги хором кричали: «Калимбамба!». Из второй также хором спрашивали: «На что слуга?». На это следовал ответ кого-то из мальчиков: «На пятое-десятое Мусю сюда!». И счастливая Муся, понимая, что выбор этот означает симпатию именно к ней, а не к другой девочке, мчалась со всех ног, чтобы прорвать сцепленные руки стоящих в противоположной шеренге, и, запыхавшись, стать в шеренгу на месте прорыва, рядом с тем, кто её избрал. Вызов продолжала вторая шеренга, и каждый раз сердце замирало от ожидания услышать: «На пятое-десятое, Рута сюда!»...

Одно из ранних романтических переживаний, при которых впервые сладко «ёкало» в груди, – это мальчик из соседней школы, сын мужского портного, живший неподалёку от нас, по фамилии Болотников. Его постоянно сопровождал в качестве личного адъютанта маленький юркий мальчишка Иоффе. Они часто звонили мне по телефону с улицы и звали гулять. Монетку они в автомат не опускали, а кричали в верхнюю, слуховую часть телефонной трубки, и было слышно. Позже, уже перед самой войной, когда мне было четырнадцать лет, у меня был первый детский роман со светлоглазым белоголовым мальчиком Виктором Лоренцом, с которым мы навсегда остались друзьями, и он потом до конца своей жизни игриво представлял меня окружающим: «Это моя первая любовь». В то время мы, держась за руки, сидели рядышком в кино, и все вокруг знали, что Рута и Виктор – парочка.

Главным моим занятием в отрочестве было чтение. Интерес к чтению мне прививали целенаправленно. Помимо книг, мне дарили различные «интеллектуальные» игры. Самой увлекательной игрой был «Литературный квартет». На игральных картах были изображены портреты известных русских писателей и названия четырёх их произведений. Выигрывал тот, у кого в результате оказывался на руках весь набор произведений одного из этих писателей. С тех пор я и запомнила, что Державин написал «Оду Фелице», Карамзин – «Бедную Лизу», Фонвизин – «Недоросля», Грибоедов – «Горе от ума», Некрасов – «Кому на Руси жить хорошо», а Лев Толстой – «Бог правду видит, да не скоро скажет». Ещё в отрочестве после «Робинзона Крузо», «Путешествия Гулливера» и «Хижины дяди Тома» я тайно, пряча под подушку, читала пухлые романы Мопассана и даже «Яму» Куприна. Книги эти вызывали жгучее любопытство, но не было понимания их сути. «Республика Шкид» Пантелеева, «Конduit и Швамбрания» Кассиля, «Танкер Дербент» Крымова были увлекательным чтением, и я наслаждалась им. Позднее я поняла, что, овладев привычкой читать, я обеспечила себе убежище от многих мирских тревог, не создав, однако при этом какого-то своего, нереального мира, который позднее мог бы стать источником горьких разочарований. Благодаря книгам я никогда не ощущала одиночества. Уединение с книгой стало для меня естественным состоянием. Читая в отрочестве, я овладела способностью жить осознанно, находя мысли, становившиеся частью меня, узнавая при этом себя. До сих пор помню, как после чтения увлекшей меня книги, я задумалась над смыслом слова «Я», пытаюсь при этом всё глубже и глубже заглянуть в себя, повторяя: «Я, своей собственной персоной, что это такое?». Заглядывать в самые глубины, в бездну своего собственного «Я» было страшно в то время, да и сегодня страшно тоже.

Чтобы полнее осознать себя, нужен был опыт общения, который пришёл ко мне вместе с посещением моей первой школы. Переход из своей собственной детской в школьный класс был нелёгким. Я тогда говорила только по-русски, а меня решили определить в латышскую школу, чтобы я в дальнейшем не чувствовала себя чужой в своей стране. Это была Первая рижская основная школа имени Залитиса, расположенная на бульваре Калпака, напротив здания Коммерческого училища (ныне Академии художеств). Привели меня впервые в школу почему-то не в самый первый день занятий. На мне ещё не было форменного платья, я не понимала, о чём говорили все остальные, уже перознакомившиеся между собой дети, и, хотя красивая сероглазая классная дама Озолина приняла меня с приветливой улыбкой, я вдруг впервые в жизни почувствовала себя одинокой и потерянной. Мне не сразу показали моё постоянное место в классе, и я сама робко под села на край скамейки первой парты к коротко остриженному темноволосому мальчику, у которого, помню, была маленькая круглая проплешина за ухом. Мальчишки меня тут же вытеснили с этого места, медленно, но дружно двигаясь к краю парты. Я пересела на указанное мне учительницей место рядом с некрасивой веснушчатой польской девочкой Люцией Крыжановской.



Именно в школе я впервые остро ощутила своё отличие от других детей, хотя было желание быть вместе со всеми, быть как все. Причина была не только в незнании латышского языка, ему я научилась быстро. Дело было в том, что из всех детских организаций, существовавших в то время, – скаутов, гайд, мазпулков, где дети, облачённые в зелёную или серую форменную одежду, ходили на сборы и интересные занятия, дома мне разрешили вступить только в юношеский Красный Крест. И я с гордостью носила миниатюрный белый круглый эмалевый значок с красным крестиком. Во время урока Закона Божьего мне как не христианке разрешалось уйти из класса, но можно было и послушать, сидя на своём месте. По утрам перед началом уроков в большом актовом зале с блестящим паркетом проходила общая молитва и пение, в этом я участвовала. Не помню, чтобы дети ко мне относились плохо, я охотно танцевала с ними вместе латышские народные танцы, пела латышские песни, посещала вместе с классом перед началом учебного года богослужение в Домском соборе, где с высокой кафедры произносил свою проповедь лютеранский священник. Праздновала со всеми Рождество и Пасху, получала подарки – шоколадных зайцев и яйца с вкусной начинкой, называвшейся тогда «миньон». В дни государственных праздников мы ходили смотреть, как вдоль тротуаров зажигают маленькие плашки, наполненные парафином.

В первых классах не было принято брать с собой из дому бутерброды. В школе была просторная чистая кухня, где готовили горячую еду. Из полуподвального помещения кухни доносились аппетитные запахи, и хотя большинство детей были из состоятельных семей, все охотно ели то, чем кормили в школе. На Мартынов день всегда подавали кусочки жареного гуся с тушёной капустой, любила я и школьные котлеты с гарниром из морковки с зелёным горошком, хотя дома я этого гарнира обычно избегала – была избалована.

Директором школы была Сауле-Слейне, невестка известного лингвиста, профессора Эндзелина. Своих преподавателей мы читали, даже боготворили, казалось, вокруг чела у них светился золотистый нимб святости. Учителям никто не смел перечить, они были абсолютными властителями в классе. У нас был замечательный учитель пения, известный дирижёр по фамилии Милзарайс, что в переводе с латышского означает Пахарь-великан. И его внешность вполне соответствовала фамилии: он был молод, высок и могуч. Лучше всех из нас пела Валда Лапина – тихая девочка с аккуратными тонкими косичками, её голос звучал божественно. Я встречала её потом, спустя много лет, к моему удивлению, певицей она всё же не стала. Помню и других девочек, у которых я бывала дома. Ария Силарая – красивая, светлокудрая, из состоятельной чиновничьей семьи, их квартира со сверкающим паркетом и полированной мебелью красного дерева находилась в одном из роскошных домов на улице Альберта. Однажды я была приглашена на день рождения к Айне Цируле, дочке начальника пожарной команды. Их скромная, но чистенькая квартира была расположена в здании, где работал её отец, под пожарной каланчей. В моих глазах Айна была идеалом привлекательности и красоты, это был ребёнок с ярко выраженными уже тогда чертами женственности, все мальчишки нашего класса её боготворили. Из мальчиков мне запомнились трое: Гунар Граудс – сын богатого судовладельца, высокий, розовощёкий, смазливый; Таливалдис Даненбергс – белёсый, с чрезвычайно светлокочим лицом, худыми руками и длинными ногами; маленький, юркий Юрис Пукше. Была ещё девочка Зигрида Вундерлих, кажется немка, она жила на улице Элизабетес в семье знаменитого композитора Язеп Витола. Дочь Яниса Розе – известного издателя и книготорговца – Айна Розе была чрезвычайно скромна и застенчива, такой же она осталась, и, пройдя ссылку в Сибирь, работая преподавателем искусства керамики в Академии художеств. Почти все девочки и мальчики из нашего класса были перед началом войны сосланы в Сибирь, а их отцы – расстреляны или загублены в лагерях.

Из событий всех моих школьных лет мне больше запомнились мои неудачи, чем удачи, запомнился страх перед посещением некоторых уроков. Чтобы добиться успехов в учёбе, хорошая память важнее способностей ума, а с памятью-то как раз у меня бывали трудности. Я была забывчива, с трудом запоминала даты и факты истории, их последовательность, тексты, которые следовало выучить наизусть, была слаба в арифметике, а затем в математике, геометрии и тригонометрии. К тому же писала я некрасиво, что было постоянным источником переживаний; ненавидела перья «рондо», которые надо было вставлять в ручку, и почерк у меня на всю жизнь остался скверным. Страх перед уроками был связан с постоянным ожиданием неизвестного и неприятного, того, что вторгалось в мой привычный уютный детский мир. Думаю, что потребность творить, выражать себя сформировалась у меня не в школе, а дома. В школе же выработался навык всё принимать чересчур всерьёз, как других, так и саму себя, мне не хватало лёгкости, простой детской улыбочности. Запомнились отметки в тетрадях – красные двойки, тройки, четвёрки, изредка пятёрки с минусами и плюсами и короткой подписью учителя в конце. В



школе страдало моё детское честолюбие: дома меня считали очень способной, даже талантливой, а в школе – средней. Но именно тогда выработалась привычка приспособлять свою индивидуальность к окружающему миру, ощущать связь с коренным народом страны, его языком, культурой, традициями. Опыт, который я приобрела в своей первой школе, мне впоследствии очень пригодился.

С детства мне нравилась школьная форменная одежда, она как бы уравнивала меня с остальными. Мы тогда носили тёмно-синие шерстяные платья, белые воротнички и чёрные передники, чёрные бархатные береты с серебряной окантовкой и значком своей школы. Ученики средних школ носили синие бархатные береты с золотой окантовкой. Но, возвратившись домой из школы, я всегда с облегчением снимала форму и окуналась вновь в свой привычный, милый сердцу домашний мир. Со двора доносились звуки шарманки, грустные, заунывные мотивы песен «Как умру я, умру я, похоронят меня...» и «Маруся отравилась...». Шарманщик запрокидывал назад голову, и ему сверху из окон бросали монетки. После школы я любила бродить по осеннему парку, по осыпающимся жёлтым и красным листьям, собирать жёлуди и блестящие, коричневые, вылупившиеся из лопнувшей толстой зелёной пупырчатой кожуры, каштаны.

Иногда, после того как я приготовила уроки, взрослые брали меня с собой в кино. Первое наиболее яркое впечатление – знаменитый цветной американский музыкальный мультфильм Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов». Под хохот зала я смотрела смешные «Пат и Паташон», «Новые времена», а позднее – лирические «Большой вальс» с Милицей Корьюс и «Бургтеатр» с Мартой Эггерт. Кино я полюбила с детства, от каждой новой картины ожидала чуда, и это осталось на всю жизнь. В театр меня водили нечасто, главным образом на дневные детские спектакли, и это каждый раз было торжественным событием. В оперном театре доминировал тёмно-вишнёвый цвет – бархатные сиденья кресел, парапеты балконов, тяжёлые занавеси. И огромные, нарядные, медленно гаснущие люстры. Запомнилось посещение оперы «Евгений Онегин», почему-то особенно понравилась сцена в саду у Лариных. Мы пришли в Оперу всей семьёй, и наши места были «в паркет» – так назывался в те времена партер. В Риге был немецкий театр, и там я смотрела занимательную пьесу Эриха Кестнера «Эмиль и сыщики». Несколько раз меня водили в еврейский театр на улице Сколас, где гастролировала знаменитая труппа «Габима». Шла мистическая пьеса «Дибук» – о том, как злой дух вселился в душу прекрасной и кроткой молодой девушки и превратил её в злобную фурию. Меня напугал и зловещий образ ведьмы по имени Бобе Яхне, которая угрожающе приплясывала, поддерживая свой чёрный балахон и подпевая себе. Эту ведьму я потом не раз видела во сне и каждый раз просыпалась с испугом. Этот театр мне запомнился ещё и тем, что сразу после окончания спектакля вся публика ринулась вниз по лестнице в гардероб, и служащие театра с усилием сдерживали напор толпы бархатными верёвками. Такой же способ приостановить сплошной поток стремящейся к гардеробу театральной толпы я спустя десятилетия увидела в Москве, в Кремлёвском дворце съездов, после окончания балета «Лебединое озеро» с участием Майи Плисецкой.

С годами я становилась смелее, но моя самостоятельность, сформировавшаяся одновременно с посещением первой школы, была и результатом пережитого мною шока – оторванности от дома. Возникла иная самооценка: неуверенность в себе и недовольство собой. Дома же я творила, и это был выход моей бьющей через край детской энергии, моё самоутверждение. Помню состояние восторга, чувство обещанного мне судьбой прекрасного будущего, когда я, следуя внутренней потребности, садилась писать свои детские стихи. Я не помню, чтобы кто-нибудь из моих сверстников тогда тоже писал стихи, и в этом была моя особенность – все знали: «Рута пишет стихи». Помню, что в душе моей постоянно звенела какая-то музыкальная нота, и я прислушивалась к ней. Теперь я понимаю, что это был поиск внутренней гармонии, того, что составляет цель всякой жизни и к которой стремятся все люди – осознанно или неосознанно, успешно или безуспешно.

Когда мне минуло двенадцать лет, отец подарил мне отпечатанный на машинке сборник моих первых стихов, названный им «Всходы», со своим предисловием, в котором были и такие слова: «Первая дюжина годиков – лепечущих, топчущих, почемующих. В глубине подсознания дремлет опыт многих поколений и говорит устами ребёнка...». В сборнике стихи помечены годами, и сейчас я с удивлением читаю написанное мною в девять лет стихотворение «Любовь»:

*Люблю тебя, как свет во тьме.
И где лишь шаг,
Твоё лицо встает передо мной во мгле,
Твой голос мне мерещится во сне.
О, воротись ко мне!*

Какие импульсы, какие впечатления могли так поразить детское воображение, чтобы в девять лет написать такое... Шло моё духовное созревание, плоды его были своеобразны, в стихах отражалась и природа, и разговоры в доме, общий фон жизни конца тридцатых годов. Я слышала, о чём говорят родители, проникалась их заботами и тревогами и писала стихи. Я извлекала из себя какие-то новые, неведомые мне качества, была интересна самой себе, и это было счастьем. Возможно, это пример того, как при помощи детских мозгов природа пытается познать самое себя. Вот стихотворение, которое я посвятила маме:

*Видела ли ты закат солнца
На берегу далекого моря?
Видела ли, как солнце медленно, медленно тонет,
Видела ли, как небо красным заревом загорается?*

Видела ли ты всё это?

*Видела ли ты время, когда день сменяется ночью,
И когда тени ложатся на всю, всю природу,
Когда всё в природе стихает, в глубокий сон погружается,
С земли туман встаёт и медленно вверх поднимается?*

Видела ли ты всё это?

*Видела ли ты утро, когда солнце встает, загорается,
И когда всё в природе холодной росой омывается?*

Видела ли ты всё это?

*Видела ли ты жаркий полдень солнечный,
Когда приятно так в воду моря погрузиться
И от жары полуденной освежиться?*

Видела ли ты, видела ли ты всё это?

И ещё одно стихотворение начиналось печально:

*Расцвести и увясть,
Аромат сладкий дать,
Показать красоту
И упасть в темноту –
Такова судьба роз.*

Надвигавшийся тогда фашизм отразился в моём детском творчестве стихотворением о Гитлере, датированном августом 1938 года. Оно заканчивалось так:

*Но скоро он узнает
Программу наших дней,
Тогда уж пусть пеняет
На глупость своих целей!*

Стихи я потом время от времени писала и в юности, и в молодые годы. Я вообще любила поэзию, читала много стихов, наслаждалась ими. Но потом я ушла от своих стихов, от поэзии, как не раз уходила сама от себя, резко меняя свою жизнь. Но и сейчас, когда слушаю стихи Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Бродского, я испытываю своего рода физическое наслаждение, однако вдумываться и понимать их смысл мне порой кажется необязательным.



Из детского творчества можно, по-видимому, сделать вывод о тех или иных врождённых способностях человека. Думая сейчас о достигнутом мною на протяжении жизни, я могу сказать: даже тогда, когда мне приходилось вынужденно заниматься тем, к чему у меня не было склонности, я и в эту свою деятельность пыталась привнести творческое начало. Мне всегда надоедало всё, кроме творчества в разных его формах, и это – от моего детства. Не каждому в жизни удаётся разгадать свои истинные знаки, своё предназначение и следовать ему. Не удалось это в полной мере и мне, так сложилась жизнь, таково было время, в которое я жила. Ведь программа навязывалась извне, самой жизнью. Бывали у меня и взлёты, и падения интереса к тому, чем я занималась, но каждый раз я оказывалась обогащённой каким-то новым опытом творчества.

Жизнь моей старшей сестры Диты во многом отличалась от моей, да и самое начало её жизни было иным. Наши родители познакомились и поженились в Киеве в 1918 году, и там же в ноябре родилась Дита. Отец сразу по окончании Гражданской войны вернулся в Ригу, мама последовала за ним лишь спустя год, а Дита осталась в Киеве у бабушки, которая по-своему воспитывала её до трёх лет. К родителям Диту привезла ставшая впоследствии известной Лиля Юрьевна Брик, пассия Маяковского, которая по пути в Париж заезжала к своим родственникам в Ригу.

Читая сейчас множество воспоминаний о Лиле Брик, я, к своему удивлению, нахожу в ней много сходства с моей сестрой. Та же всесторонняя одарённость, склонность к изобразительному искусству, некоторые черты характера и внешнего облика. Дита была хороша собой, особенно в молодости, она излучала своеобразную чувственно-эротическую привлекательность – то, что можно назвать сексапильностью. Женственность её была активной. Если ей кто-то нравился, она без труда заводила роман, и никакие обстоятельства, никакие условности не могли её остановить.

Дита была находчивой, обладала острым, цепким, хотя и не очень глубоким, умом и, в отличие от меня, прекрасной памятью. В юности Дита была довольно неряшлива, беспорядку в её шкафу даже посвящено одно из моих детских стихотворений:

*...Весь шкаф похож на поле битвы,
Где беспорядок победил,
И аккуратность и порядок
Чулочной кашей угостил.*

*...Там панталоны на рубашке,
А под рубашкой просто тьма:
Костюм купальный вместе с пружинкой
Под руку пляшут гопака...*

Однако позднее, уже в замужестве, Дита чудесным образом преобразилась и – стала большой аккуратисткой, даже педанткой, расчётливой и придирчивой. Она была очень музыкальна, играла на рояле с большой внешней выразительностью, картинно поводя плечами. Когда она была ученицей последнего класса гимназии, мать взяла её с собой в Вену, и там в неё влюбился сын папиного друга Юлиус Горский. Юлиус приезжал в Ригу, Дита ездила к нему в Вену, но их браку воспрепятствовала мать Юлиуса: ей Дита чем-то не понравилась. Окончив гимназию, Дита обучалась моделированию одежды, искусству шить лайковые перчатки, ещё чему-то прикладному. Её склонность к искусству, способности, а также романтические приключения в кругу рижской «золотой молодежи» побудили родителей увезти её в Париж, где она училась в известной школе прикладного искусства Колена. В Париже жила одна из маминых сестёр, Клара, тоже очень привлекательная, яркая женщина, обладавшая большим художественным вкусом. Кроме того, Диту взялся там опекать друг родителей – известный скульптор Наум Львович Аронсон, приезжавший до этого к нам из Парижа погостить.

К тому времени среди поклонников Диты уже был её будущий муж Натан Багт – сын весьма состоятельных рижан, переселившихся в 1939 году в Швецию. Дита уезжала в Париж вместе с мамой, а Натик, проведив их вместе со всеми на рижском вокзале, незаметно сам сел в поезд и был рядом с Дитой до самой государственной границы. У Натика тогда уже был свой легковой автомобиль, что в те годы было редкостью. Помню, что мама, да и сама Дита очень радовались предстоящему браку, и осенью 1939 года меня отпустили с уроков, чтобы я могла присутствовать при торжественном бракосочетании. Свадьбы не было, был лишь праздничный обед, а затем молодые уехали в Таллин, куда для встречи прибыли



из Швеции родители Натика. Когда Дита вернулась из Таллина, у неё на безымянном пальце левой руки было массивное платиновое кольцо с крупным бриллиантом – подарок родителей Натика новой невестке. Дита ушла жить к мужу – в большую квартиру его собственного дома на Карловской улице, вблизи вокзала. Я иногда приходила туда, где, помню, ела компот из консервированной белой черешни, впервые в жизни попробовала сладкий жёлтый банановый ликёр, который наливали из пузатой бутылки в маленькие пузатые стаканчики, слушала граммофонные пластинки с записью увертюры к опере «Севильский цирюльник» и немецкую песенку «Адьё, мой крошка, гвардии офицер, адьё...». Но я не очень любила бывать у Диты. Если раньше дома она часто подтрунивала надо мной и даже дразнила, то теперь, став уже не только старшей, но и замужней сестрой, подавляла меня своими требованиями и нравочужениями.

В годы войны, когда мы все оказались в эвакуации в Казахстане, Натика призвали в трудовую армию – на карагандинскую шахту. Съездив однажды к нему, и увидев его в тяжёлой обстановке, к которой он с трудом приспособился, Дита заявила, что больше не любит его и жить с ним впредь не станет. Она работала костюмершей на Алма-Атинской киностудии, у неё было много известных поклонников, среди которых были и Михаил Зощенко, и киноактер Андрей Абрикосов. Когда я с родителями уехала из Алма-Аты в Москву, Дита сошлась с одним из высокопоставленных алма-атинских чиновников, который потом поехал за ней в Ригу, где она и его с лёгкостью бросила. Вскоре из Караганды вернулся Натик, который, бесконечно и преданно любя Диту, всё ей простил, и они снова стали жить вместе. Натик был талантливым инженером, энциклопедически образованным человеком, любил природу, музыку. Обычно он был молчалив, лишь изредка раскрывался в разговоре на интересную ему тему – чаще всего с моим отцом. Он умер рано, в 56 лет, а Дита спустя год снова вышла замуж. Она всегда умела сохранять идиллию в семейных отношениях, была отличной хозяйкой, эстетика её жилища была эталоном для многих. Всегда со вкусом одетая, с изящными украшениями на красивых ухоженных руках, она обладала большим личным обаянием и общительностью, что позволяло ей завязывать дружеские, доверительные отношения со многими людьми.

После войны Дита окончила искусствоведческое отделение филологического факультета, стала художественным критиком, выступала в печати, входила в актив Союза художников, поддерживала дружбу с широким кругом людей искусства. Помимо русского, латышского и идиша, она свободно, без акцента говорила на немецком, на английском и на французском языках. Прекрасно ориентировалась в политике. Дита не была членом партии, и порой у меня возникали мысли о том, что, помимо её личных достоинств, место в обществе обеспечивается ей кем-то или чем-то, недоступным тогда моему пониманию. Тайна эта раскрылась мне лишь в феврале 1953 года, тотчас после ареста наших родителей органами госбезопасности. Когда отца и мать ночью увели в «страшное никуда», и мы остались дома одни, Дита в ужасе схватилась за голову и воскликнула: «Я должна немедленно бежать туда!». Тогда она и поведала мне о своем многолетнем секретном сотрудничестве с органами государственной безопасности. Началом этому послужило её романтическое знакомство в Париже, незадолго до начала Второй мировой войны с импозантным офицером – то ли французом, то ли англичанином. Она рассказывала ему о жизни в Латвии, политической и культурной атмосфере в этом «буферном», как тогда говорили, государстве, и он, будучи, по-видимому, советским разведчиком, предложил ей сотрудничество, связанное с их общими симпатиями к Советскому Союзу. Дита вернулась в Ригу, вскоре туда вошли советские войска, сменилась власть, с нею тотчас были установлены контакты и уже в свои двадцать два года она стала директором рижского детского кинотеатра – своеобразного очага культуры, клуба, где собиралась тогда творческая молодежь. А уже в самом конце войны, когда мы ещё были в эвакуации, Дита одна из первых по специальному вызову вернулась в Ригу, где возглавила Художественный фонд.

С самого начала сферой её осведомительской деятельности была творческая интеллигенция, в том числе сбор подробнейшей информации об окружении нашего отца, о разговорах в нашем доме, встречах, настроениях, зарубежных контактах. Эта информация, естественно, одновременно перепроверялась и по другим источникам. Сведения, сообщаемые Дитой, в её понимании вовсе не содержали криминала – в доме обсуждались тогда перспективы возрождения еврейской культурной жизни в Латвии. Но именно это было в дальнейшем расценено и вменено в вину отцу и матери как активная антисоветская и контрреволюционная деятельность, как еврейский буржуазный национализм. Арест родителей был для Диты страшным ударом. Она рассказала мне, что в обстановке происходивших в те годы повальных арестов еврейской интеллигенции ей постоянно гарантировали безопасность отца в обмен на интересовавшую органы информацию, спекулируя её привязанностью к родителям, её чувствами. После того



как родителей забрали, с нею были прерваны все прежние контакты. Хлопоты об их судьбе стали моим делом – я ездила в Москву, чувствуя за собой слезку, тщетно пыталась что-либо выяснить, и была тотчас отчислена из адвокатуры, где тогда только начиналась моя трудовая деятельность. Вскоре умер Сталин, и после реабилитации в Москве «врачей-убийц» родители были отпущены на свободу с неопределённой формулировкой: «за недостаточностью доказательств». Нетрудно себе представить, что было бы с нашей семьёй, не изменись обстоятельства. Спустя сорок лет я получила возможность ознакомиться с «делом» родителей. Я поняла, что отца в то время готовили к расстрелу, как «главаря антисоветского контрреволюционного еврейского буржуазно-националистического центра в Прибалтике». Репрессированы были бы, несомненно, все его ближайшие родственники, в том числе и Дита, тем более, что в подобных обстоятельствах многих секретных сотрудников ликвидировали как нежелательных свидетелей. Думаю, что она тогда понимала и свою обречённость.

После расстрела Лаврентия Берии и смены руководства органов госбезопасности с нею вновь были установлены контакты. А в её отношениях с родителями появилось нечто новое – постоянная болезненная и даже, как мне казалось, демонстративная забота, беспокойство, суета вокруг их жизни, тревога об их самочувствии и благополучии, но в то же время и нередкие нервные срывы в общении с ними. В шестидесятые годы Дита вместе со своим мужем неоднократно навещала его родных в Швеции и Америке, получала от них посылки, дорогую одежду. После смерти Натика она самостоятельно совершила большой вояж по Европе, встречалась там со многими людьми, хотя в те годы заграничные поездки были доступны весьма ограниченному кругу лиц. В связи с этим среди знакомых то и дело возникали разговоры о принадлежности Диты к осведомительству. Но вскоре обстоятельства снова изменились, и после второго замужества Дите в поездках за границу стали категорически отказывать, несмотря на её настойчивые просьбы и жалобы во все инстанции. Она была очень удручена этим, нервничала. Думаю, что мысли о прошлом угнетали Диту и способствовали её преждевременному уходу из жизни. В возрасте шестидесяти двух лет Дита скончалась от рака груди.

У меня с сестрой были сложные отношения, порой добрые, доверительные, порой с примесью взаимного неприятия. Мы были очень разными, но я любила её и горько оплакивала её кончину. Особенно остро я ощутила её отсутствие, когда умерла мама, и из всей семьи я осталась одна, наедине с моими воспоминаниями о прошлом.

ШОН МАКЛЕХ ПАТРИК

в переводах Семёна Абрамовича (г. Одесса)

Родился в Дублине (Ирландия) в 1915 году и почти всю жизнь прожил в этом древнем и сказочном городе – Тёмной Гавани (кроме нескольких лет скитаний). Хотя мои родители родом из города Леттеркени (графство Донегол). За свою жизнь перепробовал множество профессий – был моряком, грузчиком, поваром, продавцом пива, уличным музыкантом, дворником, учителем географии, фермером, водителем велосипеда, проповедником истины, искателем сокровищ, помощником археолога, пожарником, кондуктором, журналистом, газетчиком, лавочником. На старости лет, насобирал немного денег, отдыхаю от трудов праведных. Занимаюсь литературным творчеством. Английским языком – языком этих пришельцев *sassenach*, которыми до сих пор захвачена часть моей страны, мне писать не с руки. Решил писать стихи на русинском языке (*в настоящее время в Украине русинский язык считается диалектом украинского языка – прим. автора переводов*). Этому языку меня научил один русин, попавший в Ирландию ещё в 1922 году из Канады – бывший воин первой мировой войны. Кроме этого, моя заинтересованность русинским языком объясняется ещё и тем, что в соответствии с древними ирландскими легендами предки ирландцев прибыли на Остров Судьбы из Руси – с берегов Борисфена, из старой и седой Скифии. Кроме русинского языка использую для поэтического творчества наш ирландский язык – гелтахт. Пишу в разных жанрах, но лирики почти никогда не писал – мои корни всё-таки из Донегола, а это Улад. Лирики приходится писать всё же жителям Мунстера. Хотя все ирландцы чудаки и как писал Зигмунд Фрейд: «Ирландцы – это единственный народ, который не поддается психоанализу», чудаком себя никогда не считал. Я им был.

Шон Маклех Патрик

СЕРЕД НЕІСНУЮЧОГО

*Дні мої, мої дивні діти,
Відав вас вольній волі...
Майк Ґюгансен*

Луна засипаних криниць
Мені кричить услід – мені, старому,
У небо дивлюсь впавши долілиць
І п'ю з хмарин важких прозору воду.
Я спочиваю у тіні дерев, які ще не зросли,
Які обабіч шляху ще не виткнулись з землі,



З блискучого насіння ще й не проросли,
 І дивлюсь на істот, що вуха чималі
 Не виставили з хащів кропиви
 Глухої, як і мій нещасний край.
 З минулого ведуть мої сліди –
 Грай, конику трави, свої катрени, грай!
 Я – «вічний жид» – блукаю в пошуках води
 Живої – в сьогоднішній заблукав,
 Але живу в майбутньому –
 Серед його віршів, його заграєв.
 Мій костур тріснув і дірявий плащ
 Та я апостол. Серед темних хащ
 Пророчу равликам про їх Армагеддон,
 Про Будду зайчиків і про метеликів закон
 І дивлюся, як з хворої землі
 Замість зела й трави
 Ростуть ножі
 Ростуть...

СРЕДИ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО

*Дни мои, мои дивные дети
 Отдал вас вольной воле...
 Майк Гюгансен*

Эхо засыпанных криниц
 кричит мне вслед – мне, старику.
 Вззираю в небо, упавши ниц,
 из туч тяжелых воду пью.
 И почиваю в тени древ,
 древ, непроросших вдоль пути,
 древ, невзошедших из земли,
 в которой семя их лоснится,
 смотрю, чтоб образы существ,
 свои не выставили уши
 из зарослей крапив глухих,
 как край бездольный дальней суши.
 Из прошлого ведут мои следы.
 Кузнечик трав, играй и пой катрены.
 Я – «вечный жид», песчинка во вселенной,
 скиталец в поиске её живой воды.
 Плутая в нынешнем, живу в грядущем,
 среди его стихов, влекущих зорь его.
 Мой посох треснул. В плаще изорванном
 апостол я. Среди темных зарослей
 улиткам я пророчу об Армагеддоне,
 о Будде зайчиков и бабочек законе.
 Смотрю, как из земли болезной,
 не зелень тянется, а вместо трав растут,
 растут – ножки.
 Растут...



СЛУХАЮ ТИШУ

*...Аяжу
Вухом до зашморгу
До тиші припавши
Уважно послухаю
Ту землю примарну...
Шеймас Гіні*

Липається
Слухати тишу
Коли все проминуло,
Коли тільки земля
Шепоче тобі
Твоє забуте ім'я.
Ми так любили
За цю землю вмирати,
Ми так любили
Оці високі шибениці,
Оці грубі зашморги,
Що так пасували нам
Замість краваток,
Ми танцювали
На цій землі
Свої божевільні танці,
Витанцювуючи ритм
Чогось потойбічного:
Може самої смерті.
А чужинці тим часом
Нам майстрували шибениці
З наших таки ясенів,
І от все примарне:
Літописи і тіні повстанців
Давно полеглих,
Існуючих тільки в пам'яті,
Забуті звуки й пісні
Нашої таки мови – гельської,
Як примарно все
Серед трилисників конюшинових:
Навіть наша земля
Стала примарою...

СЛУШАЮ ТИШИНУ

*...Аягу
Ухом к петле
Припав к тишине
Почитаемую послушаю
Ту землю призрачную...
Шеймас Гіні*

Остается
слушать тишину
когда всё минуло,
когда только земля



шепчет тебе
 твоє забытое имя.
 Мы так любили
 за эту землю умирать,
 мы так любили
 эти высокие виселицы,
 эти грубые петли,
 что так подходили нам
 вместо галстуков,
 мы танцевали
 на этой земле
 свои сумасшедшие танцы,
 вытанцовывая ритм
 чего-то потустороннего:
 может быть, самой смерти.
 А чужаки в это время
 мастерили нам виселицы
 из наших же ясеней,
 и вот всё призрачно:
 летописи и тени повстанцев,
 давно polegших,
 существующих только в памяти,
 забытые звуки и песни
 всё же нашего языка – гэльского¹,
 как призрачно всё
 среди трилистников клеверных:
 даже наша земля
 стала призраком...

¹ Шотландский, гэльский, или (устаревшая передача) гэльский язык (самоназв. Gàidhlig; англ. Gaelic, или Scottish Gaelic) – один из представителей гойдальской ветви кельтских языков.

ЗИМОВИЙ ВИНОГРАД

*Може й справді вся правда – мить,
 Мертві факти й безсмертні міти...
 Євген Плужник*

Визирнувши за вікно, я побачив гроно винограду, яке так і не достигнувши, замерзло під час першого нічного приморозку. Я подумав, що воно нагадає мені ірландських поетів початку ХХ століття, які так і не написавши своїх віршів полягли під час ірландського повстання 1916 року. І я подумав, що зимові дні в Дубліні завжди були сумними і меланхолійними відколи ірландців тратили під ногами землю і навчилися придумувати такі приказки як: «Високої тобі шибеніці у вітряний день!» або «Що в Коннахт, що в пекло!». І тоді я подумав, що зима 1917 року у Дубліні була такою ж сумною і безнадійною як і цей замерзлий кислий виноград за вікном і написав таке:

Спустошує холодний вітер слів
 Мій Дублін сірий і мою кімнату
 Збудовану з думок і світла ліхтарів.
 Я істину намалював строкату
 Між чайником і маривом Стожар,
 Мій кіт нудьгує, за мізерну плату
 Сізіф тутешній на імення Болівар

Тобі догляне твій нікчемний сад,
 А під небесним дивом Оріона
 У снах твоїх дозріє виноград
 І глек наповнить трунком Посейдона
 (Бо море теж п'янить), і бідний харизмат
 (Гой що студент і схимник) з білого сервізу
 Візьме горня. Попросить в Бога візу
 На тиждень-другий у банальний рай.
 Він каву поважає. Хліб розкрай,
 Бодлера прочитай отрути повний вірш
 І в холоді нудьги згадай, що все пройшло
 Вітчизну продали за срібняки, за гріш,
 А ти все бавишся в нікчемне ремесло,
 Естета зображаєш й скепсисом грішиш...

ЗИМНИЙ ВИНОГРАД

*Может быть действительно вся правда – мгновение,
 Мёртвые факты и бессмертные цели...*

Евгений Плужник

Выглянув за окно, я увидел гроздь винограда, которая так и не вызрела, замёрзла во время первого ночного заморозка. Я подумал, что она напоминает мне ирландских поэтов начала XX столетия, которые, так и не написав своих стихов, полегли во время ирландского восстания 1916 года. И я подумал, что зимние дни в Дублине всегда были грустными и меланхоличными после того, как ирландцы утратили под ногами землю и научились придумывать такие поговорки как: «Высокой тебе виселицы в ветреный день!» или «Что в Коннахт, что в пекло!». И тогда я подумал, что зима 1917 года в Дублине была такой же грустной и безнадежной, как и этот замёрзший, кислый виноград за окном и написал такое:

Опустошает холодный ветер слов
 мой Дублин серый и моё жилище,
 из мыслей возведённое и света фонарей.
 Я истину нарисовал цветастой
 меж чайником и маревом Плеяд,
 мой кот грустит, за мизерную плату
 Сизиф туземный, чьё имя Боливар
 тебе досмотрит твой никчемный сад,
 а под небесным чудом Орiona
 в твоих же снах дозреет виноград,
 кувшин наполнится напитком Посейдона
 (ведь море тоже опьяняет), и бедный харизмат
 (гот, что студент и схимник) из белого сервиза
 возьмёт горшок. У Господа попросит визу,
 чтоб на неделю – две в банальный рай.
 Он кофе уважает. Хлеб преломи,
 Бодлера прочитай отравы полный стих
 и вспомни в холоде хандры, что всё прошло:
 Отчизну продали за сребреник, за грош
 а ты всё тешишься никчемным ремеслом,
 ценителем себя представив, и скепсисом грішишь...



ПІСНЯ СТАРОГО ГОДИННИКА

*У селище,
Де пахне рибою, прийшов
З літнього лісу...
Йоса Бусон*

Я двері відчинив дощавій пісні літа,
Пустив червневу зливу на поріг
У хату сутінок, що міфами зігріта,
У хату-келію. Молитвами доріг
Причини й наслідки зібрав в долоню Час.
Його мірилом був старийгодинник
Отой зозулястий, отой, що будить нас.
Та в сірих буднях, у сансарах плінних
Не зупинився він – пішов назад.
З потворного «сьогодні», де газети й миші
Він нас завів у предковичний лад:
Епоху справжнього, де в космічній тиші
Плоди і бронзу, молоко і мед,
Приносили в офіру Сонцю і воді,
Де право жити здобувалось в боротьбі,
Де зілля дарувало силу і політ,
Де слово – таїнство, де непідробний світ.

ПЕСНЯ СТАРЫХ ЧАСОВ

*В селение,
Где пахнет рыбой, пришел
Из летнего леса...
Йоса Бусон*

Я двері отворил дождливой песне лета,
пустив июньский ливень на порог,
в потёмки дома, что мифами согретый,
в дом – келью. Молебнами дорог
причины, следствия в ладонь собрало Время.
Его мерилom были старые часы,
кукушечьи, что сна взрывают бремя.
Не в вихрях будней и сансар, не в суете
они не встали – двинулись назад.
Из вопиющего «сегодня», газеты где и мыши,
они ввели нас в вековой уклад:
в эпоху истины, где во вселенской тиши
плоды и бронзу, молоко, меды
несли во славу Солнца и Воды,
где добывалось право жить в борьбе,
где снадобье дарило и полёт и силу,
где слово – таинство, где неподделен мир.

ИННА ИЩУК

КРЫСИНАЯ ОХОТА

рассказ

Два подарка для мамы

Два дня Алёнка была послушная. Помыла посуду, пропылесосила ковры. Мама с удивлением смотрела на дочку.

– Может на толкучку сходим? – на всякий случай спросила она, – тебе что-нибудь купить?

– Ну что ты, мама, – мне ничего не надо, – развела руками дочка, – я, наоборот, тебе подарок сделаю. Ты не против?

Ну кто же откажется от подарка! Но если бы мама умела читать мысли, она бы подумала, прежде чем на всё соглашаться.

Подарок прибыл на следующий день, вернее два подарка. Алёнка принесла их в банке с мелко нарезанными бумажками.

– Даша сказала, что так им будет лучше, – девочка открыла крышку, продырявленную в нескольких местах для поступления воздуха, и запустила руку.

Вот тут-то мама схватилась за голову.

– Только крыс нам ещё не хватало, – не отводила она взгляд от пушистых чёрно-белых комочков с розовыми лапками. – Что ты делаешь, не клади их на стол! У них столько микробов!

Алёнка пресекала свои попытки заставить крысят побегать и снова засунула их в банку. И стала натягивать крышку.

– Не закрывай, они же задохнутся, – пожалела мама.

Крысята зарылись в бумажки и снова стали невидимыми. Их окрас сливался с чернильными пятнами на листочках, вырванных из тетрадки.

– Они, наверно, есть хотят, – рассудила мама, всегда готовая всех накормить.

Алёнка принесла кусочек хлеба и, разделив, бросила малышам. Они схватили еду и, взяв в лапки, стали есть.

– Как они культурно едят, – удивилась мама.

– Правда, они миленькие, – застыла у банки девочка, – у Даши ещё 11 таких осталось.

– Ты же ещё не обедала, – спохватилась мама, – а ну-ка давай за стол.

– Значит, ты согласна? – вывела Алёнка, послушно направившись в ванну.

– Как папа скажет, – вздохнула мама и, поглядев на подарки, пошла насыпать борщ.

За окном смеялось весеннее солнце. Ему, наконец, удалось выбраться из зимних туч. Оно щедро дарило свет и тепло пробуждающейся земле.

– Представляешь, – не унималась Алёнка, зачерпывая ложкой борщ, – Даше купили крыску. Она оказалась уже беременная. И привела пять крысят. А потом детки подросли. И родили ещё 13. Им уже 2 месяца. Одного я взяла себе, а другого отдадим сестричке.

– Что ты всё о крысах, – мама села рядом, – как у тебя в школе дела. Что получила?

– Да нормально. На физкультуру не пошли. Когда бы я к Даше попала?.. Правда, они миленькие?

Крысята съели хлеб и перебирали лапками по стеклу банки.

– Им вдвоём будет не скучно, – заметила мама, – только вот папа...

– Ты его уговоришь, – попросила Алёнка, – ты умная.

Мама набрала номер телефона и прижала трубку к уху.

– Нас уже пятеро, – обречённо сказала она.



Через полчаса папа запыхавшись, вбежал в квартиру. Крысята в это время ужинали семечками.
 – Как они аккуратно едят, – изумился папа, – если ты, Алёнка, будешь так же, то пусть остаются.
 И крысята остались. Им выделили большое ведро, в которое набросали ещё больше бумажек. Налили воды в крышечку и крошили хлеба.

Мне кажется, что мы удачно выбрали семью, – сказал крысёнок брату. Жаль, что они не знают, как меня назвала мама. Реми – это так красиво. Но главное, у нас есть хлеб и вода. А остальное придётся. Мама всегда говорила, что надо верить в лучшее. Тем более, что мы можем сделать мир мудрее, как сами и воспитать людей, чтобы они не делали глупостей.

Крысинная ферма

Ранним утром Алёнка разбудила всех криком:

– Где они, их нет!

Сонная мама, полуоткрыв глаза, пыталась понять происходящее. Алёнка ворошила бумажки в ведре. И ничего не могла найти. Испуганные мокрые крысята сидели на дне, прижавшись друг к другу. Среди бумажек их было трудно различить. Вода разлилась. И все намочило. Вот тут мама впервые взяла их в руки.

– Не кричи, видишь, испугались, – погладила она их и пересадила в кастрюлю. Но малыши стали бегать по дну и стараться выпрыгнуть. Одному это удалось. Поэтому пришлось их снова вернуть в ведро.

– Вот что, Алёнка, – собирайся, идём за клеткой, – приказала мама.

– Но мне же в школу!

– Вот перед школой и зайдём в зоомагазин. Он здесь недалеко.

В зоомагазине прямо на входе стояли на выбор клетки. Тут же сидели хомяки, морские свинки, и большая крыса.

– Наши тоже будут такими? – потёрла руками Алёнка, – вот здорово! Теперь их никому отдавать не буду. Сестрёнке ещё возьму. Тем более у нас скоро детки появятся.

– Какие детки? – машинально спросила мама

– Крысинные, – у нас же их двое, – со знанием дела объяснила Алёнка.

Маме на секунду стало плохо.

– А мы их продавать будем, как Даша, – успокоила дочка, – разводить, как на ферме и деньги за них получать.

– Конечно, мы с удовольствием возьмём у вас малышей, – заверил продавец, – в обмен на корм.

Но мама всё равно взяла не самую большую клетку, надеясь, что до осуществления мечты о Крысиной ферме ещё далеко.

Малышам понравилось новое жилище. Тем более, что внутри клетки был домик с дверью и окном. Со второго этажа вела лесенка к кормушке, где всегда были вкусные зёрнышки. Оттого шерстка крысят была гладкая и пушистая.

– Когда они нам приведут деток? – всё спрашивала Алёнка. – У Даши уже 23 штуки.

– Никогда, – сказал папа, – потому что они однополые, мальчики.

– Ну и что? – пожал плечами Алёнка. – У Даши тоже сначала одна девочка была.

– Никаких девочек, – закричала мама, – этого нам предостаточно.

– Ну ладно, – согласилась Алёнка. Тем более, что убирать каждые три дня за питомцами ей уже надоело.

– Я же говорил, – Реми разлёгся в домике, – что всё устроится. Хорошо бы нам ещё пару-тройку девочек. Места бы всем хватило. И кормят, как на убой. Ой, что это я говорю. Мы же не свиньи, а благородные крысы.

Пятна крови в клетке

Однажды, после чистки клетки Алёнка забыла перенести крысят из банки с крышкой, в которую посадила их во время уборки.

В итоге выжил один крысёнок. Мама поплакала. Она всегда всех жалела. Но делать нечего. Оставшемуся малышу сделали гамачок, чтобы он не чувствовал себя обездоленным. И каждые полчаса брали его на руки.

– Может, отдадим его в зоомагазин, – хоть один спасётся, – предложила Алёнка.

– Ни за что, – отрезала мама. – Она привыкла к постояльцу, и теперь сама кормила и поила малыша.

Правда, малышом его уже назвать было нельзя. Но мама упорно совала ему подсолнечные и тыквенные семечки, пшеницу, горох, баловала печеньем и блинчиками.

Крыс от удовольствия начал насвистывать песенки. Мама восторгалась, когда он «чирикал» у неё на плече. Особенно голос прорезался у него ночью. Мама всякий раз просыпалась:

- Как поёт, словно сонату исполняет.
- Это у него брачный период, – объяснял папа-реалист.
- Скучает бедняжка, – жалела его мама и несла ему в клетку угощение.

Правда, с некоторых пор, печенье на столе начало пропадать. Мама подумывала на Алёнку. А папа на маму. Ведь они были сладкоежками. И потребляли пирожное и торты в неограниченных количествах. Кроме сладкого было несколько случаев пропажи жареной рыбы. Утром тарелка почему-то оказалась на полу. А бычки исчезли. Но мама подумала на папу. А папа на Алёнку.

Однажды вернувшись, семья обнаружила пятна крови в клетке. Хвост крысы был в крови.

– Он блох ловил, и нечаянно поранил себя, – сделала аналитический вывод Алёнка. Раны залили йодом. И перевязали бинтом.

– Не всё в этом мире благополучно, – вздыхал раненый крыс, – хотел, как лучше, а получилось как всегда. Я к ней со всей душой, песни пел. Но леди оказалась чересчур меркантильной. Мстить за то, что я обожаю печенье, которое она любит. Как это низко. Неужели среди нашего рода есть подобная глупость? Как я улыбался ей, как протянул хвост в знак любви и уважения. И как подло она меня обманула. А может, это из-за особого усердия? Так сказать, не рассчитала сил. И вместо поцелуя... О, святая простота! Быть может, она придёт ещё раз и попросит прощения. И заживём мы в любви и согласии.

Нашествие бабушки

Близилась пора отпуска, когда родители собрались в поездку. Правда, папа всё никак не мог заделать дыру в полу кухни, которую пробил для установки новой трубы для воды. Мама особо не настаивала, чтобы не отбить ему охоту, руководствуясь принципом: чем больше мы просим, тем больше нам отказывают. Лучше мир в семье, чем война из-за бытовых мелочей. И вся эта идиллия продолжалась до тех пор, пока не приехала бабушка. Она жила одна. И с нетерпением ожидала возможности повидаться с детьми.

– Боже, как вы тут живёте, – вместо приветствия произнесла она с порога. – Я вам порядок наведу. Она тут же взялась двигать мебель в гостиной. Но, увидев клетку со зверем, остановилась.

– Это ещё что? – всплеснула она руками, – от него же всякая зараза идёт. Надо немедленно его продезинфицировать. Алёнушка, ты помыла руки? А чем они тебя кормят?

Пообщавшись таким образом с бабушкой, родители собрали чемоданы и побежали на самолёт.

– И давно он у вас? – бабушка, разглядывала чужеземца, описывала круги возле клетки.

– Не мешай, я читаю, – отмахнулась Алёнка.

Не мешая внучке, бабушка передвинула вместе с ней диван. Она давно мечтала сделать перестановку. И ахнула. Под диваном валялись стопки печенья, кочаны кукурузы, семечки и кости от жареной рыбы.

– Значит, мусорного ведра нет, – многозначительно произнесла бабушка.

– Ого! – свесила голову Алёнка, – наш крыс такое печенье обожает.

Но бабушка была другого мнения. Сравнив экскременты, оставленные под диваном, и домашнего питомца, она пришла к выводу, что всё не так просто. Не зря же она заканчивала геофак. Потом она исследовала поджившие раны на хвосте. И вооружившись фонариком, начала поиск.

– Мама говорила, что у нас живёт привидение, – сообщила Алёнка, отвлекшись от книжки. И вообразив себе, она быстро ретировалась в детскую. За ней поспешила и бабушка, плотно закрыв за собой дверь.

– Только приручили маму, – думал крыс, развалившись на подаренном Алёнкой носке. В домике он уже не помещался, – как тут бабушка. Но ничего, её мы тоже перевоспитаем.

Вот только даму обзывать привидением некрасиво. Она ещё покажет им. Подумаешь, они меняют свою шкурку каждые два-три дня. Зато вылизываться и ловить блох не могут. Всему их надо учить.



Привидение спит на диване и ест печенье

Всю ночь бабушка вслушивалась в странные шорохи. Запасы под диваном предусмотрительно не убрали. А утром экскременты – серые длинные палочки – остались прямо на покрывале. Тут же валялись крошки печенья – следы пиришества.

– Привидение решило поспать с удобствами, – заключила Алёнка, наблюдая за сбором улик.

Кроме того, телевизор не включался, потому что был перегрызен кабель. И бабушка не могла теперь смотреть любимый сериал.

– Я выведу на чистую воду, – пригрозила она. И снова взялась за фонарик, – ну почему твои родители ничего не замечают?!

– Они уже привыкли, – сообщила Алёнка, – а может это змея. Я знаю, что они могут ползать по стенам и спускаться с потолков. И вдруг представив это, кинулась к бабушке и обхватила её руками. – Давай позвоним маме и папе, пусть возвращаются. Или в пожарную, или милицию.

– Всё будет хорошо! – твёрдо сказала бабушка, и направилась ползком с фонариком в путь по коридору. Таким образом, она добралась до кухни и через пару метров воскликнула.

– Ой-ля-ля!

Бабушка была во Франции. И ей очень понравилась выразительная реплика, которую она употребляла в особых случаях удачи.

– А, папина дыра! – Алёнка провела осмотр местности, – она у нас давно, ещё когда папа водопровод менял.

– Тут же целый ход! – бабушка бесстрашно засунула руку в дыру. И вдруг её лицо перекошилось. – Меня кто-то держит.

Алёнка из всех сил потянула бабушку. И обе повалились на пол. Рука была цела. Просто застряла в узком отверстии.

– Я немедленно иду на рынок за отравой, – сообщила бабушка.

– Я с тобой, – немедленно сказала Алёнка, – как ты думаешь, кто это может быть? Куница или хорёк?

Как можно даму называть хорьком? – возмутился Реми, расхаживая по клетке. – Сегодня она перегрызла кабель. Я бы не прочь полакомиться вместе с ней. Но ведь кабель ей дороже меня. А чтобы унижить меня ещё больше, она провела ночь на диване, как люди. Наверно, мы не подходим по характеру. Или дать ей испытательный срок?

Капкан для бабушки

На рынке продавщица посоветовала приобрести пакетики с отравленным зерном. Бабушка насыпала содержимое на газету и положила возле дыры. Запасы под диваном она убрала. И дверь в гостиную плотно закрыла, чтобы гостя больше не пакостила.

– А чудовище сразу отравится и умрёт? – спросила Алёнка, – так хочется на него хоть разик посмотреть. Оно больше нашего крыса?

– Наверно, – согласилась бабушка, разрезая огромный арбуз, который купила на рынке. Сладкий сок стекал по подбородку Алёнки, тёк по локтям, пачкая майку. Но бабушка этого не замечала, думая свою думу. Осилить арбуз они его не смогли и оставили на столе больше половины.

– Теперь нам надо уйти, – предложила бабушка, – чтобы оно вышло и съело отраву.

Алёнка прыгала на скакалке вокруг родственницы и размышляла.

– Мы можем сделать из него мумию и показывать на представления! Ты знаешь, как мумизировать?

Потом они сходили в магазин, погуляли ещё по парку и вернулись. Бабушка осторожно открыла дверь и ахнула. В коридоре возвышалась горка песка, земли, щепок. Возле двери в гостиную зияла свежепрогрызенная щель. Бабушка потыкала совком и определила, что она ведёт в тупик. В комнату к печенью грызуну не удалось попасть. Отравы оказалась нетронутой.

– Теперь оно обиделось и покинуло нас, – печально заключила девочка, осмотрев поле боя.

Алёнка пододвинула к себе арбуз, чтобы полакомится сочной мякотью.

– Бабушка! – закричала она, – это ты косточки вытянула?

Весь арбуз, словно перерыли. На красных лохмотьях лежала горка шелухи от семечек.

– Не трогай, – предупредила бабушка и стала снимать отпечатки лапок, которые виднелись инициалами в мякоти. – Зверюга не смогла пробраться к своим запасам. И умяла наш арбуз.

– А может она хотела съесть нашего крыса? – предположила Алёнка и посадила его на плечо. Он радостно зачирикал.

– Если бы он не пел по ночам, никто бы не приходил, – заметила бабушка, – позвал гостей нам на голову.

Она заправила помидору отравленными семечками и положила возле норы. Но на следующее утро помидор был полностью съеден, а семечки выплюнуты.

В тот же день бабушка добыла тюбик клея.

– Хорошее средство, – подмигнула она Алёнке, – тетя Алла так всех мышей вывела, они приклеивались и не могли пошевеливаться.

Она намазала широкую пластинку клеем и положила возле норы, перекрыв путь в кухню.

– Здорово! – захолопала в ладоши внучка, – я теперь точно его увижу. Оно никуда убежать не сможет.

Такую же пластину положили возле двери в гостиную.

Каково же было потрясение бабушки, когда утром она обнаружила на пластинках с клеем газеты. Положив их на клей, гостя проникла в квартиру и ещё больше расширила щель в полу на пути в гостиную.

– Вот умная! – позавидовала Алёнка, – а может она слышит, что мы говорим.

– Тогда давай шёпотом, – предложила бабушка.

Тихо, чтобы их не услышали, они оделись и снова пошли на рынок. Продавщица с удивлением выслушала рассказ о приключениях и предложила мышеловку. Бабушка взяла сразу две. В одну положили сало, в другую сыр. И деликатно удалились в спальню.

Не успели они захлопнуть дверь в детскую, как послышался щелчок.

– Всё! – сказала бабушка, – сработало.

– Только не бери её руками, – крикнула вслед Алёнка, – она кусается.

Но мышеловка была пуста. А сало исчезло. Бабушка в сердцах наступила на другую с сыром. И громко закричала.

– Что, попалась? – высунулась Алёнка.

Чтобы снять отёк, весь вечер бабушка прикладывала лёд к ноге. Решимость её утонула.

– Как можно было бросить меня? – рассуждал Реми, вылизывая шёрстку. – Она не заходит ко мне уже три дня. Конечно, она гораздо симпатичнее. Рыженькая, стройная, глазки блестят. Как тут не влюбиться! Но она думает только о себе. И я должен её забыть. Я знаю, что есть ещё много красивых крыс. Переберу свой репертуар и сменю тональность.

Удар, ещё один удар

– Как ваши дела? – позвонили родители, – мы чудесно отдыхаем.

– Мы тоже, – ответила Алёнка, – у нас так весело. Мы играем в охоту.

– Не сиди долго перед компьютером, – посоветовала мама.

Но как раз на это времени не оставалось. Ночные охотники вышли на тропу. Бабушка залегла по одну сторону норы. Алёнка с трубой от пылесоса по другую. Но время шло. А никто не появлялся. Проснулась девочка от шума. Не видя ничего в темноте, она бесстрашно кинулась и ударила трубой что-то движущееся. Бабушкин крик огласил квартиру. Алёнка зажгла свет и увидела потирающую лоб родственницу с сачком в руке.

– Ещё бы чуть-чуть и я бы её поймала, – вздохнула она, – я видела, это крыса.

– Невеста нашего крысика, – обрадовалась Алёнка, – давай откроем клетку! Чтобы она к нему зашла. И будет у них много-много маленьких крысыков.

Бабушка тихо взвыла. Теперь уже лёд она прикладывала не только к ноге, но и голове. Но спать в детскую идти отказалась. Так всю ночь и провела в кухне.

– Я их всех увидела, – сказала она за завтраком, – прямо нос к носу. И, кажется, они больше удивились, обнаружив меня.

– Тебе двоилось? – посочувствовала внучка, – это, наверно, из-за трубы.

– Не две, а три, – посмотрела бабушка на Алёнку, – они уже не боятся меня. Привыкли к нашему обществу.

– Крыс у нас просто дон Жуан, – восхитилась Алёнка, – столько невест по нему полы грызут.

– Я знаю, что теперь делать, – ещё решительнее произнесла бабушка. Она купила цемент, алебастр, песок и даже жидкое стекло. К концу дня все дыры и щели были зацементированы.



По случаю Победы бабушка купила торт и пригласила соседку посмотреть на достижения.

– Рано радуется, – спокойно произнесла тётя Алла. И была права.

Ночью бабушку разбудил дикий скрежет. Крысы грызли пол в кухне, в туалете, в ванной, в коридоре. В ответ им звонко свистел домашний постоялец. Мелодия стала ещё романтичнее и тоньше. Бабушка бросилась к нему.

– А ну перестань, – это всё ты творишь безобразия, – стукнула она по клетке. Крыс перестал свистеть, но стал мелодично шёлкать.

– Ладно, вот тебе, – протянула бабушка половинку печенья. Крыс взял угощение в лапки и стал откусывать, с благодарностью поглядывая на бабушку. Она расчувствовалась и протянула ему ещё. Он спел для бабушки арию. Она взяла его на руки и стала гладить. Крыс «замурлыкал» от удовольствия.

– Какая прелесть, – прижала его к себе женщина.

На следующий день с отдыха вернулись родители. Отдохнувшие мама и папа наперебой делились впечатлениями. Бабушка и Алёнка договорились молчать о происходящем. Даже о том, что больше нет папиной дыры под умывальником.

– Я возьму вашего крысика с собой, – попросила бабушка, – так к нему привыкла.

– А как же мы? – обеспокоилась мама.

– Будете приезжать к нему в гости.

После отъезда крыса с бабушкой ночные гости ушли. Больше они не скребли и не грызли пол. А бабушка взяла на воспитание ещё подружку крысу. И теперь успешно продает декоративных крысят. Ведь они такие миленькие и пушистые. И так красиво поют!

– Ну я же говорил, – нежно шептал Реми супруге Марго, – всё будет по-нашему. Все любят ласку. Бабушку перевоспитали, детишек уму-разуму учим. Теперь за людей можно не беспокоиться. Они в надёжных лапах. Дорогая ты, моя крысавица.

ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВ

ПАДАЕТ СНЕГ

рассказ

«Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером». Что это? Откуда? Ах, да! Шарль Азнавур. И действительно, падает снег, и сегодня вечером никто не придёт, и Новый год придётся встречать одному. Ещё темно, шесть утра, можно спать, никуда спешить не нужно, но почему-то всегда, когда можно выспаться, просыпаешься рано. Ах! Какой снег! Снежинки возникают из темноты, лишь на мгновение блеснут перед стеклом, в освещённом квадрате окна, и снова исчезают во тьме. Вот так и мы, возникаем из мрака вечной ночи, чтобы на короткое время появиться на свет, и снова уходим в вечную ночь. Ветер кружит нас в неистовом танце, то сближая, то унося в разные стороны, далеко друг от друга. А кто-то вот так же стоит у окна, и смотрит на нас, как мы смотрим на эти снежинки, у каждой из них своя судьба, но мы не замечаем их, этих мимолётных судеб, мы просто видим, как идёт снег. Для кого-то и наши судьбы, лишь мгновение во мраке вечности. Кто это? Бог? Один, один во всей вселенной, Боже мой! Как он одиноч!

Георгий Иванович потянулся за сигаретой, но вспомнил, что он уже скоро год, как бросил курить; давняя, уже забытая, привычка иногда вновь возникает в минуты отчаяния или задумчивости, рука ищет сигарету, как поскользнувшийся ищет опору на льду. Да, он бросил курить, и пить тоже, и теперь Новый год придётся встречать без традиционного бокала шампанского, один бокал, конечно, не повредит, но можно обойтись и без него, тем более, пить одному нет смысла. Снег, снег, снег. Снег на земле, на ветвях деревьев, на крышах домов, и на висках. Снег и одиночество. Можно, конечно пойти к друзьям, но нет настроения, у каждого своя семья. Да, ему будут рады. Несомненно, будут рады, и предложат бокал вина или рюмку водки, он откажется, начнут уговаривать, и возникнет то невольное напряжение, странная неловкость, нарушающая тепло дружеской компании. Нет, не стоит никуда идти.

«Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером, падает снег, мы не увидимся, я знаю». Он вспомнил свою первую любовь, и выпускной бал в школе, как танцевал с ней, в первый и последний раз. За окном лежала звенящая, теплая южная ночь, а в зале Шарль Азнавур с нежной печалью в голосе пел о том, как падает снег. Её рука лежала на его плече, она смотрела в его глаза, и улыбалась нежной, печальной улыбкой, и Шарль Азнавур пел о том, что встречи больше не будет. Потом были разные города, и невысказанность, неопределённость, мучительная, тягучая, безысходная. Он помнил, как написал ей письмо, как ждал ответа, и когда получил, понял, что надежды больше нет. Не стало надежды, но не стало и той мучительной неопределённости. Потом он уехал работать на Крайний Север, в надежде на то, что полярные снега смогут погасить жгучую боль неразделённой первой любви, но в завывании северной выюги он снова слышал ту тихую, нежную печальную мелодию и голос, поющий о том, что встреч больше не будет.

Он пытался создать семью, но с женой прожили они недолго, и разошлись без грусти и сожаления, сохранив в душе горечь ошибок и утрат. Тогда он не в меру увлекался алкоголем, и жена, устав бороться с этим пороком, погубившим уже не одну семью, собрала вещи и ушла. Теперь он не пьёт, не пьёт и не курит, последняя кардиограмма внушает опасения. Может, удастся ещё протянуть год-другой. Ну, год, два, а потом? Потом всё равно спишут. Какой-нибудь доктор-старикашка с бородкой клинышком и колючими, злыми глазами, как у Мефистофеля, подпишет ему приговор: «К лётной работе не годен». И всё. Что потом? Лётчик живёт, пока летает.

Резкий звонок телефона ударил по нервам, Георгий Иванович вздрогнул. «Кто это может быть? Для Новогодних поздравлений ещё рановато!». Он поднял трубку, звонили из авиаотряда, просили слетать в Норильск с экипажем Костецкого, Георгий Иванович знал этот экипаж, когда-то он летал у Костецкого вторым пилотом.



– А что случилось? – спросил он.

– Костецкий с воспалением лёгких в больницу попал, лететь некому, и заменить его некем, и экипажей свободных нет, ведь Новый год, сам понимаешь, но ты-то у нас непьющий! Так, что выручай, Георгий Иванович! Туда и назад, успеешь до Нового года домой вернуться.

– Посмотри, погода какая, заметёт, не только до Нового года, до Рождества в Норильске застрянешь!

– Да, погода через пару часов установится, синоптики обещают!

– А полоса? Снегу, небось, навалило.

– На полосе уже ребята работают, очистят полосу.

Георгий Иванович согласился, чем сидеть одному в пустой квартире, лучше Новый год в полёте, с экипажем встретить. Он поставил чайник, сковородку, поджарил яичницу, заварил растворимый кофе, банку которого привёз на прошлой неделе из заграничного рейса, позавтракал, оделся и поехал в аэропорт. Было ещё темно, и полупустой, холодный автобус, недовольно ворча мотором, пробивался сквозь летящий снег, наконец, он дополз до аэровокзала, и с шипением выдохнув сжатый воздух, открыл двери.

Рассвело, и снегопад действительно прекратился, но низкие, темно-серые снеговые тучи всё так же висели над городом, снегоуборочные машины вернулись с полосы. Когда Георгий Иванович поднялся на борт самолёта, экипаж Костецкого был уже в кабине. Все грустные мысли куда-то ушли, растворились в суете нового дня, в котором были друзья, любимая работа, и люди, те, что поднимаются сейчас по трапу на борт самолёта, люди, доверившие ему свои жизни. Экипаж проверял работу всех систем, готовился к запуску двигателей, и когда двери закрылись, трап медленно ушёл от крыла, и механик на земле доложил о готовности, бортинженер запустил моторы. Самолёт ожил, пространство кабины наполнилось низким, равномерным гулом, стрелки приборов, сдвинулись с нулевых отметок, заняли свои положенные места, в наушниках звучали команды, доклады, и разрешение диспетчера вырваться на предварительный старт. Двигатели взвыли, медленно сдвигая многотонную машину с места, Георгий Иванович вырулил к взлётной полосе, на предварительный старт, и, получив разрешение, вывел самолёт на взлётную полосу, развернув его в готовности к взлёту. Встречный ветер разметал снег, заметая позёмкой разметку полосы.

Моторы взревели, заполнив пространство мощным, вибрирующим звуком, Георгий Иванович отпустил тормоза, самолёт начал разбег, чуть подрагивая на стыках бетонных плит. Штурман отсчитывал скорость, огни полосы летели навстречу, превращаясь из пунктиров в сплошные линии, Георгий Иванович потянул штурвал на себя, и самолёт, подняв нос, продолжал разбег, он рвался в небо. Звук колёс шасси, пересчитывающих стыки плит, умолк, полоса чуть качнулась, огни её ушли под крыло и исчезли. Рваные клочья туч пронесли мимо, и самолёт поглотила темно-серая масса сплошных облаков.

Там, наверху, ярко светило солнце, и облака лежали под крылом белоснежной равниной, укрывшей землю от горизонта до горизонта. Прогнозы синоптиков не оправдались, дав короткую передышку земле, снегопады возобновились с новой силой. Первым закрылся аэропорт Норильска, возвращаться было тоже некуда, и лишь один аэропорт, на северо-востоке, куда не успел ещё добраться циклон, принимал воздушные суда.

Самолёт снижался, для захода на посадку в единственном аэропорту, где погода ещё позволяла приземлиться. Он нырнул в облака, и весь мир, такой широкий и необъятный ещё минуту назад, сузился до размеров пилотской кабины, приборной доски, и только стрелки приборов могли рассказать о положении самолёта в пространстве, расстоянии до аэропорта, высоте, да оставшемся времени, которое измеряется не часами и минутами, а остатком горючего в баках. Высота таяла, где-то там, в сплошной, клубящейся мути облаков должна быть посадочная полоса, но ни огней, ни каких-либо земных ориентиров не было видно. Огни полосы ударили по глазам, возникнув из тумана, как контуры на проявляющейся фотографии, Георгий Иванович посадил самолёт, зарулил на стоянку, и когда бортинженер выключил двигатели, снегопад усилился настолько, что не было видно даже огней аэровокзала, находящегося всего в нескольких десятках метров от стоянки.

И снова за окнами снег. «Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером, падает снег, мы не увидимся, я знаю». Что это? Откуда это, когда это было? Ах, да! Шарль Азнавур! Это было давно, так давно, что вспомнить невозможно, когда это было, это было в другой, совершенно другой жизни. А сегодня, сегодня Новый год, и встречать его придётся на работе. Надежда Андреевна задёрнула занавеску, включила свет. Сегодня её дежурство в метеослужбе аэропорта, пока ещё рано, можно не спешить, но нужно привести в порядок

квартиру, убрать в комнатах перед Новым годом, выбросить всё старое, что накопилось за долгое время.

Она открыла секретер, стала перебирать бумаги:

– Это выбросить, это оставить, это выбросить, это оставить, это..., это...? Что это?!

В дрожащей руке Надежда Андреевна держала старое, написанное ей тридцать лет назад письмо, написанное, но не отправленное. Почему не отправленное? Значит, отправлено было то, другое?! Рука с письмом упала на стол, буквы расплывались перед глазами, по щекам текли слёзы.

Был выпускной бал, за окном лежала звенящая, теплая южная ночь, а в зале Шарль Азнавур с нежной печалью в голосе пел о том, как падает снег. Одна рука её лежала на его плече, другую он нежно держал в своей, смотрел ей в глаза, и улыбался нежной, печальной улыбкой, улыбался и молчал, и Шарль Азнавур пел о том, что встречи больше не будет. Почему, почему он молчал? Он должен был что-то сказать! Но он молчал, мелодия кончилась, он медленно отпустил её руку, поклонился и ушёл. И всё?!

Потом были разные города, она поступила в «Гидромет», он в лётное училище. Больше они не виделись, но однажды пришло письмо, он написал всё, что должен был сказать тогда, когда теплая южная ночь лежала за окном, и с нежной печалью в голосе пел Шарль Азнавур. Но было уже поздно, слишком поздно, те слова уже были сказаны другим, и она не отвергла признание. Надежда Андреевна в порыве горечи и отчаяния написала ему письмо, полное слёз и обиды, она просила, чтобы он больше никогда не напоминал ей о себе. Написала..., но не отправила. Почему? Почему поздно? Нет, ещё всё можно изменить, ведь с тем, другим, их ещё ничего не связывает. Она написала новое письмо, написала и отправила. Но время шло, а ответа не было.

С тем, другим, прожили они не долго, он был хорошим мужем, заботливым, внимательным, но потом... Потом начал пить, сначала немного, по случаю, дальше всё чаще и чаще, иногда запои продолжались неделями. Как могла, боролась она с несчастьем, погубившим ни одну семью, но не в силах справиться ни с ним, ни с собой собрала вещи и ушла.

Это было давно, очень давно, в той, другой, совершенно другой жизни. Казалось, всё прошло, всё забылось, и вдруг это письмо. Значит, отправлено было то, другое, которое написала она в порыве горечи и отчаяния! Вот почему не было ответа!

Маленький, затерянный в просторах севера аэропорт был до предела забит пассажирами и экипажами воздушных судов, нашедших временный приют, укрывшихся от беспощадной стихии циклона. Георгий Иванович был не первым командиром, желающим получить у метеослужбы подробный прогноз метеорологической обстановки, хотя и так было ясно, что Новый год придётся встречать в этом забытом Богом и людьми аэропорту. Собравшиеся у двери кабинета, где находилась метеослужба, обсуждали только одну тему – как долго будет держать их в плену разыгравшийся циклон?

Вскоре дверь кабинета открылась, и вышла женщина, что-то объясняя собравшимся. Георгий Иванович не мог слышать её, из-за гула толпы, но он сразу, только увидев эту женщину, понял – это была она. Прошло столько времени, она изменилась, да и он уже не был тем застенчивым юношей, но что-то неуловимое, недоступное взгляду, не поддающееся логике чувство, возникло в его душе, какая-то невидимая искра вспыхнула в давно потухших глазах, и она, несомненно, узнала его. Она двигалась сквозь толпу к нему, и все собравшиеся здесь люди, весь монотонный гул аэропорта – всё это исчезло куда-то, растворилось, – остались только он и она, да бесконечный, летящий из темноты, и исчезающий во тьме снег, и звуки забытой, нежной, печальной мелодии заполнили пространство, и время перестало существовать. «Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером, падает снег, мы не увидимся, я знаю, но я снова слышу твой любимый голос, и чувствую, что умираю, тебя нет здесь».

И снова рука её лежала на его плече, и звучала тихая музыка, пел Шарль Азнавур, и за окнами падал снег.

ЕВГЕНИЙ МУЧНИК

Я ИДУ В ФИЛАРМОНИЮ

Бываю на «Зелёной лампе».
Но мне, в отличие от Трампа,
уже, по-моему, не светит
побывать в Овальном кабинете.
А, если говорить о Трампе –
ему не светит быть на «Лампе».

ПОЭТ И СУДЬБА

Судьба поэта обижает –
в ответ он сочиняет новый стих,
её атаки отражая
в художественных образах своих.

РАСКРЫВАЮ СЕКРЕТ

Если повод есть – смеюсь я над собой.
Оттого всегда весёлый я такой.

Годы вперёд продолжают лететь –
не успеваешь за ними стареть.

Раньше был я пионером,
собирал металлолом.
А теперь, пенсионером,
я опять к нему влеком.

Было мне «за так» приятно
сдать побольше килограмм,
а сейчас его бесплатно
я ни грамма не отдам.



СВИДАНИЕ

Я ей в семь назначил встречу.
 Прибыл – в восемь, не краснея.
 И не опоздал, замечу –
 я ведь знаю, с кем имею...

ВЕЧЕРНЕЕ

Огней казино
 цветовая гармония...
 А мне всё равно –
 я иду в филармонию.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА

Хотел сказать ей, что вернусь,
 что я последний идиот,
 что, наконец, за ум возьмусь...
 Но денег нет пополнить счёт.

О СТРАНАХ, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

Ну не был я, допустим, на Бали.
 И мысль одна над прочими довлечет:
 а что б красотки ихние смогли,
 чего, быть может, наши не умеют?

Мне показалось, что она – мадонна.
 И не проходит, чтоб о ней не вспомнил, дня:
 мадонна деньги одолжила у меня,
 сменив потом свой номер телефона.

ПОКУПКА НОВЫХ ОЧКОВ

Примерка очков переносится –
 устала моя переносица.

Ему не задолжал я сумму в евро
 и я не флиртовал с его женой.
 Он – не начальник, треплющий мне нервы,
 и не политик, нелюбимый мной.



Мы оба – люди, в общем, неплохие,
по нам не плачет сумасшедший дом.
Так, подчинившись вдруг какой стихии,
мы так старательно друг друга бьём?

Закончив бить, сочтём необходимым
обняться, завершая парадокс.
Нет, что-то есть дебильное в любимом
для многих спорте, под названьем «бокс».

ДИАГНОЗ

От тяжёлых душевных контузий
наступила потеря иллюзий.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я далеко не всё, что было, помню ясно:
бывает, силюсь что-то вспомнить, но напрасно.

СВОЕМУ ПАЛЬТО

Я ношу тебя давно,
в дождь и в холод надеваю.
Я тебе не изменяю –
у меня лишь ты одно.

ЮНЫЙ ПОЭТ

К перу с бумагой тянется рука.
И в то же время тянется нога
к мячу – проворно слез поэт со стула.
На этот раз нога перетянула.

ПО ПОВОДУ БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ

А написал бы столько Пушкин или нет,
будь у него тогда в деревне интернет?

Тут брали интервью на злобу дня.
Я реагировал на все вопросы бурно,
хотелось даже выражаться нецензурно,
но брали интервью не у меня.

Я И ХЭЛЛОУИН

Как ни выдрючивайся, всякая химера –
уже ничем не испугать пенсионера.

Я космонавтом стать и не мечтал.
И всё сбывлось – я в космос не летал.

НА ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Открывается всё больше год от года
парикмахерских и там и тут.
Значит волосы у нашего народа,
несмотря на трудности, растут.

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ

Кому не повезло в реанимации,
возможно, повезёт в реинкарнации.

Денёк сегодня выдался погожий,
приветливые лица у прохожих...
Но помню: существует вероятность,
что где-то затаилась неприятность.

Саксофонист на улице играл.
Играл довольно плохо, между прочим.
Я вместо денег ноты ему дал,
но мне он благодарен был не очень.

Я на рынке решил расплатиться стихом.
И смеялся до слёз травматолог в больнице.
Он предвидеть не мог, что случится потом:
и в больнице стихом я решил расплатиться.

На берегу порою случаи бывают –
у моря воздуха морского не хватает:
над пляжем едкий дым, пловцы хоть за буйки –
кому-то жарят в ресторане шашлыки.



И пусть я зря сюда тащился на трамвае,
теперь сижу и этот едкий дым глотаю, —
за ресторанный бизнес рад, слов просто нет:
ведь от него идут налоги в наш бюджет.

И зима, конечно, хороша
где-нибудь в Европе или США...
Здесь у нас пока ещё не то —
как-то надоело спать в пальто.
А увидел сумму за тепло —
и в глазах уже не так светло.

ПОПЫТКА УСПОКОИТЬСЯ

Неспешный выдох после вдоха —
и вот на убыль стресс пошёл.
И всё вокруг не так уж плохо.
Но и не так уж хорошо.

ЭРЛЕН БЕЙЛИС

КАТРЕНЫ ОТ ЭРЛЕНА

На нашей самой лучшей из планет
Известно всем, кто начинал с азов,
Что в мире вечных двигателей нет,
Зато так много вечных тормозов.

Что деньги – зло, давно известно,
Они – хомут и кабала.
На цены смотришь, если честно,
Ну, просто не хватает зла.

«Счастья не найти в деньгах!»
Фраза выглядит логично.
Мне бы при моих долгах
Убедиться в этом лично.

Когда внимаешь пенью птиц в апреле,
Или услышишь в мае птичьи трели,
Пойми, им в небе не до красоты –
Они упасть боятся с высоты.

Заблудился в лесу? И не знаешь, где юг?
Посмотри на деревья в округе.
Если пальму увидишь, возрадуйся, друг!
Значит, ты, безусловно, на юге.

Мне телефонный разговор
Подслушать повезло:
– Алло! – сказал он, а в ответ:
– Воистину, алло!



«Мы, кажется, тонем! По курсу – туман!
Штурвал мой не слушает руль!»
В ответ рулевому сказал капитан:
«Буль-буль!»

МЕТАМОРФОЗЫ

В детстве, как будто, всё правильно,
Всё благородно и чинно:
Девочкам нравятся куклы,
Мальчики любят машины.
С возрастом вкусы меняются
По неизвестным причинам:
Мальчикам нравятся куклы,
Девочки любят машины.

Истина давно уже знакома,
С давних пор заложена программа:
Если у мужчины не все дома,
Он к себе домой приводит даму.

Мужчины сильней, – говорит большинство.
Увы, это мнение ложно.
Хоть женщина – слабое существо,
Спасти от неё невозможно.

Меняются эпохи, времена,
Но неизменны наши благоверные:
Есть первый тип – неверная жена,
Второй, напротив, – верная...
Наверное.

Такую девушку я повстречал впервые,
Стройна, румяна, высока, упруга...
Её глаза такие голубые
Смотрели с интересом друг на друга.

С болью в сердце вынужден признать,
Сказки наши очень злободневны:
Сколько надо жаб поцеловать,
Прежде чем найдёшь свою царевну!



Такая спутница была с ним рядом,
Что, я, её измерив взглядом,
Ему решился предложить:
«Давайте жёнами дружить!».

Вообще, когда у друга есть жена,
То для меня не женщина она.
Но коль она хорошенькая вдруг,
Тогда, простите, друг мой мне не друг!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не надо издеваться надо мной,
Вы верно рассуждаете, и всё же,
Я понимаю – надо жить с одной,
Но разве можно жить с одной и той же?!

Она была разумна и бесстрашна, и
Желанье шляпу снять владело мною.
Потом я встретил более прекрасную,
И потянуло снять всё остальное.

Есть неизменный *status quo*
Ещё со времени Адама:
Мужчина хочет одного,
Всё остальное хочет дама.

Она характером, что тот метеорит,
Что вспыхивает, а потом сгорает:
Есть настроение – такое сотворит.
Нет настроения – такое вытворят.

Чтоб в семье был порядок, покой, тишина,
В доме должен командовать кто-то одна.

Чтобы жену не волновать,
Терпение включи:
Её нельзя перебивать,
Когда она молчит!



Коль дама от злости теряет слова,
Выходит, не в силах признать она честно,
Что, мало того, что она не права,
Но, главное, ей это точно известно.

Об этом знали деды и отцы,
И нам, потомкам, знать давно пора уж,
Что женятся всегда одни глупцы,
И только умные всегда выходят замуж.

Ты снова упустил свой шанс!
Но, не впадай от горя в транс:
Ты встретишь много шансов на пути,
Которые ты сможешь упустить.

Я женщину прекрасную нашёл,
Со мной произошёл счастливый случай.
Мне с нею было очень хорошо.
Она ушла! И стало ещё лучше!

Привёз из дальних странствий сувенир,
И, лейбл производителя читая,
Я понял: «Богом создан этот мир,
Всё остальное создано в Китае».

В любой научной книге опишут вам подробно,
Что есть грибы опасные, смертельные подчас.
А я вас уверяю, все грибы съедобны,
Одни – неоднократно, другие – только раз!

От шишек на лбу застрахован ты вряд ли,
И путь твой не прост – так ведётся извека,
Ты встретишь места, где валяются грабли
И ждут, чтоб ступила нога человека.

Чтобы напиться, хватит одного бокала,
Когда двенадцать первых не хватало.



Стареешь ты, сестричка!
Чадит огарок свечки,
И даже косметичка
Становится аптечкой.

С тобой весь мир был тих и светел,
Тебя я столько лет любил.
Старик Альцгеймер нас заметил,
И я совсем тебя забыл.

Я знаю только то, что ничего не знаю
Сократ

Сократ достиг величья своего,
Когда изрёк, природу наблюдая:
«Я знаю, что не знаю ничего,
Другие даже этого не знают».

На своём настоял, оппонента дожал,
А потом, чтобы тот до конца поседел,
Он, кроме того, на своём належал,
И после всего на своём насидел.

Сначала мы были довольны вполне,
Своим оппонентам легко доказали,
Что правда на нашей была стороне,
Но после они арматуру достали...

Фокусы генетики примите без улыбки,
Спорить здесь бессмысленно – имеем, что имеем.
Если вы лет двадцать поиграете на скрипке,
Я вам гарантирую, вы станете евреем.

Не каждый ветер – суховей,
Не каждый чёрный чай – цейлонский,
Не каждый птенчик – соловей,
Не каждый Сапа – Македонский.



У тебя нет машины, квартиры и дачи,
Нет инфаркта, цирроза и колик в груди?
Не считай, что тебя сберегает удача,
Просто ты ещё молод и всё впереди!

Имеешь на юге свой дом и плантации,
На западе – роялти, деньги и акции,
На севере – скважину нефти большую?
Тебе повезло – ты живёшь по фэн-шую.

Порой в них льётся свет, порой гремит гроза,
Их даже тяжкая судьба не исковеркала!
Чем дольше смотришь в эти честные глаза,
Тем взгляд труднее оторвать от зеркала.

Поэт открыт и обнажён.
В него летят камень.
И собирает камни он,
Как знак благословенья.

Пройдёт немало долгих лет
И зим пройдет немало,
И камни, что собрал поэт,
Послужат пьедесталом.

МАРИНА ВОРОНИНА

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

повесть

1

Когда она умерла, земля встала дыбом. Словно дождавшись освобождения от надоевшей насельницы, испод кухни стремительно пророс всем, что веками таилось в придавленных недрах. Сквозь лопнувший пол лезла вверх трава, комья смёрзшегося грунта, корни, камни, тряпки. Посреди горбатилось нечто монолитное и тёмное, похожее на спину чудовища. Печь, столько испёкшая шанег и рыбников, всегда, стряпухой в пазухе, гревшая горшок с пшённой кашей или политую маслом картошку, развалилась надвое. В груди извёстки и кирпичных обломков синела щербатая верхушка огромного валуна.

Дверь в спальню валялась далеко внутри, точно выбитая ненавистным пинком.

– Мне страшно, – прошептала Елена. Не понимая, куда и как поставить ногу, чтобы не провалиться, нужно ли здесь вообще двигаться, не утянет ли, она ухватилась за рукав сестры. – Может, уйдём?

Татьяна не ответила. Внимательно и настороженно смотрела на разгром. Было и страшно, и грустно, и неожиданно, и холодил восторг возможной схватки с чем-то. Казалось, если она крикнет – эй, что происходит? – горб в полушевельнётся, разбуженный. И разлетится всё по сторонам вместе с двумя изумлёнными женщинами. Быть убитой издыхающим жилищем недавно почившей бабушки – не смешно ли? Прихлопнутой сосновыми половицами, которые они ребялёнками усердно тёрли и намывали, не обидно ли!.. Всё, что она видела, оставалось вне разума, возмущая и притягивая, как манит ныряльщиков глубина.

С осторожностью, опасаясь не столько свалиться, сколько потревожить чей-то перерыв в разрушительной работе, Татьяна пробралась в бабушкину спальню. Кровать исчезла. На голых, но целых стенах, не осталось ни фотографий, ни знаменитой метровой косы, напоминавшей девочкам скальп из романов Майна Рида. Диван был на месте, даже с ящиками.

– Тяни, – велела она Елене.

– Боюсь...

– Заладила одно и то же, сорока! Тяни, говорю.

Внутри отыскался стеклянный гардеробный номерок с выжженной семёркой, самодельная фото-рамка и крохотная деревянная трубка, прокуренная до дыры. Татьяна понюхала. От трубки терпко несло въевшимся табаком.

Задрезжали окна. Деревья на улице не шелыхали, но стёкла звенели, будто их трясло. От жёлоба остывшей голландки пахло холодом.

– Уходим. Стул возьми.

– Какой? – прошептала Елена.

– Сзади валяется.

За диваном лежал венский стул, с дырочками в отполированном многими задницами круглом сиденье. Схватив его, сестра помчалась вон, скатившись с задранной чуть не горизонтально коридорной лестницы.

Татьяна ещё постояла на пороге, запоминая картину разгрома. Какая-то неведомая сила уничтожала дом так мощно и яростно, что сомнений не возникало: здесь и сейчас уничтожается память. Горб дорастёт до скалы и окончательно, навсегда задавит камнем некогда живое и даже знаменитое место.

– Где же ты нагрешила, в чём напортила, Екатерина Алексеевна? – подумала Татьяна и неожиданно поклонилась в пояс тому, что уже нетерпеливо ожидало её ухода. Стёкла тряслись всюду, воздух



потрескивал, от земли тянуло прелью. Трижды перекрестившись, она повернулась спиной и, с трудом сдерживая желание оглянуться, спустилась во двор. Забрала у растерянной сестры стул и поспешила в сторону людей и машин.

– Чувство, что там никогда и никто не жил, – догнала Елена. – Но ведь сорок дней! Месяц... Куда всё делось?

– Разобрали.

– Старушечьи-то шмотки? У неё даже простенького телевизора не было. Книжки и разговоры за самоваром, и те – шепотом. Может, бомжи разворовали?

– Спроси что-нибудь полегче...

– Что с городом творится! Безлюдье, улицы не стрижены, не метены. Осталась ли тут какая власть? Я обезумела: сколько брошенных домов! А в них лампочки горят. Раньше о бомжах и не слыхивали. А теперь...

– Да, страшный город, – поддержала Татьяна.

Они шли по некогда центральной улице своего детства, мимо бывшего кинотеатра, бывшей школы, бывшего дома культуры. Пятиэтажные хрущёбы слепо моргали застеклёнными балконами. Общественная баня была ещё жива, действовала, но окружавшие её кусты боярышника с китайками усохли, и некому было сжечь в кочегарке кривые обвалившиеся стволы. Бетонный мост зиял провалами, смещёнными плитами, выпавшими перилами, и не рухнул пока в бурные волны потому, наверное, что редко кто проходил и проезжал по нему. Когда-то он слыл достижением инженерной мысли, пролегая километра на полтора, соединив растёкшееся устье студёного Белого моря.

Женщины несли стул, на них никто не оглядывался. С моря привычно задувал ветер, пахло гниющими водорослями.

– Бомжи не могли, – продолжала практичная Елена. – Да и как бы они сунулись туда, где Борис хозяин, в принципе.

– Значит, сам Борис. Что подходящее – снёс в скупку, в металлолом, прошил. Остальное на свалку.

– Стал бы он на свалку таскать! Не барское дело. Братя, вроде, младшие были.

– Померли.

– Камни эти... Слушай, может, подкоп делали? Искали ценности? Как тогда, у праделушки. А что! Бабуля тот ещё фрукт была.

– Лен, какие глупости ты городишь. Там подвала никогда не было. Дом на сваях стоял, потому что внизу – мерзлота. И с чего ты решила, что – фрукт?

– Ну а как же. Помнишь, у неё народ всякий топтался? Кто только не сидел за самоваром, даже парни молодые заходили. Ходят и ходят, шу-шу да шу-шу... Один чаёвник за дверь, другой ему на смену. И всё по-тихому, как в больнице. Вот, что это было?.. Сомневаюсь, выходила ли сама бабуля куда из дома?

– Скажешь тоже! Конечно, выходила. Забыла? Сколько раз мы после уроков прибегали, а к двери батожок приставлен – нет никого.

– Ага! – обрадовалась Елена. – Батожок! Вот искушение, скажи? Дом открыт, одна только палочка сторожит.

– И однажды ты эту палочку отодвинула, – засмеялась Татьяна, вспомнив, как нетерпеливая, шустрая семилетняя Ленка, которую все называли «помело», не выдержала и убрала от входной двери сигнальный батожок. Ужасно труся – то ли неизвестности, то ли внезапного возвращения бабушки, – они поднялись по лестнице. Девять гладких стёртых ступеней.

Метров в шестьдесят, оттого полупустая, кухня была привычно строга, тиха и надраена. Блистел на солнце голый пол. Светилась свежей побелкой печь. Поставок с остывшими углями для самовара стоял на чистом железном листе, похожий на стражника в чёрном мундире. Ушастая кадушка с водой покрыта деревянной крышкой, к уху, как обычно, прицеплен медный ковшик. Хозяин кухни – самоварище с вместимостью два ведра, начищенный до зеркального блеска, венчал длинный дощатый стол, застеленный клеёнкой в мелкие розовые цветочки.

Девочки пару минут постояли в дверях, оглядывая знакомое, хоть и редко посещаемое, место. Им нравилось и одновременно не нравилось приходить сюда, где с ними мало разговаривали, но неотступно и строго приглядывали. Каждый раз бабушка учила делать что-то по хозяйству. Как мыть полы, как стирать собственные майки, елозя куском хозяйственного мыла по ребристой цинковой доске. Всё это было скучно, нудно, а заканчивалось традиционным чаепитием и молчаливым чтением книг. Внучки листали то, что принесли с собой, а бабушка Катя – «Приваловские миланонь». Книжка читалась и перечитывалась ею

так давно и долго, что разбухшими страницами обрела размеры фолианта. Имелись ли в квартире другие книги, кроме «Приваловских миллионов», они не знали.

До сих пор непонятно, для чего мама упорно посылала их навещать бабушку, а когда девочки жаловались – там скучно, сурово отвечала: терпите. И почему бабушка не противилась их приходу, принимала, кормила, оставляла ночевать. Ведь она никогда не радовалась им, не привечала. Из-за любимчика Бориса? Так он уже в который раз грел очередные нары, семьи давно не существовало. А сентиментальной, умильной старушкой Екатерина Алексеевна никогда не слыла. Хотя и выглядела ею: маленькая, с круглым личиком, в светлом переднике на цветастой юбке, с тёплыми ручками без двух пальцев на правой кисти.

Девочки сознавали, что мама с бабушкой друг дружку недолюбливают, мягко говоря, хотя ни та, ни другая никогда про это не произносили ни слова. На их памяти мама побывала здесь лишь один раз.

Это произошло зимой. Татьяна помнит, что на маме было тяжёлое ватное пальто и отсыревшие от мокрого снега драповые бурки. Раздеться бабушка не предложила. Таня стояла, мама присела у порога на табуретку. О чём шёл разговор, она не поняла. В конце им завернули на дорожку пяток картофельных шанег, только что вынутых из печи. Дома мама выложила ещё горячие шаньги на блюдо и воскликнула: – Хоть режь, но больше всего на свете я люблю её шаньги!..

В квартире, кроме кухни – сосредоточия бабушкиных дней, имелись две комнаты. В узкой, навряд ли вместительной кладовки, жила то ли квартирантка, то ли наперсница, тётя Мапа, молчаливая худая старуха в плотном платке старообрядки. Другая – просторная, с окном в полстены, отчего стена казалась стеклянной, как на веранде. От окна, перегораживал комнату массивный стол с толстыми резными ножками. Девочки давно подсчитали, что поместиться за ним могли двенадцать человек, но у бабушки стояло всего два стула, один из которых они несли сейчас по городу. Стол явно был пришлым, из другой действительности и, наверное, таил какие-то секреты. Но им никогда не удавалось хоть бы на маленько приподнять скатерть и рассмотреть столешницу, дабы убедиться в наличии других деталей, кроме круглых ножек. В комнате дети никогда не оставались одни.

Была тут ещё массивная этажерка со всякими мелочами, навряд ли коробок с пуговицами, набором спиц и веретенец, мотками овечьей шерсти, которую бабушка пряла, наверное, всей округе. Если она не пекла пироги, не пила с кем-то чай и не читала «Приваловские миллионы», значит – сидела за прялкой и накручивала на веретено мохнатые нити. Удивительно, но она никогда не связала внукам и пары рукавиц. Тогда это почему-то не казалось странным или обидным. Даже мысли – не свяжет ли нам бабушка чего? – не возникало.

Всё, что делала баба Катя, как она жила, происходило параллельно их жизни с мамой, касалось опосредованно. Как бы часто Таня с Леной к ней не забегали, не оставались ночевать, не подставляли головы под жёсткий гребешок, которым вычесывались предполагаемые бабушкой вши, они оставались гостями. Дальними и, как скоро они поняли, бедными родственниками.

Север не располагает к явной нежности отношений. Их же баба Катя являлась исконной карельской поморкой. А те – что прибрежные валуны: сколько волны по ним не хлещут, какие льды не громоздятся, стоят себе вмертвую, ни осколочка не отскочит. В суровом краю и люди суровые, известно.

Ни смеха, ни песен не разносилось по огромной кухне. И дети, прибегая, с порога превращались в оловянных солдатиков. Если бы не мамина южная кровь, не врождённая любознательность и способность нафантазировать что угодно, намывая посуду и глядя на свои кривые рожки в самоварных боках, девочек к бабушке и волоком бы не затащили.

За столом прятался пружинный диванчик с откидывающимися валиками и ящиками понизу. У дальней стены – никелированная бабушкина койка, высокая от множества тюфяков под периной. Спала баба Катя практически сидя – такая гора подушек подкладывалась ею под голову. Над постелью – та дурацкая девичья коса. С чьей головы её срезали и почему, никто не объяснял. Икон Екатерина Алексеевна не держала, но если поминала Господа, крестилась искалеченной лапой на восток, а укладываясь спать, долго шептала какие-то молитвы, глядя в стену. На стенах висели фотографии отца с матерью и самой Катерины. И та, грудастая, с полной шеей, увешанная речными жемчугами Катерина настолько не походила на нынешнюю бормочущую старушонку, что Тане всегда хотелось смеяться.

В тот раз, приоткрыв незвано дверь, девочки увидели то же, что видели всегда, и через минуту уже мчались в свой дом пионеров, где было гораздо интересней и веселее, чем в бабушкином гнезде.

Они расстались с неласковой бабушкой, с продуваемым прибрежным городом, тогда вполне ещё благополучным, на исходе семидесятых, как закончили школу. И возвратились через тридцать лет, полу-



чив запоздалое известие, что Екатерина Алексеевна «нонеча отдала Богу душу» и похоронена там-то тогда-то. Тридцать лет они даже не писали ей писем. А тут что-то торкнуло повзрослевших внушек. Спешно собрались и поехали. Успели к сороковому дню, аккурат, чтоб попрощаться, если не с телом, так с духом.

Никто их не встречал, поминок не устраивал. Вместе с бабушкой и город тоже, казалось, вымер. В редких прохожих сёстры никого не узнавали, и на них никто не смотрел. Бросив вещи в привокзальной комнате матери и ребёнка, они явились к осиротевшему жилищу.

И увидели то, что увидели: дом уходил в землю вслед за хозяйкой. История, содержание которой, не считая случайных упоминаний, редких деталей, была для потомков вытравлена – нечаянно или нарочно, кто объяснит? – завершилась.

Очень скоро, через полгода, на ещё живом куске земли, спрятавшим бывшее бабушкино жильё, вырастет супермаркет, скрыв под фундаментом даже очертания, самый намёк на существование здесь некой точки мироздания. Узнав про магазин, сестры подумают: гроша ломаного жалко дать за его безопасность. Их бы воля – обнесли бы сестры это место оградой, оставили нетронутым, как есть, точно кашнице.

А пока, они вернулись на вокзал и разложили захваченные трофеи.

– Зачем нам номерок? Куда сунем вонючую трубку? Чемодан табачищем пропахнет, – рассматривала их Елена. – Стул тащить через всю страну... вечно что-нибудь выдумаешь, Танюха.

– Не верещи. Дотащим. Трубка, наверняка, отцовская. Тот ещё бродяга был, романтик-экспроприатор...

– Не валялась бы в диване чужая, факт. А рамка – кстати. Сунем туда деда!

– Прадеда, хочешь сказать.

– Ну да, Алексея Архиповича Нягтиева.

2

Рамка была стругана из дощечек и пропитана морилкой так качественно, что не расхлябалась и не потеряла глубокого орехового цвета, хотя сроку ей было лет пятьдесят, а то и больше. Сохранилось и стекло, и гвоздочки с грубой бечёвкой для цепляния.

Фотокарточка бабушкиного отца хранилась в скудном мамином архиве. В затрепанной бумажной папке с измахрившимися тесёмками, которую дочери разбирали после похорон, лежали пара десятков снимков времён маминой запоздавшей юности. Вот она с одной подругой зимой у берёзы, вот с другой летом у входа в парк. Вот, в подвязанных халатах и марлевых беретиках, живописная группа медсестёр и санитарок расположилась в больничной беседке: у ног распласталась горбунья, другие стоят в ряд, по-детски держась за руки. Везде – мама самая приметная. И выше всех, и чернявее, и беретик самый кокетливый, и тень улыбки идеально очерченного рта наверняка заставляла трепетать многие суровые мужские сердца. И – никаких снимков предполагаемых родственников, никаких семейных застолий. Кроме старинной фотографии с фирменным оттиском: «Архангельск 1916 год».

И без надписи на картонном обороте, что это – Нягтиев Алексей Архипович, таможенник торгового порта села Сорока, женщины признали бы своего 36-летнего прадеда. С детства они видели это худое угрюмое лицо над бабушкиной постелью, и прекрасно помнили, что из-под окладистой широкой бороды, сильно старившей Алексея Архипыча, виднелся Георгиевский крест. Здесь Нягтиев запечатлен без Креста, с пустыми погонами на гимнастёрке, в фуражке с кокардой. Он сидит нога на ногу, красуясь высокими опойковыми сапогами, и смотрит в камеру строго, надменно и недоверчиво. Дело ль делаешь, мил-человек, под чёрной накидкой аппарата?..

Сёстры помнили, что из своей краткосрочной семейной жизни, мама чаще всего и, главное, с удовольствием, вспоминала именно дружбу с дедом, заменившим ей и свекра, и отца.

Последние годы старик жил в одиночестве, отослав жену Дарью окончательно к дочери в город. Ни слова, ни понятия «развод» в глухих поморских селениях не существовало, но это был именно развод и, вероятно, такой же суровый, как сам Алексей. В сохранившихся письмах с фронта сына его Изота, погибшего в Румынии в 1945 году, нет и слова приветствия бате. Значит, тот уже тогда жил бобылем, а ведь прожил после Победы ещё пятнадцать лет.

«Нётти» в переводе с карельского значит «красавчик». Фамилии и прозвища попусту не дают. Это всегда метка, по которой угадывалась в человеческом стаде особь. Из-за лопатистой бороды и всегдашней хмурости признать в Алексее Архипыче красавца было затруднительно, но это – с какой стороны смотреть и какими мерками мерить. Вероятно, мама смотреть умела. По любому, во взаимной симпатии

нелюдимого старика и залётной украинской красавицы Оксанки, жены его внука, усматривается сродство душ. Вроде того, что свой свояка видит издалека.

Оксанка была единственной, кого он пускал в дом. И она единственная, кто сумел туда войти, когда дед умер.

Дикого нрава лайка, нягттиевский охранник и сообщник, видалась к двери на малейший шорох, готовая разорвать каждого, кто осмелится потревожить хозяина. В окно видели, что Архипыч помер за столом, окаменев перед миской с тюрей. Неизменный его обед: покрошенный в миску с водкой ржаной хлеб и репчатый лук.

– Всё как не у людей, водку и ту ложкой хлебает, – рядили по деревне.

Пристрастие деда к адской смеси и тогда удивляло мужиков, возмущало баб, а нынче в такое вообще поверить сложно. Но легенда утверждает: ел тот исключительно тюрю на водке.

Сидел Архипыч сутки, а то и дольше, пока не догадались послать за Ксанкой. Три часа до города торхала сельсоветовская телега, три обратно. Но, получив весть, невестка не мешкала. Как была в медичинском халате и тапочках, так со смены и поехала, только что швабру в закуток убрала.

Ксанка смело, не раздумывая, толкнула плечом тяжёлую дверь и скрылась внутри. Уж собака визгу подняла, уж она каталась по полу от счастья, что явился главный человек, и освободит их с хозяином от стылых оков смерти. Оксана прицепила пса в дальней кладовке, пообнимала, пошептала и, наконец, выпустила народ.

Гроб, как заведено у серьёзных людей, давно дождался на чердаке, оббитый чёрным сатином и устланный стружками. Похоронили Нягттиева в тот же день, на закате. Лайка исчезла неведомо куда. Оксана заперла хату и вернулась в больницу.

Дарья с дочерью не спешили ехать в деревню принимать наследство. Не лежала душа входить в пропахший махрой и спиртом дом, откуда они были изгнаны много лет назад. А когда явились, дома уже не было.

– Батюшки святы! – крестилась вдова на груду бревен.

Рослая, с топорно скроенным, закоричневевшим от времени, но всё равно чем-то неуловимо прекрасным, будто деревянная икона, лицом, она стояла перед тем, что когда-то называлось семейным гнездом. Ветер трепал по ногам старого льна юбку, срывал с головы по-старообрядчески повязанный плат.

Сосновый, длинный, с высоко рубленными окошками, чтобы зимой не заваливало снегом; с острой, опять же от снежной тяги, двускатной крышей, дом строился специально для молодых. 25-летний Алексей, счастливо избегнувший русско-японской бойни, вложил в него все заработанные на таможне деньги. Строиться на берегу, как все, не пожелал.

– Не рыбак я, – нехотя объяснял он, почему ставит дом наособь, ближе к тракту, метров за триста от деревни.

И хоть, правда, не рыбачил Нягттиев, другим прикормом жил, не поверили, видать, мужики.

– Золотишко, баю, прячет, – нашептывал в уши Федька Евтифеев. – Внутрях плотничать не дозволил, прогнал. Сам-от! А мы чё, видим разе, чё он на отшибе сам-от делает?

– Небось, приворовывает со шнек да карбасов, чё говорить. Сколь с Груманта товара запрещённого тащат.

– И приворовывать не надо, купчишки сами отдадут. Аль забыли, как забрали бот у Шамалуева? На мысе Бережнуха пост таможенный, так он хотел мимо шмыгнуть, с норвежским ромом в трюме. Ну и, задержали, известно. Ему бы сунуть солдатне бочонок, а он ярится: я-де, купец первой гильдии, делиться с захребетниками не желаю, и такое прочее. Всю контрабанду забрали, и улов, и бот, да штрафку ещё сколько написали. Тронуся-от Шамалуев от такого горя и несправедливости...

Сказка про нягттиевское золото ходила по деревне, а вернее – тишком ползала, дабы Архипыча не озлить, до самой его смерти. И то, что старик презрел вступать в колхоз (без меня сопливьтесь в «Батраке» своём, сказал), но чем-то жил, из каких-то средств покупал ту же водку, только укрепляло подозрение земляков – точно, имеется золотишко!

Подождав Дарью с неделю, мужики не выдержали. Влезли внутрь и вначале скрытно, по ночам, рылись в дедовом подполье, простукивали стены. То ли не нашли ничего и потому рассердились, то ли нашли да следы скрывали – никто же потом не признался, не повинился, – но пришли ватагой днём, с ломами и гвоздодёрами. Разнесли дом, только груда ещё крепких брёвен и самодельная мебелишка, сваленная кучей в стороне, достались Дарье от мужа. Та шум поднимать не стала, по дворам не пошла. Вывезла всё подводой в город – дочери на дрова.



А место до сих пор нетроннуто осталось, сгнившими до сухой зелени колышками отмеченное. Растёт в зарослях жёсткой поморской травы берёза, пошевеливает вислыми ветками, будто неустанно отпевает кого-то, горюет, уговаривает.

Дыма без огня не бывает. Нягтневское золото существовало. Только сам старик об этом слыхом не слыживал...

– Да, как раз для деда рамка, – решила Елена. – Не пообедать ли, сестрёнка?

– Да, нет бужета. Кого кормить? Пассажирские мимо нас пулей проскакивают, – зевнула дежурная по вокзалу.

– А мы как же приехали? Не поездом разве? – резонно усомнились вокзальные постояльцы.

– То-то и оно. Кто – сюда, ещё останвят, высадят, а ради тех, кто отсюда – не тормозят. Звонишь раз по десять, надоедаешь, что билеты проданы.

– Но почему? Это же узловая станция! Здесь порт. Лесошпальный завод, в конце концов. Как могут поезда не останавливаться на таком объекте?

– Вспомнили! Нет давно завода. И порта нет. Пяти морей... Эх, рыбу знатную там коптили – обеденье. Особенно беломорочка хороша была. А песцов каких на зверофермах разводили? Доски за границу продавали?.. Всё было. Только вот, кончилось однажды. Раз – и пусто. А вы здешние, что ль? Не похожи.

– Родились тут, да.

– А я сюда соплушкой после техникума заступила. Думала – повезло, на серьёзное место попала. Грузовые составы на запасных в очередь отправку ждут. Почтово-багажный по два часа оформляясь, столько корреспонденции всякой. С этакой станции да карьеру не сделать? А оно, вишь, как повернулось... Распродали город чёрт-те кто и кому. Ничего нет. Кроме магазинов. Вы сходите, купите чего поесть. У меня разогреете. А нет, так ресторан где-то там открыт, «Европа» называется.

– А как же мы назад?

– Посадим! Но, чтобы без нервов, лучше автобусом. Если недалече ехать. А так – посадим, куды ж мы денемся! Какая-никакая, а станция пока ещё, – и дежурная рассмеялась, демонстрируя редко стоящие золотые коронки в широком напомаженном рту.

«Европой» оказалась бывшая столовая лесозавода. Притемнённый интерьер скрывал огрехи дешёвой отделки. На стекле, защищающим бордовую скатерть, просматривались следы фужеров и пролитых жидкостей.

– Не буду я это есть! – отшвырнула Елена меню. – С ума сойти, сколько стоят у них «вручную слепленные пельмени с нежнейшим мясом молодых бычков»!.. Хоть бы не так нагло ввали. Купили оптом по акции в магазине, а продают за эксклюзив шеф-повара.

– Выберем что-нибудь нейтральное, примирительно сказала Татьяна. – У меня же таблетки, сухомятку нельзя.

Солянку, впрочем, подали вполне съедобную и щедро густую. Было два часа пополудни. Серый день за окном отличался от минувшей ночи только слегка поголубевшим небом, да шумом проезжающих автомобилей, заглушавшим шум реки на скальных порогах.

В ресторан ввалилась компания весело взведённых молодых ребят, веселящихся, видимо с утра, с первой похмельной стопки. Громко, точно оглохшие, переговариваясь, они проследовали в дальний угол. Все одноцветно серые, тощие, с ореолом голодной немытости. Усмотрев в руках одного полуторную бутылку минералки, официантка заверещала:

– Нельзя со своим! Уберите, не стану обслуживать.

– Ты чё, коза! Это газировка.

– Знаю, какая-токая газировка! Градусов шестьдесят, не меньше?

– Нюхай, кувырла, – отвинтил крышку долговязый парень в резиновых сапогах. – Чё, убедилась?.. Тащи-ка, лучше, жрать. Ну и, графинчик тоже.

– Два графинчика! – засмеялась компания, с шумом рассаживаясь.

– ... Как думаешь, что это за номерок? – крутила Елена стеклянную бирочку с выжженной чёрной семёркой. Совершенно нетипичный предмет для бабушки Кати. Культурной жизнью не увлеклась, в гардеробах не раздевалась. Может, из поликлиники? Случайно же попасть он в диван не мог.

– Или это чья-то память.

– Чья?

– Мамина. Есть история, как они с отцом последний раз ходили на танцы.

- Не помню такую историю.
 - Ты крохоткой была, когда она рассказывала. А я уже в третьем классе училась. Запомнила.
 - Тебе повезло, – с привычной завистливостью протянула Елена. – Сколько она тебе всего понарасказала! Я только слушаю и дивлюсь, будто в чужой семье росла.
 - Уж куда как повезло... Все дети давно в постелях лежат, а десятилетняя Таня полы в школе моет...
- Мне думается, этот номерок имеет отношение к тебе.
- Как это?!
 - А вот как. Секунду... Девушка, можно вас? – подозвала она официантку. – Принесите, пожалуйста, стакан кефира или молока.
- Девушку заказ явно обескуражил. Вечно эти приезжие что-то удумают, читалось в недовольном всем на свете взгляде.
- Кефира или молока? – тянула она, пытаясь угадать, кто эти тётки, не опасны ли, не проверка ли какая.
- Полная, с коротким ёжиком седых волос, явно смахивает начальницу. Вопрос – чью? Другую, худую, с уложенной рыжей прической, в серебряных перстнях и браслетах, тоже можно принять за кого угодно.
- Ну да, молока, – подтвердила седая.
 - У нас такого нету. Это в магазине надо.
 - Тогда молочный коктейль.
 - Э... Коктейля тоже нету, – мучилась официантка.
 - А мороженое есть?
 - Мороженое есть! – моментально взбодрилась та, взяла карандаш наизготовку и гордо перечислила: пломбир, ванильное, фисташковое, с шоколадом, с фруктами, с коньяком!
 - Пломбир, без ничего.
 - Шоколадной крошкой посыпать?
 - Без ничего.
 - Собираешься мороженым заесть таблетку? – потешалась Елена, глядя, как мчитя на кухню освобождаясь от непонятных просьб официантка.
 - Подожду, когда растает.
 - Надо было с собой кефир захватить.
 - У них нельзя со своим, ты же видишь, – махнула Татьяна в сторону парней, уже открыто разливавших «газировку» по ресторанным рюмкам, и сёстры расхохотались. – Так вот, про номерок. Мама на сносях была, два месяца оставалось тебя донашивать. И пошли они с папой Борей на танцы...

3

Борис был, конечно, дамский угодник и по женской части большой ловкач. Чем их брал, неизвестно. Сам в точности не понимал, почему женщина – простая или мужняя, красавица или так себе, – соглашалась хоть в кино, хоть в постель через несколько часов общения. Конечно, в разговор с дамами он вкладывался, как мерин в борозду, не жалел ни слов, ни улыбок, ни света в глазах, ни времени, ни обстоятельств. Ареной становилось всё, где он заставлял зацепившую его внимание прекрасную особь. Очередь в аптеке? Пусть. Знакомство на улице? Отлично. Застолье? Ничего проще. Хоть вся семья стеной загороди предмет, но если Боря решил – предмет будет принадлежать ему. Одно слово – вор-домушник.

Включалось в нём что-то при виде женщины. Не желание – больше. Словно он обязан, призван душевно потратиться на Машу-Нюру-Дусю, что-то отдать им, оделить, вернуть. И поэтому в каждую – собирался или нет – влюблялся. Пусть на два часа короткого ухаживания, но влюблялся, как заговорённый. Не для себя опять же, для неё. Загорался влёт, но и затухал легко, выполнив миссию. Освобождал себя для следующего любовного переживания. Покидал арену так, чтобы женщина о нём вспоминала, по возможности, без ненависти и вёдер выплаканных слёз. Чему, кстати, невзрачная внешность его весьма способствовала. Понервничав на ветреного кавалера, женщина всегда могла утешиться: «Не очень и нужен такой уродец, получше найдём!».

Кошелёв Борис роста был чуть ниже среднего, курносый, тонкогубый, с продавленными, как у матери, светло-серыми глазами, всегда поблескивавшими презрительным холодком – дескать, ну и мурло вы все, мимо ходящие. Залысины тонких волос преждевременно оголили круглый аккуратенький черепок. При моде на вихры и шевелюры, реденькая прическа Бориса не красила, зато придавала солидности.

Он с детства профессионально промышлял домушничеством. В жилища влезал не от стечения об-



стоятельств, когда нужда припёрла. И не по причине хулиганского куража, которое толкает на проступки и преступления от самого себя неожиданным чихом. Нет. Каждая акция продумывалась, планировалась, вдохновенно подготавливалась; вычерчивался маршрут выноса чужого добра, место схрона, схема сбыта. Строго соблюдался принцип: там, где живёшь, не гадить. И потому соседи Кошелёвых, зная или подозревая о его воровском промысле, ни разу парня куда надо не сдали. А зачем? Сдашь своего придурка, явится чужой. А так, и договориться всегда можно, и защиты попросить, а уж за собственные замки точно не беспокоиться.

Конечно, с бабами он своими профессиональными делами не делился, при знакомстве вором не представлялся. Не потому, что нельзя или стыдно. Подобные чувства он вряд ли испытывал. Не потому также, что опасался бабьих языков или собирался кого-то из них использовать в нужных целях. Ни в коем разе, баба – это десерт жизни, её для другого занятия беречь требуется. Обе пламенные страсти – воровство и любовь, он старался не смешивать, наслаждаясь каждой в чистом виде. Но домушничество, практикуемое с детства, всё-таки наложило отпечаток на его и без того непримечательную внешность. Быть неброским и незаметным в толпе, не опознаваемым случайными свидетелями входило в набор его преступных инструментов, наравне с отмычкой. И женщина, вдруг бесследно покинутая пылким обольстителем, скоро благополучно забывала, как он, собственно, выглядел-то. И встретив на улице (чего он старался всё же не допускать), не узнавала не сразу.

– Что и требовалось доказать, – удовлетворённо хмыкал Борис, когда недавняя пассия смотрела в его сторону припоминающе, но отчуждённо.

Тогда, через шесть лет после бойни с гитлерюгами, восемнадцатилетний Кошелёв ходил в авторитетах. Золотые дни воровской шпаны!

Город, венчающий длинный, самый длинный в мире, путь сталинского Канала, всегда был заполнен войсками НКВД. На время военных действий он был набит ими под завязку. Мало того, что усиленно охраняли Беломорско-Балтийский путь, так ещё и орду властей, вывезенной из оккупированной столицы властей со всеми республиканскими архивами. Фронт давил сверху и снизу. Слева враждебная Финляндия. Справа студёное море. Городок поневоле обрел статус прифронтовой столицы. Не только воры – невинные пynchужки самоистребились на это суровое время. Зато потом!..

Когда гитлерюг погнали по Европе, замороженный городок встряхнулся и началось мощное производственное возрождение. Законсервированные цеха, доки, платформы, фермы, дороги ударно заработали на восстановление народного хозяйства государства. Укрупнился торговый порт. Развивалась рыболовная база. Загрохотал деревообрабатывающий завод. Вернулись из эвакуации жители. Привезли назад спрятанных по лесам бывших заключённых, возводивших до войны сталинскую гордость. Канал заработал, а строителей расконвоировали, но разъехаться не позволили, превратив тут же в вольнонаёмный обслуживающий персонал.

Городок естественным порядком наводнился таким количеством разнокалиберной публики, воря, прежде всего, что НКВД подняло руки: сдаёмся! Делайте, что хотите, только объекты хозяйствования не трогайте. Иначе – стреляем на поражение. К таким, как Борис, вольность пришла небывалая. Преступный оборот настолько убыстрился, что нередко пропавшее платье хозяйка видела уже третьего дня на дамочке, купившей его законным путем «вчера на рынке или даже в магазине». Милиция замучилась составлять протоколы «по факту обнаружения украденных вещей».

И тут, беспринципный и осторожный, Борис вдруг решает обзавестись статусом законопослушного гражданина: «прогуляться до армии». Концы какие-нибудь отсекал, или что почуял, или просто отдохнуть решил – не рассказывал. Но на полном серьёзе отдал три стройбатовских года родной Отчизне.

Биография Кошелёва, как и его невзрачная внешность, полна противоречий и несовместимостей. «Особо опасный рецидивист» имел трудовую книжку, где основной профессией значился «плотник». Вписан там ещё «стрелок 1 класса команды ВОХР», уволенный через полгода за «употребление спиртных напитков на рабочем месте». И это после 20 лет отсидок в колониях разного режима. Может, книжки были липовые, а может, и нет, но было их числом три.

Подлоги, враньё, скрытность, лихачество, внезапные порывы благородства и доброты, способность красиво обольщать и умение хладнокровно убивать перемешались в Кошелёве, как карточная колода. Но одна карта в ней оказалась не краплёной, а потому битой: любовь к Оксанке.

Мама была много старше его – на целых восемь лет, выше на голову. Красавица украинской породы, возле которой любой мозгляк превращался в добра молодца, потому что невозможно быть приближённым и при этом не стать добрым молодцем.

Общее прозвище «каналоармейка» не прилипло к ней, хотя именно каналоармейкой она и являлась. Но об этой части биографии разговор особый. Главное, что на момент встречи с Борисом, Оксана уже лет пять жила вольным человеком, восстановленным во всех правах, и единственное, о чем болела её душа – о нерождённых детях. Чудовищные будни пробиваемого в скалах судоходного канала, не особенно и пригодившегося стране, загубили женское здоровье. Но вдруг столкнулись две личности, малоподходящие друг другу, и высекали две искры: Таню и Лену, сидящих сейчас в убогом ресторане не справившегося со своей миссией города, и разглядывавших цифру семь на гардеробном номерке.

– О, краля! – толкнул Бориса локтем дружбан Костик Воробьёв.

По дощатому тротуару навстречу им шла раскрасневшаяся от мороза молодка. В чёрном суконном пальто, толстом платке, намотанном на голову с воротником вместе, в ботиках на резиновом каблукке. Она спешила, мелко и быстро семена по утоптанному снегу и, боясь поскользнуться, неотрывно смотрела под ноги.

Борис дёрнул дружбана в сторону. Провалившись в сугроб по колени, они пропустили мимо так и не заметившую их кралю.

– Зря! – посмотрел вслед Костик. – Можно было поручаться. Дорожка узкая, куда бы она делась?

– Не зырь. Не твоё.

– Че, уже присвоил? Ну, ты и хват. Только где ж ты её отыщешь? Упорхнула птичка.

– Моя забота.

– Валяй, – с досадой согласился Костик.

Спорить с Кошелем, тем более, тянуть на себя, что тот присмотрел, мало кто решался. Вернувшись со службы, Кошель без просьб и лишних обсуждений вернул лидерство в шайке, спровадив в отставку пришлого, но жестокого любителя помахать ножом, Гошу Редькина. Пока прежний вожак отсутствовал, спокойная воровская компания постепенно превратилась в разбойничью. Некоторым это нравилось. Но большинству хотелось, как прежде, нормально жить в родном, пусть и периодически обворовываемым ими городе, ходить без оглядки, жениться, кому-то даже работать, в угоду родственникам.

– Гуляй, – холодно посоветовал 23-летний Борис сорокалетнему громиле Гошику, явившись на стрелку в двубортном фарсовом костюме и белой рубахе. – А вы чего варежки разинули? Шагайте следом! – и пошагал развалочкой на бережок, проставиться за возвращение.

– Сквитаемся! – пригрозил опозоренный Гошик. Но не успел. На следующий день его увидели висящим на фонаре в центре городка, в петле, сделанной из армейского ремня Кошеля...

Дамочка с тротуара, внезапно задев чутунное сердце Бориса, с каждым днем всё глубже в нём отпечатывалась. Казалось, что сердце треснет, столько в нём было теперь этого дурацкого, как у старухи, платка, грубых варежек, чулок цвета жухлых листьев. А ноги? Он вспоминал длинные гладкие икры и поскрипывал зубами.

Отыскать молодку труда не составило. Кошель не поленился один из свободных дней провести, устроившись на валуне вблизи той самой дорожки. Со стороны не светился, но сам видел всё и всех. К вечеру дамочка появилась. Шла, всё также закутанная, поддерживаемая под локоть каким-то хлыщем. Борис проследил их путь. Сквозь неплотно задёрнутые занавески убедился, что барак, в который они вошли, её квартира.

Когда она размоталась и сняла тяжёлое пальто, голова Бориса чуточку закружилась. Женщина была совершенна, как актриса. Прямая спина, гордо вздёрнутый подбородок, брови вразлёт, крупные белые зубы. В низких лацканах тёмного костюма виднелась потрясающая грудь. Не сама грудь, конечно, а только блузка, но под гладким шёлком, под ленточным бантиком угадывалось роскошество, убедившее парня завоевать эту красотку, чего бы ни стоило.

Красотка поправила волосы, чёрными кудрями, спускавшиеся на воротник и открывающие крупные уши, с которых не свисало серёг. Прижалась к своему то ли мужу, то ли хахалю, и Борис спрыгнул с завалянки. Смотреть дальше было неинтересно.

Первый пункт программы завершён. Барышня отыскалась. Никуда она теперь от него не денется. Завтра можно приступать к пункту два: знакомству. Третий и четвёртый пункты обозначатся по ходу дела. Кто знает, может ещё придётся свернуть весь план действий. Может, не захочется ничего дальше. Может, краля эта на самом деле – тупая курица, не стоящая его внимания и усилий. Перепихнуться есть с кем и без неё. Так пытался думать Борис, чуя нутром опытного обольстителя, что ничего не свернётся, а наоборот развернётся, и финал ещё не начавшейся истории ему не предугадать. Но он обожал опасности, риск, игру, и потому ещё сильнее пожелал эту женщину.



С самого начала всё пошло не так. Сколько бы Кошелёв не попадался на пути, она его не замечала. Просто-напросто НЕ ВИ-ДЕ-ЛА. Он и здоровался, и время спрашивал, и комплименты отпускал, и след в след ходил. Бесплезно. Каждый раз она отвечала что-то невнятно-беглое, и безразлично плыла мимо, поскрипывая ботами. Борис растерялся. Быть пустым местом ему ещё не доводилось.

– А чего мы такие фифы? – произносил он монологи, ворочаясь без сна на постели. – Что из себя воображаем? Ну симпатичная – признаю. Шмотки как надо прилажены. Интересно, где она барахолится? Не шибко санитарки в больницах зашибают, чтобы такие жакетки носить. Поломойка! Из одного барака в другой перепрыгнула, а – нос воротить?!

Он вспоминал белую бязевую косынку, повязанную на затылке, закатанные валиком рукава и стонал: – Вот же стервоза!

В безразмерном халате санитарки, с обтрёпанными завязками на спине, подпоясанная кушаком, Оксана Михайленко казалась соблазнительнее, чем в киношном костюме с бантом. Добавлялось тёплое ощущение податливой ласковости «сестрички», и это будоражило.

Практически всё теперь про неё Кошелёв знал. Кроме одного – как юная хохлушечка попала на великую северную стройку. В его среде заказано интересоваться скользкими деталями чужой биографии, но всё равно непонятно. Выходит, девчонка оказалась здесь лет в десять. За какие же грехи? Малолеток на канал не пихали, родичей у неё, похоже, никаких не имеется. Странная ситуация. Плевать. Что он – следователь?.. Всё в прошлом – взрывы, граниты, война. Мирная житуха вокруг, воля вольная – пользуйся, коли сила есть! Судя по хахалям, сил в этой санитарочке немерено!

В конце концов, он заставил Оксану с ним познакомиться. Пришлось, правда, в больнице дуриком поваяться, зато уж там она от него не отвертелась! Всё, что мог и не мог, вывернул из себя парень, чтобы увлечь, заинтересовать, понравиться, запомниться. Когда она смеялась, отворачивая к плечу скуластое лицо, его кожа покрывалась мурашками. Когда заглядывала по утрам в палату и громко, сверкая карими глазами, шептала – Борис, я здесь, выходи, – его сердце ухало, точно по спине ударяли поленом. Выпсываясь, он предложил Оксане выйти за него замуж. Попросил, точнее.

– Что? – удивилась та.

– Замуж. Давай вместе жить.

Вытащил из портсигара папиросу, постукал по кулаку, табак высыпался.

– Ты же одинокая, я знаю. – Борис отшвырнул пустую бумажную гильзу. – За мной, как за пазухой, жить станешь. Я фартовый, так что...

– Шутишь, парень? За кого меня принимаешь? Потравил анекдоты и – право занял, так что ли? – спрашивала она незнакомым голосом, в котором слышался и гнев, и насмешка, и бог знает что ещё, неприятное и неожиданное, вроде как к стенке припёрли и допытывают. – Я с ним, как с человеком, а он!.. Шуруй-ка мимо, да не показывайся больше мне на глаза.

– Ты чего? Я серьёзно! Одену...

– Пошёл ты, знаешь куда? Оденет он. Я, может, нищая и одинокая, но не настолько, чтобы каждому фраеру в невесты записываться. Вас тут много, я одна. Понял? Иди. Не хочу тебя знать. Фартовый нашёлся...

Но было поздно. Борис закусил удила и решил, хоть сдохни, овладеть горячкой. Раз за разом он подступал к ошметинившейся крепости, получал втыки, уходил оплётанный, но не сдавался: Оксанка сделалась его манией. Он уже не мог без неё жить. А упрямая баба этого не понимала. И отбрыкивалась, отмахивалась от навязчивого кавалера, ругалась и насмешничала, пока однажды он не приставил к её горлу нож.

То утро Оксана не забывала никогда.

Закончив суточное дежурство, она не торопясь возвращалась домой. Пахло скорой весной, подталым снегом. Блестели на утреннем солнце насморочные сосульки. В березах потренькивали синицы и горестно, как обиженные дети, вскрикивали пролетающие над головой чайки.

Больница была выстроена на отшибе, в конце острова, который так и называли – Больничный, заменив прежнее пугающее название Собачий. Соединялся остров с центром широким, кряжистым, поставленным на два заваленных бульжниками быка, мостом. Неистовое течение било в деревянные стояки, разметывало по сторонам густую жёлтую пену. Каждый раз Оксана останавливалась на мосту и заворожённо смотрела вниз на бурлящую реку. Вода словно бы уносила с собой усталость, ненужные мысли и переживания, бодрила для нового дня.

Там и поджидал жертву взбесившийся Борис. Потом он каялся, объяснялся, твердил про отчаяние и дикую любовь, и Оксана верила ему. Так оно и есть, понимала она, не повезло мужику, влюбился смертно и безответно. Но не простила, и не собиралась прощать.



Она смотрела на воду, напитываясь её силой, как вдруг платок с головы слетел и к оголившейся шее прижалось лезвие. Не ножа. В серьёзных делах Кошель пользовался более совершенным оружием – отточённым до тонкости бритвы хирургическим скальпелем.

– Я это, – хрипло задышал за спиной Борис. – В общем, так, красавица. Или выходишь за меня, или я тебя сейчас режу. Без вариантов. Соображай.

Оксана Михайленко хорошо знала местные нравы. Вариантов действительно не было. Она представила, как несут волны её порезанное тело в Белое море, и подумала: не хочу, рано. По шее уже сползала струйка крови.

– Выйду. Убери, – как можно спокойнее, скрывая ненависть, произнесла она.

Через месяц произошло чудо: Оксана Михайленко забеременела. Отмороженные на скалах органы ожили под неистовым напором бешеного Бориса. Осенью родилась Татьяна. Через пять лет Елена. За два месяца до рождения второй дочери Кошель справлял прощальную гастроль.

Его шайку наконец накрыли с поличным. Самого при этом не было, но и таракану было понятно: загребут. И он из свидетеля переквалифицируется в обвиняемого, причём, главного. А с ворохом статей, которые выложат на стол козырями, чалиться ему предстоит долго. И потому – гуляют все! В побег ударяться – себе хуже. Раз уж такая карта выпала – примем. Не сидел ещё, что позорно. Теперь отметится.

Дома он эти дни ночевал редко, отчего свекровь Екатерина Алексеевна ещё недовольней поглядывала на невестку. Она с первых дней была настроена против молодухи. Что такое! На восемь лет старше сына, расконвоированная – да на ней клейма ставить некуда! Ещё и регистрироваться отказалась, цаца.

Что верно, то верно. Оксана так и не согласилась признавать вынужденный союз с Борисом семьёй, хотя за детей была ему благодарна. Совместное проживание под воздействием обстоятельств – и хватит с вас. Что хотел, то получил. Если бы свекровь знала, что первенец носит материнскую фамилию, а в графе «отец» в метрике прочерк – бурю бы устроила не шуточную. Но та, не приученная к семейным разговорам, мало что спрашивала, и потому думать не могла, что за её спиной может такое твориться. Способность свекрови всё вокруг воспринимать со своей колокольни, не интересуясь подлинной картиной дел, Оксана презирала. Но никогда не высказывалась. С того дня, как её «взяли замуж», она везде и со всеми предпочитала молчать. Заводная, весёлая хохлушка, которую даже лагерь не очень-то обтесал, перестала петь песен и не рассказывала баск. Уже не завивала волос на бумажные папильотки, а гладко зачёсывала назад и наматывала кулей на затылке. Но, похудевшая, с запекшейся в глазах тоской, с мимолётными улыбками, она была красивее и притягательнее прежнего, и Борис ужасно мучился от её нелюбви.

Узнав, что Кошелеву грозят этапы длинные и отлаучка продлится неведомо сколько, облегчённо вздохнула.

– Знаешь, Боря... Я не стану тебя ждать.

– Вот как, – сообщение не поразило. Кот из дома, мыши в пляс. Он знал, что когда-нибудь они с Оксанкой расстанутся. Не знал только, как. И вот – пришло. Сам ей открыл дорожку.

– Помоги нам съехать от матери? Если не противно возиться, конечно.

– Когда собралась ноги делать?

– Да хоть с завтрашнего утра.

– Уже замену нашла постель греть?

– Успокойся. Долго ещё в хомуте ходить не захочется. Сыта, знаешь ли.

– Я любил тебя, Ксюха.

– Знаю. Если честно, ты был неплохим любовником. Иногда мне даже нравилось... А ты никогда не задумывался, почему я не сбежала, не придушила тебя тёмной ночью?

– Неужто смогла бы?

– Ещё как!..

– Побоялась?

– Нет. Открою на прощание секрет... Я ведь бесплодна, Боря.

Он смотрел, не понимая, где тут юмор, и на всякий случай насторожился.

– Не удивляйся. Я ещё в детстве всё себе на канале отморозила. С кем ни жила, забеременеть не получалось. Профессор один меня смотрел. Сказал – пробуй, девка. Шансов мало, но, может, явится чудо-богатырь и сотворит чудо, пробьёт твой смерзший ком. Так что, спасибо, Боря. Заслужил ты меня, получается. Жаль, что выбрал не лучший способ... Теперь мы разбегаемся. Даю слово: ни отца, ни бабушки детей не лишу. Вырастут, сами определят, кто из нас плох, а кто не очень.

– Значит, кранты всему, что было?



– Ага, кранты, – улыбнулась Оксана. – Иди, Боря, своим путём. Воруй, мотайся по стране, устрани конкурентов. Наша история – кончилась. Умный же, сам понимаешь. Тебе тридцать лет! Найдётся баба, с которой ты станешь счастливым.

– Сучка ты, однако... Но, всё правильно говоришь. Трудно с тобой жить. Иногда, кажись, вспорол бы, на куски порезал, но ведь – люблю. Так люблю, что землю под тобой целовал бы...

Скоро он перевёз дочь и беременную Ксюху в съёмную конурку. От вещей и денег она отказалась, сказала – не надо ворованного, сама заработаю, когда обживусь. Накануне суда попросил в последний раз сходить с ним на танцы.

– Живот на носу, отвяжись, – взмолилась Оксана, которой давно надоело смотреть, как петушится и красуется перед народом муженёк.

– Последняя гастроль, Ксюха. Пойдём!

И она пошла.

Борис был большим поклонником культурного отдыха. Посидеть в ресторане, сходить на концерт заезжих артистов, посмеяться над бравурными номерами местной агитбригады – это он любил. Но особенно тепло относился к танцам в клубе. Умел и вальсы, и фокстроты, танцевал красиво, мама здесь ему в подметки не годилась.

– Ты, Ксюха, пляшешь отлично. Дроби бьёшь – обзавидуешься. А вальсируешь, чисто корова. Посиди, лучше, на меня погляди.

И она все вечера сидела в хлопающем деревянном кресле, невольно любуясь, как умело и страстно кружит Борис по залу партнёриш. От неё это и требовалось. Борис пыхтел от гордости, что известная всем красавица – его собственность, и сидит, как привязанная, и на него смотрит. И смотреть будет до окончания вечера. И никто из мужиков не посмеет не то что, рядом присесть, заговорить, пригласить, пока он других крадь окучивает, но взглянуть на неё лишний раз поостережётся.

Те, последние их танцы, не заладились. Баянист не пришёл, включили радиолу. Но она скрипела и шипела немазаной телегой. Народу собралась горстка. Побродив по залу, потрепавшись с теми-этими, Борис решил вернуться домой.

На улице было черно и холодно до ломоты в зубах. Только зимний небосвод полыхал сиянием. Зелёные полосы гасли и заменялись красными, те переливались в перламутровые, вдруг вспыхивали бордовые и медленно менялись опять на зелёные. Казалось, что где-то наверху распахнули огромную топку, в которой горят души грешников.

Они шли по тропе, почти скрытые огромными сугробами. Оксана, как обычно, впереди.

– Всё-таки, чем собираешься жить? Как с детьми прокормишься? Тот, кто скоро вылезет, тоже ведь искусственником будет, ты ж безмолочная.

– Не переживай, справлюсь, – усмехнулась она заботливости мужа. Хотела обернуться и вдруг споткнулась, полетела лицом в снег. Оксана падала и с ужасом понимала, что Борис её убивает. Сквозь треск разрываемой ткани она ощутила жгучий укол скальпеля, затем ещё один, ещё... Она повалилась на свой огромный живот и заплакала. – Ненавижу, ненавижу...

Слезы его и остановили. Он никогда не видел, чтобы жена плакала. Никогда. Правда, до этого он её и пальцем не трогал, но мало ли поводов погоревать запертой в клетку птичке – может, втихушку и рыдала. Но при нём – никогда.

Оксана приморазивалась к снегу, глаза белели, слёзы застывали на щеках ледяными дорожками. Борис очнулся. Взвыл, задрал по-волчьи к небу голову. Потом тащил её, волок к дому, падал рядом, захлебывался соплями и страхом, просил:

– Не умирай! Не умирай!.. Живи как хочешь, с кем хочешь, только не умирай!..

Оксана не умерла. Даже не вызвала на подмогу врачей. Сама руководила, чем обработать, как перевязать порезы. Борис суетился, свекровь испуганно смотрела от дверей. В день суда, когда все ушли из дома, пленница поднялась с постели, одела дочь и навсегда покинула бабушкино пристанище.

– Мне думается, что номерок от тех последних танцев, – Татьяна забрала у сестры стеклянную семёрку. Долго на неё смотрела, точно видела в мутном квадратике лежащую под полыхающим небом маму. – Задумав убийство, отец забыл его вернуть в гардероб. А бабушка отыскала, но выбросить не решилась.

– Не привыкла ничего папиного выбрасывать! – усмехнулась Елена.

Они уже давно покинули «Европу». Шли рядышком по заросшим дорожкам, притоптанным на месте бывших дощатых мостовых.

Им никогда не нравился родной город. Может, неприятие впиталось с кровью матери, попавшей сюда

насилно и мало приятного здесь видевшей. Но три десятка лет назад, надо отдать должное, это был ещё вполне приличный город. Многолюдные лавки и магазины, таксопарк из новеньких волг, рестораны на каждой улице, «северные» заработки рекой, по улицам фланируют командированные морские офицеры с кортиками на золотых поясах. Теперь же плесень убожества покрыла всё, даже берега бурливой реки. Им казалось, что они гуляют по кладбищу.

– Ну, допустим. Номерок, рамка. Но как объяснить стул? – Елена, раздражённая обилием бездомных псов, трусящих по улицам вместо офицеров, жалась к сестре.

– Стул – это бабушка. Он раньше стоял в спальне, у стола, помнишь?

– Помню. Только их было два.

– Один сбежал, – хохотнула Татьяна.

– А второй дожидался нас?

– Похоже, что так... Думаю, это были не её стулья. И стол не её.

– Очередная добыча сына?

– Исключено. Прежде всего, Борис воровал и хранил у матери только вещи. Тогда с ними был дефицит, и пимотки выгодно расходились. А с мебелью морока, согласись.

– Мебель могла потянуть статью за разбой.

– Вот именно. Покажу тебе одно местечко. Может, помнишь, у поликлиники, рядом с домом бабушки большую клумбу? Горбатую, и ни одного на ней никогда цветочка? Нет? А я помню. Она была похожа на круглую могилу...

4

Почти в цель угодила Татьяна. Могилы – не могилы, но под okayмлённой выщербленными кирпичами клумбой когда-то и впрямь находилось нечто значительное. Во всяком случае, значительное для полумёртвого ныне городка.

Двести лет тому вместо врачей располагались по соседству с бабушкой инженеры, счетоводы, экономисты одного из солиднейших российских производств – двух Сорокских лесозаводов, снабжавших пиломатериалом и Россию, и Европу. А там, где потом бесплодно заскучала клумба, громоздилось чугунная пилаорама, отработавшая свой век и поставленная у заводоуправления в качестве памятника отцу-основателю заводов – Митрофану Петровичу Беляеву. Тут же темнел свежей бронзой его бюст с лаконичной надписью: «Воздвигнут памятник признательными служащими и рабочими в 1909 году».

Сам хозяин на тот момент 6 лет как покоился на Новодевичьем кладбище. И уже четверть века делами заправлял брат его Сергей Петрович. Чем заслужил, в память каких небывалых поступков заводские добровольно складывались копейка к копейке, чтобы отлить памятник основателю северного лесопильного производства? Не потому же, что, освободившись от бизнеса, Митрофан Беляев стал музыкальным издателем и меценатом. Не за то ведь, что в Лейпциге появилось и существует до сих пор его нотное издательство, публиковавшее исключительно клавирные и партитуры русских композиторов, особенно молодых и малоизвестных – Бородина, Глазунова, Лядова, Скрябина, Римского-Корсакова. И что им до основанной купцом денежной «Премии имени Глинки», которой поощрялись русские музыканты, композиторы и произведения вплоть до бунта семнадцатого года.

Откуда и к чему рабочим сорокских лесопилок было такое знать? Их музыка была иного склада – тревожные, тоскливые песни про белорыбицу, про бело морюшко студёно, про лебедей да селезней, мечтавших превратиться в красных девушек да добрых молодцев... Да и, за двадцать пять лет отсутствия Беляева на заводах помнили о нём одни старики.

Но долетело же до Сороки от него нечто важное и доброе, вдохновившее работяг на памятник. Даже старую пилаораму не забыли, уважили, привинтив табличку: «Распилила 1.200.000 бревен». То, что потом эти же работяги сбивали бюст с пьедестала, водружали взамен наскоро слепленную голову вождя мирового пролетариата, а слова любви к вождю вырезали на обороте той же, беляевской бронзовой табличке, – история иных чувств.

В тот праздничный для рабочих день 1909 года трёхлетняя Катя Нягтнева в ободранном холщовом сарафанчике бегала по Сухому Наволоку, зная не зная, что скоро судьба свяжет её с названными господами. Что ей предстоит стать последней хранительницей разграбленного беляевского особняка, и принять на себя все тайны, которые в нём гнездились. Дом, выстроенный хозяином, жил, пока жила она, и спину окончательно вместе с нею.



Попала Катя в высокие хоромы пяти лет, с матерью.

Давно уже Дарья Нягтиева приходила сюда, за 19 верст от Наволока, стирать бельё. Путь не ближний, в один день не обернёшься. Скоро ли обстираешь хозяев, следом и челядь, если в доме обитали, навскидку, человек тридцать. Работала прачка в углу просторной светлой кухни. В баке на вместительной плите кипятились льняные простыни, шаркало мыло по ребрам стиральной доски, плюхались в корыта отжатые рубахи с кальсонами. Являлся дворник, грузил тяжёлые корыта на телегу и вёз Дарью на берег полоскать выстиранное. Ни зимы, ни лета её вспухшие красные руки не различали – северные реки всегда холодны. Упахтавшись к вечеру с первой стиркой, Дарья валялась на тюфяк без ног без рук, под бок какой-нибудь другой батрачки. Женская прислуга спала скопом в комнате при кухне, ставшей потом спальней для бабушки.

Сюда и привели Катюшку, когда детям управляющего (Сергей Беляев редко наезжал из столичного Питера на кормящие его заводы, и в барском особняке располагался управляющий с семейством), понадобилась игрушка-подружка, чтоб было, кому бегать за улетевшими вдаль мячами. Но сотоварищем по играм юным барчатам девочку назначали не часто. Чаще она помогала на кухне, полола грядки, нянчилась с грудными детьми, рождавшимися каждую осень.

В островной Сороке повелось дома строить вразнобой, кому где прихочется, и как позволит каменная почва. Улицы выходили короткие да кривые. Богатые жилища соседствовали с бедняцкими, тут же ютились бараки для холостых и сезонных лесозаводчан, стояли продуктовые лавки, конторы.

В досюльные времена жили на прибрежных скалах раскольники, монахи-отшельники, потомки новгородцев, бежавших от царской власти и ставших вольными поморами. Тишина главенствовала в этом краю. Впереди студёное море, позади бескрайний лес и топкие болота. Случайному человеку здесь не очутиться, разбойникам промышлять не любо и невыгодно. Но алчность купеческая, бездонная мошна государственная преодолевали любые расстояния, непогоды и невзгоды. Всё больше и больше народа являлось на поморские берега. Лес – ценнейший, рыбы и зверя морского ловить не переловить. Домишко к домешке – вот и село. Железка до Мурмана пролегла, судоходный канал открылся, свет от речных порогов по проводам побежал – вот тебе уже и город, полный шума, лязга, народа пришлого и насильно завезённого. Грохот непрерывной работы, гудки, свистки, массовые пьянки по воскресеньям, шумные демонстрации в праздники... Не стало Сороки. Исчезла вековая сосредоточенная тишь. Только ныне, когда вычерпаны недра досуха, пропал завод, встал порт, обмелел канал, – затеплилась надежда на возрождение былого покоя беломорского края. Но тогда, в начале двадцатого столетия, освоение его богатств и возможностей ещё набирало силу.

Господский домина – экономностью ли хозяев, нежеланием попусту тратиться: жить-от на ветру вдали от столиц они не планировали, нехваткой ли времени на строительство, – не отличался особой архитектурой. Выстроен был по русскому обычаю, не карельскому. Справа да слева по входу – один чистый, другой чёрный. Шесть широких окон по фасаду. Три – на мезонине, отдельной хаткой возвышающимся над общим домом. Заштукатурен и выкрашен в заморский розовый цвет. Ни колонн тебе, ни парадных подъездов с камердинерами.

80 лет прожила в нём Екатерина Алексеевна. Но странным образом, на «чистой стороне» по-настоящему так и не побывала. Знала лишь внутреннюю лестницу на мезонин, где обычно бумажничал по ночам хмурый мордатый бородач Платон Андреич Аксёнов – бессменный заводской управляющий. Носила ему подносы с кофеем, когда вдруг поклочет, а никому другому недосуг. Легко взбегала по широким ступеням, выложенным из цельных лесин, удивляясь, зачем такая красивая лестница, когда её никто не видит.

Жизненной территорией, вполне её удовлетворяющей, стала кухня, постепенно пустевшая, лишаемая лишних чанов с водой, полатей для мужиков, длинного стола из струганных досок для общего обеда. На полупустом, пронизанном воздухом и солнечным светом пространстве бывшей барской кухни остались только железная койка в углу, деревянная кадушка, укороченный стол, перестроенная печь и посудник над тумбочкой с продуктами.

Единственную сохранившуюся кадку Таня с Леной наполняли колодезной водой, притаскивая каждая ведер по десять. На дно опускалась серебряная ложка, на деревянное ухо вешался ковшик. Пить ковшиком из кадки категорически запрещалось.

– Испоганите воду, – грозилась бабушка, – заставляю щёлоком мыть!

Для жаждущих припасался жестяной кофейник и кружка, стоявшие отдельно на тумбочке.

Революция, в значении свободы от господского гнёта, пришла в Сороку поздно. Сбежали обиженные русские господа, тут же явились финские, их сменили английские интервенты. Когда, наконец, карельская

беднота осталась сама с собою, ей не позволили долго соображать, как построить жизнь на новый лад. Понаехали с большой земли комиссары, пропагандисты и специалисты разного рода, и быстренько объяснили: снасти, лодки, всё ловецкое оборудование рыбакам снести в колхозы. Кто при царской власти валил лес, сплавал бревна и пилил доски, должен вернуться к делянкам, сплавам и станкам.

Осталась при доме и Екатерина. Собственно, остались все, кто здесь обитал и раньше. Дворники, конюхи, прачки, кухарки, поломойки, горничные, печники; добавилось несколько семей ушедших в революцию заводских активистов. Дом, перегороденный на клетушки-квартиры, стал походить на пчелиный улей. В сотах его копошились жильцы-насекомые, главной заботой которых, при оглушительности лозунгов про власть советам и землю крестьянам, была – прокормиться. Как удалось отстоять от перегородок «чёрную половину», оставить в прежнем виде кухню и комнату при ней – можно только предположить, сопоставив факты и домыслив детали бабушкиной биографии.

Возможно, в кухне собирались организовать столовую для домовой коммуны, где повариха по-прежнему бы варила-жарила на всю братию? А братии оставалось бы ударно трудиться, перевыполнять план и задыхаться в упряжи социалистических соревнований, мечтая высокими показателями выбиться хотя бы в коренники, если распрямиться в принципе нельзя. Не тут-то было! Получив собственные углы в добротном, тёплом, удобном барском гнезде, жильцы пожелали жить единолично. И не только отказались коммуной столоваться, но даже домкома себе не выбрали.

– Тёмный народ! Одно слово – прислуга! – плонули на них ответственные товарищи и... забыли про дом.

Или, после особенно безуспешных переживаний матери, отвыкшей от мужа-бирюка, не желавшей к нему возвращаться, Екатерина придумала нужное решение? Ей тоже не хотелось ехать в Сухой Наволок, ставший рыболовецким колхозом «Батрак». Отец батрачить отказался, заперся в дому, а им что изволите там делать?..

– Высылят нас, доча, – не переставала тревожиться Дарья, сидя у окна. От былой обстановки, остались на кухне одна кадушка и огромная стьялая плита. Остальное, вплоть до табуреток и кастрюль, растащили новые собственники. Но доча её – тоже не простушка. Пока тащили отсюда, она отвоевала сюда этажерку, громоздкий обеденный стол и парочку венских стульев. Правда, стол и не был никому нужен, разве что на дрова: 12-местная мебель не впикивалась ни в одну клетушку.

– За что высылят-от?! – нервно гневалась Екатерина, точно это мать выписывала ей ордер на выселение.

– А места, гляди, сколь! Не дозволит одним остаться.

– Придумать что-то нать...

Кате Нягтневой стукнуло к тому времени восемнадцать. Некрасивая, с колючим настороженным взглядом глубоко упрятанных глаз, она всё же была завидной невестой: дебела, мягка, работяща, не голь перекатная. Облигации да прежние деньги – наследство отцово, – конечно, пропали, но осталось наследство матери: речные жемчуга, бисер, кружева да сарафаны. Поморские девки в простом полотне замуж не выходили.

Мужа она отыскала в ближайшей деревне Ендогуба, привела на кухню, прописала – вот их уже и трое. Родила Васятку – четверо. Ещё раньше с матерью нанялись в надомницы, сети вязать для колхозов. А где прикажете хранить тюки нитей, веревок, кучи готовых к отправке многометровых неводов всех мастей?.. Так и отстояла Екатерина барскую кухню от разделов-переделов. Стала жить сама себе хозяйка.

Перед войной, правда, подселили жиличку в утеплённом чулане. Пришли двое в португях, привели со шлюзов вольную табельщицу Машу, сказали – временно поживёт, да так она и осталась. Прижилась в удобной комнатёнке одинокая стареющая девушка. Деятельной Катиной жизни не мешала. Ни во что не вмешивалась, советов не давала, лишний раз на люди не показывалась. Пришла со службы, юркнула в дверь и – молчок до утра. Что-то на плитке себе подогреет, поест-попьёт, книжку почитает – будто нет за стенкой никакой Маши. До смерти возле бабушки прожила, а подругой почему-то не стала. Напекут воскресных шанег, позовут жиличку, та выйдет, присядет с торца к столу со своей чашечкой. Угощается молча, слушает бабушкины разглагольствования. Как только в двери появится новый гость, Маша, потом уже баба Маша, прижмёт пустую чашечку к впалой груди и обратно шмыг обратно, в конурку.

Первый воскресный самовар выпивался вначале домашними, часа за полтора. К полудню к бабушке начинали заглядывать гости. Самовар разжигали снова, и так до глубокого вечера. А вечер на Севере наступает рано. В пять пополудни степенные поморы завершают и дела, и гульбу. Переключаются кто на молитвы, кто на неспешное чтение умных книжек; кто шерсть прядёт, кто пасьянсы раскладывает. За окном чернеет до притухшего уголья зимний воздух – страховидно по улицам ходить. В ночь летнюю, серую,



как мышь, с незатухающим, словно в отсвете пожара, горизонтом, гулять не тоскливо только молодым. От греха подальше – за родимые стены, к иконам. Будет утро, будет и пища.

... Через пять лет эндогубский муж погиб. Соскользнул с мокрых брёвен, когда поднимали на элеватор сплав в лесозаводской бухте. Промахнулся багром, не устоял, а бревна пёрли друг на друга, как быки на случке, и, пока парень пытался вскарабкаться обратно, сшибли, задавили его насмерть.

– Ох горе какое, ох живое дерево погубило!.. – причитала Дарья над покойником.

– Про что ты? – спрашивала сквозь слезы дочь.

– О том, о самом!... И-и-и, совы пустоголовые, живёте, ничего округ не чувствуете... Убило его живое дерево! В лесу каждый лешак себе любимые деревья выбирает. Их трогать никак нельзя. Потому как, ежели срубить такое дерево, так оно за обиду должно человека загубить. Кого задавит, кого за заводе изувечит, на сплаве потопит. А бывает, пол такими досками настелют, так – провалится пол и прибьёт-таки человека. Это уж завсегда! Вот наш Пашенька под живое дерево-от и угодил!..

– А в конторе бают, сам виноват.

Денег вдове за потерю кормильца не выплатили. Нарушил сплавщик безопасность труда, с него и спрос.

– А ты, чем начальству попусту досаждать, сама-ко на завод устраивайся, – посоветовал Екатерине пилостав Аникеич, точивший пилы со времён купцов Беляевых, и авторитет имевший поболее, чем у мастера. Сам управляющий за советами хаживать не гнушался. Но, советы советами, а интересы трудового человека Аникеич блял, как свои, если нужда такая возникала. К первым стачечным комитетам руку приложил. Революцию по молодости устраивал, но халтурить ни при царях, ни при Советах никому не позволял. И был он на заводе, как сердцевина в яблоке – выковырай её, где оно, то яблоко?..

– Находишься, на свою беду, – тёр очки пилостав. – Станут присматриваться, кто такая да почему, да что – как ответишь? Тунеядка рабочему классу?..

Раскинула умом вдова, согласилась: прав старик. Намозолишь глаза начальству – конец домашней покойной жизни. Насильно к общему делу приспособят, если чего хуже не удадут. Теперь-от в Соробе строго. Гимнастерьями набита, как бочка треской солёной. В лес соберёшься – соображай, в какую сторону идти. Там колючка, тут охраняемая узкоколейка. Овчарки вохровские сутками округе покоя не дают, лают и лают, чисто оглашённые. Верно баёт пилостав, надо приткнуться к заводу, рабочей карточкой обзавестись. И надёжа тебе, и приварок.

Определили её в напарницы готовые пиломатериалы из рамы принимать. Работа не сложная, но главное, не надорваться – уж больно вёрткая. Покудова одну доску из-под пилы выхватываешь, другая дуром прёт. Так и носятся всю смену: принять, оттащить, бросить, бегом обратно. Поодаль девки тоже крутятся, не только в штабеля продукцию кладут, так сортируют ещё: экспорт, не экспорт. Ошибёшься – моли бога, чтобы не тюрьма. А когда правильно всё да ловко, можно и премию к зарплате получить. А то ведь, не больно велик заработок – пятая часть от выработки.

Но не вышла судьба Екатерине на лесобирже здоровье угробить. Много, видать, любимых деревьев лучшего загублено было! Нашлось и по её душу одно. Полгода не прошло – опять разор в семье.

Пустили в раму бревно, а оно извернулось и такие кренделя выписывать принялось – батюшки святы! То пером по цеху летает, то пулей. Пила в клочья, один навалыщик с пробитой головой под станком издыхает, другие не знают, куда бежать. Сама-от лёгким ущербом отделалась – два пальца на правой руке вышибло.

Поначалу на заводе переполошились, не диверсия ли. Так и этак крутили утихшее бревно – вроде, нормальное, штырей железных не понатыкано, не вредительство. Значит, рабочие опять сами виноваты.

– Пилите его заново.

– Можя, лучше выбросить? – заопасались навалыщики.

– Народное добро – выбросить?! А под трибунал не хотите?..

Не спрашивая компенсации за увечье, ушла Екатерина с завода и больше ни с каким производством не связывалась.

– Начальников туча, а денег мала куча, – говорила она, когда заходила речь о лесозаводе, вот-де какой он старый, знаменитый, вся продукция за границу. – Мы уж сами как-нибудь.

А весной 1932 года встретила единственную любовь своей жизни.

Несытое время стесало жир с её тела, никакой дебелости не было и в помине, колючие глаза совсем провалились в почерневшие глазницы и глядели оттуда скорее печально, чем настороженно. Лицо осунулось, деревенская толстощёкость исчезла, отросшие волосы складывались на затылке гребёнкой уже на городской манер. Красавицей не стала, но и суровой поморкой уже не была. Пустые закрома успокоили



Екатерину. Чего думами мучиться, если копить нечего и прятать не от кого. Прежняя, она навряд ли обратила внимание на Володюшку – продавца комсоставской лавки, самой богатой из всех сорокских лавок.

Мальчишка! Широкое лицо задрано, круглый подбородок вперед, нос кверху, полные губы открыты, с дырочкой посередине. И глаза ребятёнка, будто удивляется или радуется чему-то. А может, раздумывает: не придушить ли вон того котёнка, посмотреть, как он умирать будет. На русых волосах не то шапка, не то кепка с толстым мерлушковым козырьком. Таких в Сороке и не носил никто.

– Чего смотришь? – ухмыльнулся парнишка, наливая ей в бидон керосина. – Понравился?

Голос оказался грубым, мужским, треснутым, точно от мороза.

– Понравился, – неожиданно для себя буркнула Катя, не позволявшая себе даже для мужа подобных слов.

– Так пригласи, погуляем.

– Молод ты, поглажу, со мной гулять.

Парень захохотал. Привык, что путаются люди, глядя на него. С виду – шестнадцать, пацан пацаном, не станешь же метрику каждому совать, доказывая: четвертак мне, братцы, четвертак!

– Тебе со старыми больше нравится? У них же, у старбенеи, окромя кошелька, нет ничего. А я, вишь, какой ладный. Руками охвачу – себя позабудешь!

– Ни с кем мне не нравится!..

Дёрнула Катя бидон и бегом на улицу. А сердце так и молотилось в груди, так и молотилось, точно оторванное. Через день не выдержала, опять явилась в лавку.

Парень отвешивал махру какому-то солдату. Скопил в сторону вошедшей Екатерины глаза, и у той заняло внутри от предчувствий бед и горя, которыми тот непременно её одарит. Бед, впрочем, не произошло, но горе она проносила в себе до скончания жизненного срока.

Они прожили всего-то два года. В памяти Екатерины остались дни, когда они ночами, благо, что белые, гуляли вдоль моря, оставляя далеко позади дом, город, всё на свете. Володюшка, в драповом чёрном пальто, гимнастерке, косоворотке под нею, в фартовых сапогах на каблуке, в неизменной кепке, прыгал с камня на камень барашком, а она тащила следом, не понимая, почему ему нравятся этот ветер, брызги, скользкие от наброшенных прибоем водорослей, камни, пустое безмолвие ночи. Хорошо бы лежать сейчас в постели, прижимаясь друг к другу, но ему было хорошо стоять в распахнутом пальто перед морем и что-то нащёптывать.

Потом он исчез. Пошёл на работу, и как ветром сдуло, или сквозь землю провалился. До лавки не дошёл, домой не вернулся. Его искали. Не шеромыжник какой пропал – сотрудник воинской части, пусть и вольнонаёмный. Екатерину допрашивали. Бесполезно. Ни слуху, ни духу, ни следов, ни зацепок, а она даже не успела узнать, с каких краёв он к ним залетел, какого роду-племени? Некогда было, любовь всё затмила, все вопросы отмела на потом. И осталась у неё «на потом» фотокарточка, сделанная на ходу, в салоне, в тот день, когда они решили жить вместе.

– Зайдём! – и, не интересуясь, хочется ли ей, потащил вовнутрь. Так и запечатлелись: одна в старом ватнике, другой в мятой тужурке, точно работяги с лесоповала.

Остались заставленные продуктами полки в чулане. И остался сын Борька. Вздёрнутым носом, невыразительным выражением глаз, каждой волосинкой на круглой голове напоминавший прибудившегося ангела, похожего в своём чёрном пальто на воронёнка.

Будут ещё у Екатерины Алексеевны и мужа, и сыновья. Первенец Василий с будущей войны вообще героем-орденоносцем вернётся. Но никого она так не любила, как Борьку, взявшего от матери только тонкие сжатые губы. Беспутного, остроязыкого, опасного, воруёгу и бездельника. Что ей за дело – путный нет ли, если каждой повадкой он напоминал отца. Куртки вечно нараспапку; на стульях если не нога на ногу, так верхом. Однажды ножиком вырезал на круглой спинке венского трофея букву. «Б», конечно же. Уж она ругалась, уж полотенцем стегала его – не портить вещей, не тобой куплены! Смеётся!.. А и то, признаться, много ли в доме купленного было. Считай, ничего. Мебель барская, самовар с перинами и утварь кухонная – с отцом разделены, радио Васятка на уроках смастерил. Ту же крупу-муку-консервы, пока Володюшка был, считай, два года не покупали, да ещё с год после. Чего стулья не поковырять – не пообедем! А буквочка – вот она. Когда Борька стал пропадать из дома и уносил с собой Володюшкино присутствие, мать всегда могла её погладить, и тут же всё возвращалось на места.

Ещё подростком сын приволок тюк ворованного шмотья и попросил спрятать. Она спрятала. Велел распродать по знакомым – продала. Так и повелось.

Мало кто знал, что обшитый досками низ дома представляет собой пустоту. Особенно просторно и пусто, хоть пляши, было под кухней, под ногами Екатерины Алексеевны и Бориса. Лиственничные сваи



держали беляевскую храмину над каменным пологим плато, будто в воздухе. С чистого входа внутрь попадали прямо с улицы, а с чёрного, в кухню, поднимались по крутой коридорной лестнице. Внешне всё выглядело заедино. Жильцы после революции менялись, как погода весной – туда-сюда. Когда Борька подросток, из старожиллов никого уже не оставалось. Не умерли – так посадили, не на фронте погиб – так за Уралом в эвакуации сгинул. Одна лишь Нягтиева, как домовая, обитала здесь бессменно. И единственная знала все тутошные секреты, утайки, углы и загогулины. Если перепадало мяса раздобыть, в бывший хозяйский ледник, ставший общим холодильником, не несла, держала его под полом, буквально – на улице. Кто догадается? Даже голодная собака не подлезет, не взроет скальной подошвы дома.

Пронырливый Борька и без материнских наводок узнал, изучил, приспособил под себя межсвайное пространство. Дружкам не хвалился, понимал ценность никому неведомой пряталки. Там он стал хранить краденое. Там ховал концы своих преступных делишек.

Ещё грохотала война, а в Сорoku понавели пленных финнов отстраивать пустынную местность, чтобы было, где жить и плодиться многочисленной рабочей массе, добровольно и не очень наводняющей портовые молы, лесопилку, железнодорожное хозяйство, водорослевые и витаминные цеха – объекты стратегические и на людей обжористые. Особняк Беляева уходил всё дальше с глаз, пропадая среди высоких, похожих на корабли, бревенчатых двухэтажек с четырёхметровыми потолками и блестящими пастями окон. Центр с исполкомом, судом, военкоматом, милицией и прочими служивыми конторами, сместился за реку. Вокруг столетнего жилища всё как-то успокоилось, былая престижность растворилась в наступившей тишине.

Огляделась Екатерина Алексеевна. Зады домов, сарайки, берёзовая поросль, зарастающие травой грунтовки, по которым всё реже пропыливал транспорт, окружали её. И тоже, наконец, успокоилась. Почти сорок лет переживала: не явился бы кто проверить закут, о котором не подозревал даже Борька. А теперь что? Скрылся с глаз беляевский особняк, облез, облупился. Нет его. Всё кончилось.

Случилось это осенью 1923 года, незадолго до поездки Кати за женихом в Ендогубу. Закрывая истопленную печь, мать усмотрела в глубине не прогоревшую головешку. Экономная на дрова, не стала ее доставать и выкидывать, а решила разбить кочергой в уголья. Колотила-колотила, да и сшибла в дымоходе кирпич. Тот рухнул в печь, взметнув искры и пепел.

– Что наделалось, – запричитала Дарья, – прохудилась труба-от, чтоб ей пусто было! Теперича заменять, а чем?

Беда! Где в голодный ущербный год достанешь хороший печной кирпич?!

– Полазай под домом, – велела мать, – поищи, может кладка какая отыщется, разберём.

И верно, нашла Екатерина кладку. В дальнем углу, где уже не только в рост или на коленки не встанешь, а вовсе лежа пробираться нужно, нашла она красно-кирпичную стеночку. Подлезла, постучала. Ага, пусто. Можно разобрать, ещё и в запас немножко останется. До конца жизни не знала Екатерина Алексеевна, на горе или на радость разобрала она ту стеночку. Никаких ужасных последствий, вроде, не произошло. Страшной смертью никто не погибал. Богачества так и так не прибыло. Мужья у юбки её не задерживались, так особо и не горевала. Сколько получалось – от них брала, зная, что не замедлит другой следом явиться. И свободой бабской не изнывалась, и поколоченной не бывала – что ещё нужно простой поморке? А всё же... Если бы не взяла она тогда те перстенёчки, может, повеселее бы жизнь сложилась?..

Обнаружилось, что кирпичи сцеплены не раствором, а просто глиной. Катя живо отколотила верхний рядок, следующий, следующий и добралась до последнего. Подняла свечу... и отпрянула в ужасе. Тот, кто там лежал, ещё не превратился в скелет. Это ещё было тело, высухшее, как старые сапоги.

– Спаси и помилуй! – выдохнула девка и торопливо полезла назад, ранясь разбросанными осколками.

Но что-то неведомое уже привело её в чувство, успокоило, и, собравшись с духом, она вернулась. Не переставая шептать «свят, свят, свят», осветила Катя жуткую находку.

За кирпичами лежала женщина. Длинные волосы прилипли к истлевшему сарафану, голые ступни торчали из-за подола. На чёрных костях пальцев, сложенных на груди, замерзли массивные перстни. Сквозь слежавшуюся пыль сверкнули на пламя свечи красные и голубые искорки драгоценных камней.

Катерина оставила женщину там, где нашла. Приволокла земли, засыпала тело, вместо кирпичей заложила булыжниками. На всякий случай, завалила булыжники дёрном – не приведи господь, кто на банную каменку подходящих камней искать надумает? Закут с покойницей навсегда пропал из глаз.

Матери Екатерина сказала, что перстни лежали в кладке, завернутые в тряпицу.

– Неужли беляевские? – ахала и гадала мать, боязливо трогая почерневшее золото.

– Так, мало здесь Беляевы бывали, – наводила дочь на возможную отгадку зловещего тайника. – Аксёнов постарался, как думаешь?

– Платон Андрееч? Про что баишь, не разберу?

– Баю, украл управляющий золотишко, да зарыл под домом.

– Бог с тобой. Он хоть и самодурничал, не зря толсторожей скотиной прозывался, а дела честно вёл. Не мог хозяев обокрасть, и других не мог. Верно, своё сокровище зарыл, когда выселяли их отсель, от обысков прятал, а обратно забрать не получилось.

– А ничего тут страшного не происходило раньше?

– В дому-от? Завсегда спокойно жили. Передавали по ушам одну байку, так ведь правда ли – кто знает?.. Старшая дочь аксёновская больно уж некрасива с лица была, свататься никто не хотел. Решили, раз такое дело, пусть в девках грехи за весь род отмаливает, перед Господом поклоны бьёт. Молеьну ей богатую справили. Хитро была устроена та молеьна: весь дом обойди, каждую комнатку прощупай, а где девица с образами, не найдёшь.

– Зачем?

– А чтобы молиться не мешали. Так она, дева-от, взяла и забрюхатела. Видать, не хотелось за всех поклоны отбивать. Когда сгреховничала, с кем – поди знай. Дух святой постарался, и всё тут!.. Увёз её отец долой с глаз людских. Куда-то в скиты, к отшельникам. Не знаю, чего уж там с нею сделалось... Долго шептались про тую дочь, да всё равно потом забыли. А золото... Семейное, не иначе. Чего делать с им будем?

– Чего делать! Наше оно теперича, наше. Жить на эти кольца будем.

– А придёт кто за ним?

– Не придёт... – вздохнула Екатерина, – а ежели чего – знать ничего не знаем. Поняла ли? – и упрятала драгоценности глубоко в сундук.

Долгие годы перстни кормили Нягтиевых. Екатерина продавала их редко и осторожно, по штуке, то заезжему скушпику, то зажиточному земляку, справлявшему приданное дочери. Когда односельчане разворопили отцовский дом, она поняла, что слухи о нягтievском золоте всё же просочились. Только не с той стороны сиверко дул. Думали, Алексей Архипович прежней службой обогатился. А то, что бабы сами не льком шиты – кто ж догадается?..

Много молилась она, чтобы простил батя, по её вине миром оболганный. Но особенно уж совестью не мучилась. Знала за собой счастливую черту – не брать в голову и душу лишних переживаний. О чём мучиться, если всё вокруг и без её грехов летит вверх тормашками! Не убила никого, не обворовала. Покойницу не потревожила, наоборот – упокоила землей, непогребённую. А перстенёчки поверху лежали, так-то. Но каждый раз, когда Борис ныркал под дом, сердце её сжималось – не добрался бы ушлый проныра до засыпанных булыжников.

Екатерина Алексеевна старалась забыть, что таится в замурованном закуте под кухней. Боялась только, не явится ли кто неведомый, знающий про подпольное то богатство? Ни-че-го, успокаивала себя. Если и был кто, давно при такой жизни в прах истлел. Но Ксанка, которую привёл сын, не на шутку вновь её растревожила. Иногда так взглянет припшая девка на свекровь чёрными своими глазищами, что зашевелится внутри забытый ужас, заколет грудь холодом. Не она ли – неведомая посланница?.. И, что свекровь приметилла: нет её поблизости – Ксанка веселится, смеется. Но стоит в дверь войти, замолкнет и глядит, будто выпрашивает: признавайся, ядрена твоя душа, признавайся!..

Сёстры собирались к отъезду. Сто обещаний и заверений взяли с дежурной, что скорый Мурманск-Москва обязательно, кровь из носа, тормознёт на станции ради них.

Елена укладывала в чемодан собранные на берегах камешки, пытаясь определить, какого они племени. Медно-коричневый – конечно, гранит. Два белых: тусклый – это мрамор, а светящийся, будто внутри лампочка, наверное, кварц. Серый осколыш в слюдяных брызгах тоже гранит. Черно-белый с гранатовыми каплями похож на корунд, надо по атласу уточнить. А где подобрался этот, похожий на сглаженный кусочек асфальта?..

Она не была знатоком камней и минералов, но была их давней поклонницей. Любила рассматривать, греть в руках тысячелетние куски земли, песка, глины, прессованную пыль ракушек. Брала камень, закрывала глаза и наслаждалась горячим покальванием в ладонях. В любом месте – на море, в городах, парках, за границей, в калмыцкой степи, Елена пыталась отыскать «горячий» камень. Подбирала приглянувшиеся, сжимала в кулачке и ждала – откликнется или нет. Когда мутило что-то, ныло внутри, Елена доставала коллекцию и принималась её перебирать, гладить, рассматривать. И камни забирали муть без остатка. Иногда достаточно было полистать атлас минералов, насмотреться на картинки, чтобы успокоиться. Тяга



к окаменелостям иногда тревожила. И когда, нынче, на мокром беломорском берегу нагнулась за красным сколышем гранита, даже сердце ёкнуло: моё! Подняла – и мурашки побежали от самой шеи.

Чуть не каждый увиденный в эти два дня валун, полотнища скал, мокнущие в холодной воде россыпи взорванных пород по сторонам мостов, подключались к тону её крови от одного взгляда на них. Было понятно, как дважды два: нужно оставаться. Жить здесь, сидеть на скалах и глядеть, как стремительное течение шумит порогами, взрывается в небо жёлтыми брызгами. И ничего больше. Ни людей, ни забот – только она и камни, и вода, и серое небо над головой. То, что никогда не признавалось за родину, искренне не любилось и не вспоминалось, превращалось в единственную точку на карте мира, где нужно жить и умереть. Но, вместо того, чтоб остаться, Елена уезжала отсюда навсегда.

– Ладно! – грустно бодрилась она. – Заберу с собой по кусочкам, по камешку... Зачем ты его обёртываешь? – отвлеклась на Татьяну, пыхтевшую над бабушкиным стулом.

– Кто нас пустит в вагон с голой мебелью! Хотя какую-то видимость багажа ему придать...

– Кстати, там вырезано чего или нет?

– Вырезано. Буква «Б», если не ошибаюсь. Затёрлась совсем.

– Кто бы сомневался, что – «Б»! Одного себя и любил Борис Владимирович. Где он теперь, жив ли?

– А я разве не говорила? Борис Владимирович мирно доживает денёчки в доме престарелых, километров двадцать отсюда.

– Навестим старца? Время есть. Хотя, я устала жутко после кладбища...

– А ему это нужно? За всю жизнь не соизволил нас разыскать, увидеть, познакомиться. Зачем же тревожить человека.

– Ну почему? Однажды соизволил. Помнишь, мама рассказывала?

– О, да. «Покажи папанку!» – кричал под окном, а у самого руки в наручниках...

– Тебе его жалко?

– С какого перепугу? Если я хотя бы знала, кто он такой, как жил – не только же по тюрьмам таскался, страдал ли от чего, может, и пожалела. А так... Смешно думать про него. Пахан округи, дьяволу брательник, а кончает свои дни в престарелом приюте. И не приставай с дурацкими вопросами! Любишь ты всё идеализировать!

Елена засмеялась:

– Идеализировать? Странное слово... Наверное, ты права. Плюнуть и растереть!

– Вот именно... Всё собрала? Тогда положим. Ноги гудьмя гудят.

Час назад они вернулись с кладбища, где с трудом отыскали расплзнувшую бабушкину могилу, готовую в скором времени совсем сравняться с землёй.

И через много поколений, сорочане продолжали хоронить близких по традициям гражданской войны и интервенции: наспех, где придётся да как получится. Могилы притыкались к дорогам, прятались в глубине лесных полян, группами и поодиночке сырели в низинах. Надгробия смотрели на все стороны света. Хаос и запустение хозяйничали в местах последнего прибежища местных жителей. Редкие ухоженные захоронения только усиливали ощущение бедлама там, где его, казалось, невозможно представить.

Сёстры подсыпали на холмик земли найденным обломком лопаты, положили сверху венки и вернулись к ожидавшему такси.

– Не были тридцать лет, и ещё тридцать можно не показываться, – думала Татьяна, глядя на мелькавшее за стеклом убожище: брошенные финские дома с пустыми глазницами, перепачканные угольной пылью улицы, сгоревшие остановки... Как старшая, она отлично помнила, с каким облегчением и радостью покидали они этот край, пребывавший тогда ещё в очень приличном состоянии. – Жить здесь не полезно для здоровья и психики. И вообще, кому мы тут нужны, зачем? Нам – кто нужен?..

...В поезде ей приснился сон. Будто идёт она по дороге в абсолютной пустоте. Ни неба, ни земли, только лента щебёнки под ногами. Вдруг нарастая и нарастая, завывала пустота, заставляя оглянуться. С трудом, пересиливая себя, Татьяна поворачивает голову и видит, как бабушкин дом, с диким грохотом, вздымается на дыбы. Разлетаются в сторону доски, стекла, кирпичи, из самой середины поднимается столб пыли, похожий на тело, обёрнутое в балахон.

– Бабушка! – в страхе закричала она.

– Здесь я, – слышится шёпот.

Смотрит Татьяна – у вагонной полки стоит баба Катя. В знакомой трикотажной кофте с большими карманами, в фартуке, с зачёсанной налево седой прядью.



– А мама волосы зачесывала направо, – говорит ей Татьяна, и чувствует, как корёжит бабушку упоминание невестки.

– Разве? – скалится бабушка.

– Я точно знаю – направо... Исчезни, бабушка! Тебя же не было никогда. Вас всех – не было.

– Были!

– Не были... не были... не были... – стучали колеса, закатывая в рельсы тонкую чёрную тень.

ноябрь 2015 года

«ЛИТМУЗЕЙ»

От редакции: 31 мая 2017 года исполняется 125 лет со дня рождения писателя, классика русской литературы Константина Георгиевича Паустовского (1892 – 1968), два года своей жизни проведшего в Одессе. В нынешнем номере «Южного Сияния» рубрика «ЛитМузей» посвящена ему.

«ПОУТРУ ОН ПРОСНУЛСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»

Известна фраза «Путру он проснулся знаменитым». О нашем городе так не скажешь – знаменитым он был всегда.

Но однажды такое всё же можно было сказать – когда в 1959 году в журнале «Октябрь» начали публиковать первые главы автобиографической повести Константина Паустовского «Время больших ожиданий». Тогда все вдруг вспомнили (а ведь долгие годы память об этом пытались вычеркнуть), что в Одессе жили замечательные писатели, что город этот – не только город-герой и город-труженик, а ещё и то место, где парят одесские дух и язык, где в самое трудное время шутят и смеются. Одесский миф, основательно забытый и забитый властью, вновь расцвёл всеми цветами – в Одессе, да и во всём мире.

И, прочитав ещё не Бабеля, но о Бабеле, поехали сюда любопытные и любознательные из Голландии, Англии, Америки, Японии, из обеих Германий. И разумеется, со всех концов Советского Союза. А уж когда в Одессе вышла отдельным изданием книга «Время больших ожиданий» – читали и перечитывали её все одесситы – за исключением грудных детей. И навсегда Одессу и Паустовского связала эта книга.

Но только ли она? Ведь о нашем городе он писал и раньше, в предыдущих книгах своей автобиографической «Повести о жизни». Вторая книга «Беспокойная юность» – санитар в санитарном поезде приезжает в Одессу в 1915 году.

А затем, в конце 1919 года он с молодой женой Екатериной Загорской вновь оказывается в Одессе. И в третьей книге «Начале неведомого века» – описана встреча с бандитами в ночном городе.

Паустовский во «Времени больших ожиданий» вдохновенно описал работу в газете «Моряк», забыв упомянуть, что в Одессе писал стихи. И о рассказе «Слава боцмана Миронова» лишь упомянул: «Но, к сожалению, я уже напечатал рассказ об этом боцмане, а повторять себя по литературным законам нельзя».

Он много и хорошо написал о Исааке Бабеле, но не упомянул ни словом о шуточном литературном клубе «Под яблочным деревом», устав которого придумывал вместе с Бабелем.

Долгие годы оставалось загадкой, почему три первые книги «Повести о жизни» публиковал известнейший и считавшийся самым прогрессивным из советских журналов «Новый мир», а четвёртая вышла в не особо популярном журнале «Октябрь». Причина стала понятна лишь после опубликования переписки А. Твардовского, редактора «Нового мира», и К. Паустовского. Требования Твардовского Паустовский счёл оскорбительными и неприемлемыми и отдал повесть в другой журнал

«Одесской главой» «Евгения Онегина» А.С. Пушкин выдал в XIX веке Одессе «грамоту на бессмертие». В XX веке подтвердил её К. Паустовский «Временем больших ожиданий».

Алёна Яворская

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ**ОКЕАНСКИЙ ПАРОХОД «ПОРТУГАЛЬ»***Из повести «Беспокойная юность»*

<...>

К половине лета поезд так износился, что было приказано срочно увести его на ремонт в Одессу, в тамошние железнодорожные мастерские.

Мы шли в Одессу через Киев – город моего детства. Я снова увидел его на рассвете с запасных путей вокзала. Солнце уже золотило пирамидальные тополя и горело в окнах высоких домов из желтого киевского кирпича.

Я вспомнил его утренние, только что политые улицы, заполненные тенью, вспомнил хозяек, несущих в кошёлках тёплые булки-франзолы и бутылки холодного молока. Но почему-то меня уже не тянуло в свежесть этих улиц – Киев уходил в невозвратное прошлое.

В том, что прошлое необратимо, были смысл и целесообразность. Убедился я в этом позже, когда сделал две-три попытки вторично пережить уже пережитое. «Ничто в жизни не возвращается, – любил говорить мой отец, – кроме наших ошибок». И в том, что ничто в жизни действительно не повторялось, была одна из причин глубокой привлекательности существования.

После Киева проплыла за окнами кудрявая, перегретая солнцем Украина. Запах бархатцев, желтевших около каждой путевой будки, проникал даже в вагоны.

Потянулись степи, перерезанные золотыми полосами подсолнухов. В стеклянистой дали воздух весь день мрел и мерцал. Я уверял Романина, что этот блеск на горизонте – отражение в высоких слоях воздуха солнечного света, который падает на море и преломляется в нём.

Романин на этот раз не возражал и не смеялся надо мной. Он декламировал во весь голос у себя в аптеке:

*Так вот оно, море! Говит бирюзой,**Жемчужною пеной сверкает.**На влажную отмель волна за волной**Тревожно и тяжело взбегает...*

Под Одессой я проснулся. Поезд стоял на полустанке. Я соскочил с площадки на полотно. Морские ракушки затрещали под ногами.

Я увидел низкий дом полустанка с красной черепичной крышей. Около белой стены росла высокая кукуруза. Ветер шелестел её длинными листьями. Воздух над черепичной крышей и кукурузой переливался великолепной синевой.

– Вот теперь это действительно похоже на отблеск от моря, – сказал мне из открытого окна Романин.

Пахло полынью. Тогда впервые этот горьковатый запах соединился в моём представлении с близостью Чёрного моря. А потом это соседство полыни и моря так укрепились, что даже на севере, услышав запах полыни, я невольно прислушивался, надеясь различить отдалённый морской гул. Иногда я будто слышал его, но шумело, конечно, не море, а сосновый лес.

Я был счастлив тем, что через несколько часов увижу море. С детства его весёлый, пенистый простор западал мне в душу.

Нас подали под разгрузку к одесским пакгаузам. Моря не было видно. Только белел вдали одесский вокзал.

Но всё вокруг казалось мне наполненным морем, даже лужи мазута на путях. Они отливали морской синевой. Валявшиеся на земле старые буфера были покрыты корабельной ржавчиной. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Нам, санитарам, отвели под жильё старый пассажирский вагон третьего класса. Мы быстро переселились в него. Маневровый паровоз начал толкать этот вагон перед собой, затолкал наконец к низкой ограде пустынного сада и там оставил на всё время пребывания в Одессе.

Нам очень нравилась наша стоянка. По утрам мы умывались тут же около вагона из водонапорной колонки. Сквозная тень акаций перебегала по окнам.

За садом шумел маленький базар, а дальше начиналась одесская окраина Молдаванка – приют во-



ров, скупщиков краденого – «маравихеров», мелких торговцев и прочих многочисленных личностей с неясными и неуловимыми занятиями.

Врачи и сестры поселились на даче вблизи Одессы, на Малом Фонтане. Мы ездили к ним почти каждый день.

В день приезда я так и не увидел моря. На второй день я встал очень рано, умылся на путях солоноватой водой и пошёл на базар выпить молока и поесть.

На базаре сидели на табуретках красные от жары и крика торговки с закатанными рукавами. Весь день они переругивались, переключались, зазывали покупателей или подымали этих же покупателей на смех. Переругивались они нарочито визгливыми голосами, зазывали покупателей вкрадчиво, даже кокетливо, насмехались же над ними очень дружно, забывая на это время свои внутренние распри.

– Дегочка! – кричали они мне. – Вот молочко топленое! Вот молочко с пенкой! Вам же мамаша ваша дорогая приказала пить молочко с пенкой!

– Семачки жарены! Семачки! – кричали другие мрачными голосами. – За копейку полный карман! За какую-нибудь затёртую копейку!

Но интереснее всего было в рыбном ряду. Я долго стоял там около цинковых холодных прилавков, залепленных рыбой чешуей и посыпанных каменной солью.

Плоские палтусы с сиреневыми костяными наростами на спине смотрели в небо помутившимися глазами. Скумбрия трепетала в мокрых корзинах, как голубая ртуть.

Коричневые окуни медленно открывали рты и тихонько чмокали, как бы смакуя утреннюю базарную прохладу. Горами лежали бычки – чёрные «каменщики», светлые «песчаники» и кирпичного цвета «кнуты».

Около корзин с ничтожной фиринкой сидели особенно ласковые торговки. Их товар хозяйки покупали только для кошек.

– Вот для кошечки, барышня или мадам! Вот для кошечки! – кричали эти торговки льстивыми голосами.

На распряжённых возах горами были навалены абрикосы и вишни. Под возами храпели в тёплой пыли владельцы этих богатств – немцы-колонисты из Люстдорфа и Либенталя, а на возах сидели нанятые ими зазывалы – еврейские мальчишки, ученики из хедера, и, закрыв глаза и покачиваясь, как на молитве, пели жалобными голосами:

– Ай, люди добренькие, господа дорогие! Ай, вишня! Ай, вишня, ай, сладкая абрикоса! Ай, пять копеек за фунт! Ай, пять копеек! Себе в чистый убыток! Ай, люди добренькие, покупайте! Ай, кушайте на здоровье!

Мостовая была засыпана вишнёвыми косточками с остатками кровавой мякоти и косточками абрикосов.

Я купил серого хлеба с изюмом и пошёл в дальний край базара, в обжорку, где на толстых столах бурно кипели, отражая нестерпимое черноморское солнце, кривые самовары и жарилась на сковородах украинская колбаса.

Я сел за стол, покрытый домотканой скатертью. На ней была вышита крестиками надпись: «Рапчка, не забывай за родной Овидиополь».

Посреди стола в синем тазу с отбитой эмалью плавали в воде пионы.

Я съел сковороду жареной колбасы, начал пить горячий сладкий чай и решил, что жизнь в Одессе прекрасна.

В это время ко мне подсел сухопарый человек в морской каскетке с треснувшим лакированным козырьком. Жёлтые баки торчали, как у рыси, по сторонам его серого лица.

– Скажите, молодой человек, – спросил он меня приглушённым голосом заговорщика, – вы, извиняюсь, не санитар?

– Да, санитар.

– С того поезда, что пришёл вчера на ремонт?

– Да, с того поезда, – ответил я и с удивлением посмотрел на всезнающего незнакомца в каскетке.

– Тогда будем знакомы, – сказал незнакомец, приподнял обеими руками над головой каскетку и снова положил её на лысую голову. – Аристарх Липогон, бывший каботажный шкипер. Врождённый моряк.

– Чего ты подкатываешься до молодого человека! – закричала раскрасневшаяся торговка, поившая меня чаем. – Чего ты дуришь ему голову!

– Тетя Рая, – очень вежливо ответил ей врождённый моряк, – какое ваше собачье дело путаться в чужие проекты. Что вы рвёте у меня изо рта кусок хлеба! Вы, видать, сытая, а я голодный, как пустая бочка. Понятно?

Тетя Рая поворчала ещё немного и затихла.

– Могу предложить содействие, – сказал Липогон. – Не брезгую никакой услугой, какая спонадобится,

может, вам, санитарам, а может, вашим докторам, что живут на роскошной даче Быховского на Малом Фонтане. Сполняю всё быстро и дёшево.

– Ну, например, – спросил я. – Что значит «всё»?

– Могу загнать и купить, что вам желательно, с доставкой в вагон. Безбандерольный константинопольский табак. Это же золотые кудри, а не табак! Французский марафет в порошок. Греческую водку «мастику», мессинские апельсины исключительного аромата и смака. Или свежие консервы, бычки в томате сегодняшнего выпуска, прямо с нашей одесской фабрики. На второй день они уже несколько теряют божественный вкус. Очень рекомендую! Имею в городе и порту обширные знакомства. Спросите каждого про меня, и если он порядочный человек, то вам дословно ответит: «Липогон все может. У Липогона двадцать ног, сорок рук и сто глаз».

– Только язык у тебя один, арестант! – с сердцем сказала тетя Рая. – Язык у тебя один, у голоты, а ты им чешешь за семерых.

Я сказал Липогону, что мне ничего не нужно. Вот, может быть, врачам и сёстрам что-нибудь понадобится. Я их об этом спрошу.

– А я, кстати, – сказал Липогон, – наведаюсь сегодня вечером на дачу Быховского. Рад был познакомиться, молодой человек.

Он снова приподнял двумя руками и положил на лысую голову измятую каскетку и удалился, выхляя фалдами пиджака и небрежно напевая:

Мичман молодой

С русой головой

Покидал красавицу Одесу...

– Вот, – сказала мне тетя Рая, – имеете перед собой пример, юноша, до чего доводит человека фантазия.

– Как фантазия? – удивился я.

– Жил человек хорошо, – скорбно ответила тетя Рая. – Плавал на дубке, возил кавуны с Херсона до Одессы, имел приличный костюм, свободную двадцатку в кармане и имел что кушать на каждый день. Так нет! Не мог человек примириться! Я его знаю идеально, мы с ним знакомые с малых лет, жили в Овидиополе в соседних дворах. Не мог человек существовать, как все люди. «Мне, говорит, Раичка, жмёт на сердце серая скука существования. Мне, говорит, Раичка, хочется жить вроде как в романах описано, – в слезах и цветах, с музыкой и роскошной любовью. Мне, говорит, необходимо рисковать, чтобы, как пишется, или пан, или пропал!»

– Что говорить! – вздохнула соседка-торговка, раскладывая на мостовой синие баклажаны. – Вышел пан да пропал.

– Что же он сделал? – спросил я.

– Женился, – ответила тетя Рая. – Только вы слушайте – как! Был у нас тут в Одессе вроде как румынский оркестр. Румыны не румыны, а так, всякий народ. Кто с Кавказа, кто с Кишинёва, а кто и с нашей Молдаванки. И была в том оркестре цимбалистка Тамара. Женщина, правда, красивая, видная. На ней и женился. Ему абы блеск в очи, – все эти стеклярусы, да бархаты, да цимбалы, да вальсы. «Я, говорит, сделаю ей такую жизнь, что сама Вера Холодная зайдётся от зависти».

– Что говорить, сделал он ей ту жизнь! – вздохнула торговка баклажанами.

– Всё-таки человек старался для той женщины, – примирительно сказала тетя Рая. – И до сей поры старается. Как женился, так начал гнать копейку из всех возможностей и невозможностей. Контрабанду взялся возить на своём дубке. Засыпался, конечно, отобрали у него патент. От тюрьмы откупился. Вылетел он на улицу, а квартирку всё-таки успел ей справиться. Ну не квартирка, чисто картонка от торта с розовой ленточкой! Чисто коробка с бумажными кружевцами! Вылетел он с дубка, пошёл по мелким делам, по маклачеству. Сник, потерял престиж у людей. А фантазии свои не бросил. Всё брешет и брешет! От Тamarы нищенство своё прячет. Она женщина ленивая да ещё с придурью. Ничем не интересуется. Лежит целый день на подоконнике, книжки растрёпанные читает под граммофон. Поставит «Дышала ночь» или там «Вчера вас видела во сне» и читает. Распалланная. Ей всё равно, была бы халва. А что человек себя знищил, сделался пантрапой, так она этого не хочет видеть. Она амурные истории читает! Тьфу и тьфу!

Тётя Рая в сердцах сплюнула.

– Заработает он арестантские роты, в этом я вам поклянусь, молодой человек!

Я вернулся к себе в вагон и совсем было собрался идти к морю, но нас послали в железнодорожные мастерские помочь рабочим соскабливать старую краску с вагонов. Мы проработали до вечера.

Потом я умылся и поехал на Малый Фонтан, на дачу. Там с обрыва я наконец увидел море. Мглистый



вечер сливался с голубоватым пространством воды. Волны внизу чуть рокотали галькой. Первая звезда зажгла свой огонь под облаком, похожим на крыло серебряной птицы.

Маяки не горели. На горизонте темнела громада корабля. Это был турецкий крейсер «Меджидие», подбитый нашей береговой артиллерией и севший на камни. Его ещё не сняли. Крейсер медленно погружался в сумерки и вскоре совсем в них исчез.

Я сбегал по крутой дорожке к морю. Сухие кусты акации росли на щебенчатой земле. Крупные морские голыши сыпались из-под ног. Жёсткий дрок выбрасывал во все стороны тёмные стрелы с жёлтыми, видными даже в темноте цветами. Пахло нагретым ракушечным камнем и жареной скумбрией – сёстры готовили её около дачи на очаге.

Я спустился к морю, разделся и вошел по горло в теплую, но свежую воду. Отражения звезд плавали на воде рядом со мной, как маленькие медузы.

Я старался не шевелиться, чтобы не разбивать их на десятки качающихся осколков. Нужно было много времени, чтобы они опять слились в отражение звезды.

Всем телом я чувствовал осторожное, но мощное дыхание моря. Оно едва заметно колебалось.

Море начиналось чуть пониже моих глаз, на уровне подбородка. У меня забилося сердце от мысли, что между мной и этими морскими бесконечными далями, уходящими отсюда к Босфору, к берегам Греции и Египта, к Адриатике и Атлантике, нет ничего, что у самых моих глаз начинается великий всемирный океан.

С берега потянуло запахом маттиолы. Далеко в стороне Днестровского лимана ударил и раскатился вдоль берега пушечный выстрел. И здесь была война, в местах, как бы нарочно созданных для деятельной и счастливой жизни, созданных для моряков, садоводов, виноделов, художников, детей и любящих, для беспечального детства, плодотворной зрелости и старости, похожей на ясный сентябрь.

О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ

Из повести «Начало неведомого века»

Фиринка – маленькая, с английскую булавку, черноморская рыбка – продавалась всегда свежей по той причине, что никакой другой рыбы не было и вся Одесса ела (или, говоря деликатно, по-южному, «кушала») эту ничтожную рыбку. Но иногда даже фиринки не хватало.

Ели её или сырую, чуть присоленную, или мелко рубили и жарили из неё котлеты. Котлеты эти можно было есть только в состоянии отчаяния или, как говорили одесситы, «с гарниром из слёз».

У меня и Назарова (мы поселились рядом) денег почти не осталось.

Поэтому мы питались только фиринкой и мокрым кукурузным хлебом. По виду он походил на зернистый кекс, по вкусу – на анисовые капли. После еды приходилось полоскать рот, чтобы уничтожить пронзительный запах этого хлеба.

Издredка я покупал жареные каштаны. Торговали ими вздыхающие старухи, закутанные в тяжёлые бахромчатые шали. Они сидели вдоль тротуаров на низеньких скамейках и помешивали в жаровнях каштаны. Каштаны трещали, лопались и распространяли запах чуть пригорелой коры, но с душистым и сладким привкусом.

Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и, бывало, по тихим осенним вечерам один только багровый жар жаровен освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид.

Старые женщины кутались в шали, а город кутали частые туманы. Вся осень прошла в этих приморских туманах. Признаться, с тех пор я полюбил туманные дни, особенно осенью, когда они подсвечены вялым лимонным цветом палой листвы.

Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнoбольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пёстрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт.

Назаров встретил в Одессе знакомую женщину – невропатолога из Москвы, – и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман – весьма величественный и учтивый человек – отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили

на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом.

Отопление в санатории не работало, комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная «буржуйка», как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трёх-четырёх фунтов, – не было денег.

Было очень холодно, особенно во время северных ветров. К тому же ощущение холода усиливалось от белизны скользких кафельных стен.

Я опять работал корректором в газете (название её я позабыл). Издавал эту газету академик Овсянко-Куликовский. Работал я через два дня на третий и получал очень мало «колоколов» – так назывались тогда денкинские деньги с изображением Царь-колокола в Кремле.

Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнущий морской солью холодный воздух в его стенах.

Я много читал, понемногу писал и от нечего делать занялся изучением морского тумана. По утрам я выходил в сад к обрыву над морем.

В тумане медленно рокотал по гальке невидимый прибой. На Воронцовском маяке уныло ухала туманная сирена и равномерно бил колокол. Седые маленькие капли поблескивали на давно высохшей траве и ветках акаций.

С тех пор туман связался в моём представлении с одиночеством, со спокойной и сосредоточенной жизнью. Он ограничивал землю и замыкал её в небольшой видимый круг. Он оставлял для наблюдения немного вещей – несколько деревьев, куст дрока, колонну из дикого камня, чугунную калитку и якорную цепь, неизвестно для чего валяющуюся в углу сада.

Он заставлял смотреть на эти вещи пристальнее и дольше, чем мы это делаем обычно, и открывать в них много не замеченных ранее качеств. В незрелом жёлтом камне было много накрепко впаянных в него маленьких морских ракушек, на кустах дрока оставалось ещё несколько цветов, они сидели на прямых твёрдых стеблях, как промокшие и сморщенные золотые бабочки, и терпеливо ждали солнца. Но оно очень редко проступало в тумане размытым белым пятном и не давало ни теплоты, ни тени. Под единственным старым платаном с лимонными пятнами на стволе валялись листья, как бы вырезанные из тусклого зелёного бархата. По чугунной калитке вереницей бежали муравьи, сносили в свои подземные житницы последние запасы на зиму, а под якорной цепью жила маленькая робкая жаба.

У тумана были свои звуки. Появлялись они перед тем, как туман начинал редеть. Тогда слышался неясный шорох. Это водяная пыль собиралась в капли, они стекали по чёрным ветвям деревьев и с шорохом падали на землю. Потом в этот мягкий звук входил чистый и протяжный звон. Это значило, что первая капля тумана упала с крыши и ударила в перевёрнутый вверх дном пустой цинковый бак.

Я полюбил запах тумана, – слабый запах каменноугольного дыма и пара. То был запах вокзалов, пристаней, палуб – всего, что связано со странствиями, со сменой обширных сухопутных и морских пространств, с шествием в светоносной фиолетовой синеве архипелага далёких розовеющих островов, откуда ветер доносит слабый запах лимона, с сырым ветром и беспокойными огнями плавучих маяков Ла-Манша, с плавным ходом поезда сквозь наши дремлющие лесные края, со всем, что берёт в пожизненный плен наше слабое человеческое сердце.

Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни – много или мало, – но прожить её с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми её заманчивыми уголками – юной, но ещё не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слёз перед красотой мира – того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности.

В то время я был уверен, что моя жизнь сложится именно так.

Всё, что пишущий дарит любимому, он дарит всему человечеству. Я был уверен в этом неясном законе щедрости и полной отдачи себя. Отдавать и ничего не ждать и не просить взамен, разве только суший пустыяк – какую-нибудь песчинку, попавшую на милую тёплую ладонь, – не больше.

Всё, что написано выше, теоретики литературы называют лирическим отступлением и не советуют писателям терять власть над собой и путать построение вещи. Но мне кажется, что можно вот так – свободно и без всякого напряжения – написать целую книгу, повинувшись только безостановочному бегу воображения и мысли. Только так, может быть, можно достигнуть полноты выражения.

Но придётся всё-таки вернуться к фиринке и кукурузному хлебу, к осенним дням в Одессе.



Скудная эта пища несколько не огорчала меня, особенно после того, как я достал у кока стоявшего в порту французского парохода «Дюмон Дюрвиль» две банки голландского сгущённого кофе. Я обменял на это кофе коробку табака фабрики Стамболи. Табак этот, оставшийся от отца и непонятно как сохранившийся, подарила мне мама.

«Дюмон Дюрвиль» стоял у мола в Карантинной гавани рядом с английским истребителем. Матросы с истребителя весь день играли на молу в литой мяч.

Из Триеста и Венеции в Одессу регулярно приходили чёрно-жёлтые пароходы компании «Ллойд Триэстино». Греческие моряки патрулировали по улицам. Их синяя форма, белые гетры на круглых пуговках и широкие тесаки были старомодны и театральны.

Одесса была удивительна в тот год невообразимым смешением людей.

Одесские мелкие биржевые игроки и спекулянты, так называемые «лапетутники», ступевались перед нашествием наглых и жестоких спекулянтов, бежавших, как они сами злобно говорили, из «Совдепии». Лапетутники только горько вздыхали, – кончилась патриархальная жизнь, когда в кафе у Фанкони целый месяц переходила из рук в руки, то падая, то подымаясь в цене и давая людям заработать «на разнице», одна и та же затёртая железнодорожная накладная на вагон лимонной кислоты в Архангельске.

Архангельск был недостижим, дальше, чем Марс, и лимонная кислота давно уже стала мифом. Но это не смущало лапетутников. Их занятие походило на шумную игру маньяков. Они до хрипоты торговались, били по рукам, обижались, а иной раз из-за этого вагона лимонной кислоты или такого же мифического груза губок (франко-порт Патрас в Греции) разгорались визгливые затяжные скандалы.

Но у лапетутников были иногда и настоящие сделки, – на пачку сахарина, партию лежалых подтяжек или на подозрительный напатырь в порошок. Напатырь в то время был в цене. Он заменял дрожжи.

Спекулянты, бежавшие с севера, опеломляли мирных философов-лапетутников дерзкими и бесшабашными сделками. Сверкали бриллианты, обязательно из царской короны, потрескивали новенькие фунты стерлингов и франки, редчайшие душистые меха с плеч знаменитых петроградских красавиц переходили в трясущиеся руки сизых от бритья греческих негоциантов. Особенно широко торговали русские спекулянты барскими именьями во всех губерниях «многострадальной России».

На Дерибасовской улице каждый вечер можно было встретить около цветочниц многих знаменитых людей, правда, несколько обносившихся и раздражённых лихорадкой смехотворных слухов. По этой части Одесса опередила все города юга.

Но слухи были не только смехотворные, но и грозные. Они врывались в город вместе с буйным северным ветром из Херсонских степей. Советские войска рвались к югу, сбивая заслоны, тесня белых, перерезая дороги. Жидкая цепочка белого фронта обрывалась, как гнилая нитка, то тут, то там.

После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы, – побеждённые сводили счёты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на руках у офицеров из «батальонов смерти» пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали. Город жил на авось. Запасы продуктов и угля, по подсчётам, должны были уже окончиться. Но каким-то чудом они не иссякали. Электричество горело только в центре, да, с то тускло и боязливо. Белым властям никто не повиновался, даже сами белые.

Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной:

Бедный Рунич горько плачет –

Вера лежит в гробу.

Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни, Вера лежала в гробу и просила Рунича:

Голубыми васильками

Грудь мою обвей

И горючими слезами

Грудь мою облей.

Однажды я шёл вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лифшицем. Бездомный Лифшиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана.

У маленького, беспокойного и взъерошенного Лифшица была кличка «Яша на колёсах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лифшица, он на ходу делал каждой ступней такое же качательное

движение, какое, например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идёт, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс-папье или на часть колеса, – подмётки у них были согнуты выпуклой дугой.

Мы шли с «Яшей на колёсах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышло два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались.

Казалось, они поджидали нас.

– Бандиты, – сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:

– Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.

– Как?

– Подойти и заговорить с ними. И всё будет ясно. У Яши была житейская теория – всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей.

– О чём же говорить? – спросил я с недоумением.

– Всё равно. Это не имеет значения.

Яша быстро подошёл к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:

– Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?

Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша всё время их переспрашивал.

Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.

– Вот видите, – сказал с торжеством Яша. – Мой метод действует безошибочно.

Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:

– Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.

– Ну, уж и со всех! – весело ответил Яша.

– Почти со всех, – поправился молодой человек и улыбнулся. – С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно всё равно, где вас разденут – в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думаете?

– Да, пожалуй... – растерянно ответил Яша.

– Так вот, будьте настолько любезны.

Молодой человек вынул из рукава финку. Я ещё не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.

– Если вас это не затруднит, – сказал молодой человек с финкой, – то выньте из кармана пальто всё, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь, – обернулся он ко мне, – нам хватит и одного пальто. Жадность – мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьёзного не добьёшься в жизни.

Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.

Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу. В доказательство он приводил два случая. Я, к сожалению, не мог опровергнуть их потому, что произошли эти случаи у меня на глазах. Один случай был с бутылкой для воды, а второй – с термометром.

В то время в Одессе было очень плохо с водой. Её качали из Днестра за шестьдесят километров. Водокачка на Днестре едва дышала. Её много раз обстреливали разные банды. Город всё время висел на волоске, – ничего не стоило оставить его совсем без воды.

Вода в трубах бывала, да и то не всегда, только в самых низких по отношению к морю кварталах города. В эти счастливые кварталы тянулись с рассвета до позднего вечера вереницы людей со всей Одессы с ведрами, кувшинами и чайниками.

Лишь немногие счастливицы – владельцы тележек – приезжали за водой с бочонками. Им завидовали и заодно их ненавидели, несмотря на то, что они сами впрягались в тележки и на них жалко было смотреть, когда они, задыхаясь, втаскивали свои тележки на подъёмы или мчались, испуганные, за этими же тележками на крутых спусках, расплескивая половину воды.



Мы ходили за водой по очереди километра за два на Успенскую улицу. На этой улице я знал все подвалы, где были краны, и мог их найти с завязанными глазами.

В очередях за водой мы узнавали все последние новости и слухи и встречались с завсегдатаями этих очередей, как со старыми и добрыми друзьями.

Поэтесса Вера Инбер жила недалеко от нас, в тенистом Обсерваторном переулке. Она ходила за водой с большой стеклянной вазой для цветов. Ваза была сделана из матового разноцветного стекла, и на ней были выпуклые изображения лиловых ирисов.

Однажды хрупкая и маленькая Инбер поскользнулась и разбила вазу. Но на следующий день она пришла с такой же точно вазой. Я просто из сострадания донёс ей эту вазу с водой до дому. Инбер так боялась, что я уроню и разобью эту последнюю вазу, что я устал от её боязни и у меня начали дрожать ноги.

Таская воду, я, конечно, смотрел себе под ноги и потому изучил все тротуары и мостовые между Черноморской улицей и Успенской.

Я убедился, что это – заманчивое и даже в некотором отношении полезное занятие. На тротуарах и мостовых можно было заметить много мелких примет.

Они давали повод для размышлений и выводов. Были приметы приятные, безразличные и неприятные.

Особенно неприятными, почти зловещими и чаще всего попадавшимися приметам были капли, а то и целые лужицы крови и гильзы от маузеров. Они кисло пахли порохом. Неприятны были также пустые кошельки и порванные документы. Но они попадались редко.

Приятных примет было меньше, но они были разнообразнее. Чаще всего это были вещи совершенно неожиданные – засохшие цветы из букета, осколки хрустала, сухие клешни крабов, обертки от египетских сигарет, банты, потерянные маленькими девочками, заржавленные рыболовные крючки. Всё это говорило о мирной жизни. К приятным приметам относилась, конечно, и трава, проросшая кое-где между плитами тротуара. И невзрачные цветы, правда, уже высохшие, так же как и перемытые дождём морские голыши в цементных водостоках.

Больше всего было безразличных примет – пуговиц, медных денег, булавок и окурков. На них никто не обращал внимания.

Мы таскали воду и сливали её в большую стеклянную бутылку в коридоре.

Однажды Яша Лифшиц вышел в коридор и дико закричал. Я выскочил из своей комнаты и увидел необъяснимое зрелище. Огромная бутылка на глазах у меня и Яши начала медленно наклоняться, несколько мгновений постояла в позе Пизанской башни, потом рухнула на пол и разлетелась на тысячи осколков.

Драгоценная вода с журчанием полилась по лестнице.

Мы успели бы, конечно, подхватить бутылку, но вместо этого мы стояли и смотрели на неё как замороженные.

Второй случай с термометром был ещё поразительнее. Я заболел испанкой.

Термометр в Одессе было достать не легче, чем ананас. Их было в городе считанное число. Над термометрами тряслись, как над последней спичкой на шлюпке у потерпевших кораблекрушение.

Назаров выпросил термометр на два дня у редактора газеты, прославленного академика Овсяннико-Куликовского. Академик – знаменитый гуманист и хранитель традиций либерального русского общества – не мог, конечно, отказать Назарову в его просьбе. Жужа губами и кряхтя, что выражало сильное недовольство, он дал термометр, но со строгим приказом класть его в вату, в ящик стола и беречь пуще зеницы ока.

Назаров померил мне температуру, но пренебрёг приказом академика. Он положил термометр на стол и ушёл в город. Я уснул.

Разбудил меня Яша. Он осторожно открыл дверь. Она скрипнула, и я проснулся.

Я взглянул на стол и почувствовал, как волосы сами по себе зашевелились у меня на голове, – термометр вдруг начал медленно катиться к краю стола.

Я хотел крикнуть, но у меня перехватило дыхание. Я увидел страшные глаза Яши. Он тоже смотрел на термометр и не двигался.

Термометр медленно докатился до края стола, упал на пол и разбился. У меня, должно быть, от ужаса, упала температура. Я сразу выздоровел.

Мы долго ломали голову, где взять термометр. Назаров два дня, сказавшись больным, не ходил в редакцию, чтобы не попадаться на глаза академику. В конце концов пришлось пойти на преступление. Мы подобрали ключ к кабинету Ландесмана и в его письменном столе нашли термометр. Выражаясь уклончивым языком воров, мы «взяли» его (воры не любят слова «украл») и вернули Овсяннико-Куликовскому.

После этих двух случаев Назаров начал убеждать меня в том, что Яша – человек опасный, и угова-

ривал меня не ходить с ним вместе по улицам. Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан.

Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шёл по этому переулку.

Его никак нельзя было обойти.

Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стурдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть, потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем.

В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с какой-то тёмной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян.

Я не внял предостережению Назарова и однажды поздним осенним вечером опять возвращался домой с Яшей.

Ходить вечером по улицам можно было, только строго соблюдая ряд неписаных законов. Нельзя было курить, разговаривать, кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее, пробираться, надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые сорок или пятьдесят шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрёстках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекрёсток очень быстро.

Мы благополучно дошли до Стурдзовского переулка, остановились, выглянув из-за угла, и долго прислушивались и всматривались в его крошечную темноту. С одной стороны, темнота была спасительной: она скрывала нас. Но, с другой стороны, она была опасна тем, что мы могли наткнуться на засаду.

Всё было тихо, так тихо, что мы слышали в глубине переулка слабый шум прибой.

Мы крадучись пошли по переулку. Я сказал, что надо идти по той стороне, где подворотня, не доходя до неё, остановиться, хорошо прислушаться, а затем быстро и беззвучно проскочить мимо подворотни. Расчёт, по-моему, был математически точен. Если в подворотне есть люди, то они могут нас и не заметить. Если же мы будем идти по противоположной от подворотни стороне, то нас могут заметить ещё издали. Я высчитал, что в последнем случае мы будем идти против опасной подворотни, или, вернее, будем на виду у людей, спрятавшихся в подворотне, в пять раз дольше. И, следовательно, будет в пять раз больше шансов, что нас заметят.

Но Яша опять начал шёпотом разводить свою теорию, что всегда надо идти в лоб опасности. Я не спорил с ним, чтобы не подымать лишнего шума, и мы пошли по противоположной стороне от подворотни.

Яша считал про себя секунды. Мы знали, что от Стурдзовского переулка до санатория Ландесмана было семь минут ходьбы. В санатории за высокой оградой и железными воротами мы всегда чувствовали себя в полной безопасности.

Особенно если не зажигали коптилок.

Когда мы проходили около подворотни, Яша споткнулся. Потом, когда мы вспоминали о происшествии в Стурдзовском переулке, Яша утверждал, что всегда, если хочешь сделать что-нибудь наилучшим образом, то обязательно сорвёшься на пустяковине. Я же про себя думал, что всему виной была Яшина невыносимая походка. Но я молчал, чтобы не огорчать Яшу.

Как бы там ни было, но Яша споткнулся и от неожиданности, вместо того чтобы выругаться про себя, сказал внятным и растерянным голосом:

– Извиняюсь!

– Стой! – закричал из подворотни сильный голос, и на нас упал режущий свет электрического фонарика. – Вынуть руки из карманов! Немедленно, матери вашей чёрт!

К нам подошло несколько вооружённых. Это был казачий патруль.

– Документы! – сказал тот же сильный голос. Я протянул своё удостоверение. Казак посветил на него, потом на меня.

– Пиндос, – определил он. – Скумбрия с лимончиком! Бери свою лишу обратно.

Он отдал мне удостоверение и посветил на Яшу.

– А ты можешь не показывать, – сказал он, – сразу видать, что иерусалимский генерал. Ну ладно. Проходите! Мы сделали несколько шагов.

– Стой! – вдруг истерически закричал тот же казак. – Ни с места! Мы остановились.



– Чего стали! Сказано вам – проходи! Мы снова пошли, но очень медленно, чтобы не выдавать своё волнение. Нервы были напряжены с такой силой, что спиной, всем телом я чувствовал, как казаки взводят затворы.

Щелканья затворов я не слышал. Я понимал, что это – предсмертная игра кошки с мышью, что нас всё равно убьют и что каждое мгновение может быть последним.

– Стой! Так вашу мать! – снова закричал казак. Остальные сдержанно засмеялись.

Мы снова, остановились около стены. Я её не видел в темноте, но я знал, что она сложена из грубого камня и на ней есть выступы и выбоины.

– Лезьте через стену, – сказал я шепотом Яше. – Одним рывком! Всё равно конец!

Я был худой. Мне легко было быстро влезть на стену. Но Яша со своими ботинками-колесами чуть не сорвался. Я схватил его за руку и рванул. Мы перекинули ноги через стену и спрыгнули. Позади загрохотали частые выстрелы.

С верхушки стены полетел битый камень.

Мы бросились через тёмный сад. Стволы деревьев, вымазанные известкой, белели в темноте, и это нам помогло.

Казаки лезли через стену вслед за нами. Пуля свистнула где-то рядом. Мы добежали до противоположной стены сада. В ней был пролом.

Казаки уже бежали по саду, но они теряли время на то, чтобы прикладываться к винтовкам, и мы успели выскочить в пролом. В трёх шагах от него был крутой обрыв к морю.

Мы скатились с обрыва и бросились вдоль берега. Казаки стреляли сверху, но они уже потеряли нас в темноте, и пули шли в сторону.

Мы долго пробирались по берегу, изрытому оврагами и пещерами. Прибой всё так же равнодушно и сонно рокотал по гальке. Трудно было поверить, что человек может бессмысленно убить такого же, как он, человека перед лицом этой осенней, тёплой, пахнущей чебрецом ночи, перед лицом шумящего спокойными волнами моря. По наивности своей я думал тогда, что зло всегда отступает перед красотой и что нельзя убить человека на глазах у Сикстинской мадонны или в Акрополе.

Смертельно хотелось курить. Выстрелы стихли. Мы залезли в первую же пещеру и закурили. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от папиросы.

Часа три мы просидели в пещере, потом вышли и крадучись пошли по берегу к санаторию Ландесмана. Всё вокруг было тихо.

Против санатория мы, цепляясь за кусты и камни, влезли по отвесному обрыву к высокой крепостной ограде санатория. В цоколе ограды было пробито круглое отверстие для стока дождевой воды. Мы пролезли в него, потом завалили его камнями, хотя это было совершенно не нужно, и вошли в дом.

Назаров не спал. Он оторопел от нашего рассказа. В ванной, где не было окон, мы зажгли коптилку и впервые увидели себя. Платье было порвано, руки изодраны в кровь. Но, в общем, мы легко отделались от смерти.

Мы жадно напились чаю и опьянели. Конечно, не от чая, а от удивительного, ни с чем не сравнимого, какого-то невесомого чувства безопасности. Если есть полное счастье, то оно было в ту ночь с нами.

Мне хотелось, насколько возможно, продлить это чувство. Я оделся, взял одеяло и пошёл в лоджию – глубокую нишу на втором этаже с выступающим балконом. В лоджии было темно. Ветер не проникал в неё, и меня никто не мог заметить с улицы.

Я сел в плетёный пезлонг, закутался в одеяло и так просидел до рассвета, прислушиваясь к звукам ночи.

Беспредельный морской шум не прекращался ни на минуту. Он набегал длинными волнами, то усиливаясь, то затихая. И ветер то начинал шуметь в голых деревьях, то замолкал, так же, как и я, прислушиваясь к течению ночи. Но он не уходил, он был здесь. Я это знал по запаху мокрой гальки и по едва внятной трепету одинокого платанового листа.

Я заметил ещё днём этот упрямый сизый лист, но сейчас, ночью, он казался мне маленьким живым существом, моим единственным бодрствующим другом.

Изредка из тьмы, из города, доносились ружейные выстрелы. После каждого выстрела долго лаяли собаки. Потом далеко в море мелькнул тусклый огонь и погас.

Всё спало вокруг. Я часто засыпал на несколько минут, но сон этот был непрочен. То был полусон, когда с той ясностью, какая бывает только наяву, можно увидеть большие белые цветы, плывущие по ночному морю, или услышать, как поёт скрипка, легкая, как детская ладонь.

В этом полусне я ощущал себя совсем иным, чем всегда, – очень спокойным, доверчивым, принимающим мир. И я слышал стихи, приходящие из морской темноты и похожие на женский шёпот:

Что в имени тебе моём?
 Оно умрет, как шум печальный
 Волны, плеснувшей в берег дальний,
 Как звук ночной в лесу глухом.

1956

23 июня 1921 года вышел «золотой» 100-й номер впоследствии столь знаменитой газеты «Моряк». Отпечатанный на неммыслимо белой по тем временам бумаге в две краски, он оказался «золотым» ещё и по составу авторов литературного отдела: Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев и Константин Паустовский. В этом номере Паустовский напечатал стихи:

Вы помните, – у серого «Камилла»
 Ныряли чайки, словно хлопья снега,
 Как чешуя, вода в порту рябила,
 И по ночам слепительная Вега
 Сверкала вся, как древняя корона,
 Как божий знак покинутых морей...

Совсем недавно выяснилось, что изысканно-романтическое стихотворение это имеет под собой вполне реальную прозаическую основу. Вечерам 3 июня 1921 года в Одесском порту ошвартовался углевоз «Камилло Гильберт», который привез в испытывавшую острейший топливный голод Советскую Россию партию угля из Балтимора.

Из статьи Виталия Орлова «Конец Неведомого Века»

Вы помните, – у серого «Камилла»
 Ныряли чайки, словно хлопья снега,
 Как чешуя, вода в порту рябила,
 И по ночам слепительная Вега
 Сверкала вся, как древняя корона,
 Как божий знак покинутых морей.
 Железный лязг скрежещущих лебёдок,
 И хриплый крик, и тёмные закаты
 На пелене прозрачной и зелёной,
 Где облака – как крылья лебедей.
 И тихий ход портовых ветхих лодок
 У чёрных и бездымных кораблей,
 Заржавленных, как латы.
 А на рассвете, тусклом как опалы,
 Мы слышали густой и медный рёв
 Сирен тягучих. Бледные кораллы
 Мигали в ночь. И этот гулкий зов
 Напомнил мне о гаванях шумливых,
 О зное стен и запахе вина,
 О бронзовых и закалённых лицах
 Чужих и странных моряков.



И горечь дум, и блеск зарниц в заливе,
Сквозных медуз в волне голубизна,
И запах соли, солнца и корицы
Измучили, как мучает весна
Беспомощных рабов.

1921

СЛАВА БОЦМАНА МИРОНОВА

рассказ

Листвой акаций и морем шумело одесское лето, голодное и весёлое лето 1921 года.

Из окон редакции газеты «Моряк» были видны жёлтые мачты в порту и вереница стариков, сидевших вдоль набережной с гигантскими бамбуковыми удочками.

С утра собирались в редакцию помощники с пароходов, стоявших с погашенными машинами, матросы, масленщики, портовые служащие и начиналось густое курение табака и густое вранье. Говорили о фрахтах, восстании на «Жане Барте», рейсах, рыбе и о прочих прекрасных вещах. Редакция превращалась в клуб.

Иногда в редакции появлялись иностранные моряки, больше греки. Они скалили зубы и хлопали всех по плечу. Их угощали чаем из сушёной моркови.

Греки приносили с собой запах маслин и Эгейского солнца. В их морщинах лежала сизая синева.

Почему-то все греческие пароходы носили женские имена: «Анастасия», «Ксения», «Елена», «Афродита», были маленькие, чёрные и смешно подскакивали на гребнях пенистых черноморских волн. Над портом страшно дымили их красные трубы с белыми звёздами.

Пароходики были похожи на переводные картинки. Сиплые их машины и тесные каюты, где коки выращивали в жестянках побег лимон, напоминали детство парового флота, то добродушное и безмятежное время, когда, по словам стариков, на морях стояли мёртвый штиль и глухая жара.

Пароходы эти не торопились уходить. Они лежали, накренившись на борт, в тёплой воде у набережной, обвешанные матросским бельем. Команда ловила с бортов скумбрию и мылась на палубе. Идиллическое существование этих финикийских судов не нарушалось ни войнами, ни революциями. Им было немного надо: груз лимон, малую толику хлеба, вина и сыра, много солнца и побольше беззаботности. При наличии этого жизнь казалась прекрасной.

Чаще всех в редакции бывал боцман Миронов.

Он нежно был привязан к своей морской газете. Он умел, как никто, завязывать галстук австралийским узлом, был высок, конфузлив и обладал памятью чёткой и феноменальной, как фотографическая пластинка.

В Нью-Орлеане в 1920 году он вошёл в бар, сел под полосатым тентом и заказал бутылку виски. Вокруг сидели негры и скалили ослепительные зубы. Вслед за Мироновым вошёл полисмен, тронул его за плечо и грубо сказал:

– Выйдите отсюда!

– Почему?

– Это заведение для чёрных. Вы не должны унижать белых.

На это со стороны Миронова последовал ответ об «американском байструке», меткий удар и «хорошенький тарарам» с участием негров и команды с норвежского наливного парохода.

– Стекла набили на советские деньги лимон на восемьсот. Дрались, чтоб не соврать, часа три. С полисменов выпустили всю подкладку.

Потом, конечно, Миронов сидел три месяца на «президентских харчах» в каменном раскалённом тюрьме, где от духоты весь день шла носом кровь, а ночью кусали сколопендры.

Он презирал Америку, потому что там «трудно поворотиться рабочему человеку», презирал, несмотря на то, что он был единственным русским моряком, плававшим на стеклянных американских пароходах, которых пока только два в мире.

Об этих пароходах он говорил лаконически:

– Сверху, конечно, чёрный, а в середине – стеклянный. Плаваешь в нём, как в бутылке. Моряки на нём липовые, все на один рейс, больше всё шпан с Маврикия. Конец потравить не умеют. Подымут у пиджаков воротники, насунут кепки и бегают по палубе, как на Бродвее!

В морские способности американцев он вообще не верил.

– Норвежцы – это да! – говорил он. – Это люди! Валит через океан на дырявой шхуне, груза накладёт полную палубу, кофе надуется, и на всё ему наплевать. Штормов не боится, качается – и ему весело. Можно сказать, что народ до моря подходящий.

И вот с боцманом Мироновым в редакции «Моряка» произошла необычайная история. Тот вундеркинд, которого возили по Европе и показывали в цирке за деньги, так как он множил в полминуты 3375 на 931, может почернеть от зависти. Потому что память боцмана была боле чёткой, острой, была поистине какой-то нечеловеческой памятью.

Не помню кто – Наркоминдел или Внешторг – просил редакцию сообщить все сведения о русских пароходах, уведённых за границу. Надо знать, что был уведён почти весь торговый флот, чтобы понять, как это было трудно.

И когда мы просиживали напролёт жаркие одесские дни над судовыми списками, когда в редакции потели от напряжения и вспоминали старые капитаны, когда изнеможение от путаницы новых пароходных названий, флагов, тонн и «дедвейтов» достигло наивысшего напряжения, – в редакции появился Миронов.

– Вы это бросьте, – сказал он. – Так у вас ни черта не выйдет. Я буду говорить, а вы пишете. Пишите! Пароход «Иерусалим». Плавает сейчас под французским флагом из Марселя на Мадагаскар, зафрахтован французской компанией «Пакэ», команда французская, капитан Борисов, боцмана все наши, подводная часть не чистилась с тысяча девятьсот семнадцатого года. Пишите дальше. Пароход «Муравьев-Апостол», теперь переименован в «Анатоль». Плавает под английским флагом, возит хлеб из Монреаля в Ливерпуль и Лондон, зафрахтован командой компанией «Рояль-Мейль-Канада». В последний раз я видел его в прошлом году осенью в Нью-Порт-Ньюсе.

Это длилось три дня. Три дня с утра до вечера он, дымя папиросами, диктовал список всех судов русского торгового флота, называл их новые имена, фамилии капитанов, рейсы, состояние котлов, стоянки, состав команды, грузы. Капитаны только качали головами. Морская Одесса взволновалась. Слух о чудовищной памяти боцмана Миронова распространился молниеносно.

Пароходные агенты приходили в редакцию посмотреть на него и стояли почтительно в соседней комнате, сняв шляпы.

Это было неслыханно. Это было точно до одной тонны. Об этом стали создавать легенды, об этом горланили в кубриках, на палубах, в кают-компаниях. Херсонские матросы стали бахвалиться и обзывать всех остальных матросов «пицелями» и «штукатурами», потому что Миронов родом был из Херсона.

Слава тяготила Миронова. Наркоминдел прислал благодарность. Сотрудники «Моряка» и все желающие морские люди снимались с ним на шхуне «Мальвина» в порту. Был устроен даже банкет. И Миронов сбежал. Он зашёл ко мне попрощаться и сказал мне напоследок:

– Ну и тарарам, не дай бог! Надо тикать. Поеду я лучше до себе, в Херсон, пойду на море, а то задурили мне совсем голову, – совести нет у людей.

И он бежал, преследуемый по пятам славой, безжалостной и назойливой, как слепни на вспотевших лошадях.

Одесса, 1921

У Ланжерона прибой пели,
Солёный ветер ласкал глаза,
И облака плели кудели,
И небо в море, как бирюза.
Весенний, юный, я волновался,
Ты, Хатидже, ждала меня.
Я помню – месяц в волнах купался,
Горя в тумане венком огня.
И в смутном зове горячей ночи
Капризно, нежно смеялась ты.
О как хотелось, чтоб дни, короче,
Плели под солнцем свои мечты.



Вино и песни, и сумрак влажный,
И дождь шумливый во тьме террас.
Твой лепет звонкий,
твой стон протяжный...
Дожди и ветры скрывали нас.
И светозарный и пьяный морем
Был каждый вечер. Я уходил.
А ты молилась сапфирным зорям.
И голос моря тебя будил.

(1921 г.)

УСТАВ КЛУБА ЛИТЕРАТОРОВ «ПОД ЯБЛОЧНЫМ ДЕРЕВОМ»

Наши силы, наше знание, наши дарования и опыт были брошены в течение последних лет на всевозможные фронты. Один лишь фронт остался у литераторов совершенно забытым и заброшенным. Этот фронт – фронт литературы.

Ныне, демобилизуясь вместе со всей страной, мы невольно стали лицом к лицу с забытым нами плацдармом. Сбросив с плеч щиты и латы, мы возвращаемся к единственно родной для нас стихии борьбы и жизни – радости и творчеству.

«Литераторы, назад к литературе!» – вот девиз наш сейчас.

Клуб «Под яблочным деревом» стремится стать олицетворением литераторов в Одессе.

1. Членами Клуба могут быть только несомненно чистокровные, густопсовые литераторы (расклейщики газет, выпускающие, любители порнографических программ и одесские репортеры исключаются).

2. Членом Клуба может быть только литератор талантливый или «подающий надежды» (женщинам-литераторам – 20% скидки, поэтессам – 30%).

3. Для вступления в Клуб необходима личная рекомендация двух действительных членов и одного общепризнанного гения (гением обычно бывает сам рекомендуемый).

4. На собраниях Клуба литераторов запрещается вести беседы:

- о политике,
- о пайках,
- о предстоящей зиме,
- о дороговизне лука и о Шенгели.

5. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность носить в боковом (левом) кармане пиджака:

- № 1) членский билет,
- 2) книжку стихов Веры Инбер,
- 3) порцию сахара для чая на собраниях (сахар можно заворачивать в стихи Инбер)
- 4) и пропуск для хождения по улицам после 3-х часов ночи.

§ 6. Литературные беседы ведутся по заранее разработанному плану. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность разработать «свой» план. Прения о планах воспрещаются.

...

Евгений Иванов назначается плавучим доком Клуба для ремонта литераторов, получивших боковую течь или севших на мель».

В уставе не забыли и о необходимости назначения казначея и почётного председателя. На этот пост выдвинули Семена Юпкевича, оговорив, что «из Америки его вызывать не следует.

*А.Т. Твардовский – К.Г. Паустовскому
26 ноября 1958 г.*

Мы были очень обрадованы встречей с Вами в редакции после первого чтения «Времени больших ожиданий». Более того, мы с особым удовлетворением вспоминали и ставили в глаза и за глаза в пример некоторым молодым, да ранним Вашу исполненную достоинства скромность, готовность и способность спокойно выслушать даже и не очень приятные редакторские замечания, по-деловому заключить нелёгкий разговор согласием «перепахать» ещё раз рукопись, сделать всё, что необходимо для беспрепятственного её опубликования.

И нам, право, жаль, что покамест – так уж оно получилось – результаты «перепашки» оказались, мягко выражаясь, малопродуктивными. Да, Вы внесли некоторые изменения в текст повести, кое-что опустили, кое-что даже вписали, например, странички, призванные разъяснить особое положение Одессы в 20-21 гг.

Так, Вы, объясняя «тишину» и, так сказать, своё право пользоваться благами этой «тишины», сообщаете, что наступила она вследствие ухода рабочей части населения города на северные фронты и в деревню от голода. Словом, ушли, нету их, нет необходимости их описывать. Согласитесь, что этот приём сходен с тем, что применяют авторы некоторых пьес, удаляя со сцены детей (к бабушке, к тетушке, в деревне и т.д.), мешающих взрослым резвиться на просторах любовной и иной проблематики.

Но дело, конечно, не в этом, а в том, что внесённые Вами исправления нимало не меняют общего духа, настроения и смысла вещи. По-прежнему в ней нет мотивов труда, борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море и всяческие красоты природы, самоценность искусства, понимаемого очень, на наш взгляд, ограниченно, последние могики старой и разные щелкопёры новой прессы.

Одесса, взятая с анекдотически-экзотической стороны.

Не может не вызывать по-прежнему возражений угол зрения на представителя «литературных кругов»: Бабель, апологетически распространенный на добрую четверть повести, юродствующий графоман Шенгели в пробковом шлеме, которого Вы стремитесь представить как некоего рыцаря поэзии; Багрицкий – трогательно-придураковатый, – Вы не заметили, как это получилось, – придураковатый стихолоуб и т.п.

И главное, во всём – так сказать, пафос безответственного, в сущности, глубоко эгоистического «существования», обывательской, простите, гордыни, коей плевать на «мировую историю» с высоты своего созерцательского, «надзвёздного» единения с вечностью. Сами того может быть не желая, Вы стремитесь литературно закрепить столь бедную биографию, биографию, на которой нет отпечатка большого времени, больших народных судеб, словом, всего того, что имеет непреходящую ценность.

Таким образом, Константин Георгиевич, эта «доработка» не позволяет нам считать рукопись пригодной для опубликования в журнале, – если бы мы это сделали, мы навлекли бы на Вас тяжкие (и, увы, справедливые!) нападки критики, да и журнал бы понёс серьёзный урон, журнал, который, смеем думать, никак не менее других журналов способен понять специфику художественного изъяснения, индивидуальную особенность письма и т.п.

Мы просим Вас ещё раз обратиться к рукописи, не торопясь и не решая вопроса облегчённым способом. Мы хотели следующих конкретных авторских «вмешательств» в изложение:

1) Несколько добрых, не формальных слов о людях труда, налаживающих новую жизнь в Одессе после ухода белых;

2) Решительного сокращения апологетического рассказа о Бабеле, который, поверьте, не является для всех тем «божеством», каким он был для литературного кружка одесситов;

3) Снятия истории с публикацией в «Моряке» (...).

4) Снятия «спора о Родине» в Доме творчества «Переделкино» (там одинаково неправы обе «стороны»);

5) Устранения в нескольких случаях особо «кокветливых» фраз и абзацев, вроде того, что на первой странице, где цитируются плохонькие стишки Адалис (неужели Вы не замечаете этого, например, употребления его слова «помалу» в смысле «мало», тогда как смысл этого слова другой – постепенно, помаленьку).

Вот и всё, примерно, дорогой Константин Георгиевич. Мы искренне хотим быть понятыми правильно, мы хотим напечатать Вашу вещь, имея в виду и вообще интерес читателя ко всему, что принадлежит Вашему перу, и, в частности, интерес журнала, который никак не хотел бы утратить и в данном затруднительном случае контакт с таким автором, каким являетесь Вы.

Не откажитесь откликнуться на это письмо.

Александр Твардовский



К.Г. Паустовский – редакционной коллегии журнала «Новый мир»
А.Т. Твардовскому, А.Г. Дементьеву.
7 декабря 1958 г.

Получил Ваше письмо от 26 ноября. Задержал ответ, так как сейчас очень болен и писать мне трудно.

Прежде всего я прошу редакцию тотчас же отправить два экземпляра моей рукописи («Время больших ожиданий»), находящихся в «Новом мире», на мою московскую квартиру во избежание всевозможных недоразумений.

Теперь несколько слов по существу. Редакция утверждает, что она не хочет терять контакт со мной, но вместе с тем сделала всё возможное, чтобы этот контакт уничтожить. В данном случае я говорю даже не о содержании письма, а о его враждебном, развязном и высокомерном тоне.

Я – старый писатель, и какая бы у меня ни была, по Вашим словам, «бедная биография», которую я стремлюсь «литературно закрепить», я, как и каждый советский человек, заслуживаю вежливого разговора, а не грубого одергивания, какое принято сейчас, особенно по отношению к «интеллигентам».

Нельзя ли редакции «Нового мира» страховаться от возможных уронов с большим достоинством и спокойствием.

Я обещал Вам «прополоть» рукопись (до возможного для меня предела), что и сделал, а не в корне «перепахать» её. Вы сами прекрасно знаете разницу между этими двумя понятиями, когда они переносятся в литературу. Поэтому редакция напрасно делает вид, что её обманули.

Всё, что вписано в последний экземпляр о рабочих в Одессе, сделано по Вашему прямому предложению после того, как я рассказал Вам о специфическом положении Одессы в те годы. Поэтому пошловатое сравнение этого якобы «приёма» с поведением взрослых, усылающих детей, чтобы они не мешали взрослым «резвиться на просторах любовной проблематики», поразило меня своим дурным вкусом и грубостью.

Я никому не обещал и не брался писать эту повесть о труде. Этой теме посвящены другие части эпопеи. Что же касается политики, то ею так наполнена третья книга («Начало неведомого века»), которую Вы, по Вашим словам, не читали, что насыщение политикой ещё и четвёртой книги было бы простым повторением.

В книге, по-Вашему, показаны разные «щелкоперы новой прессы». Такое заявление более пристало гоголевскому городничему, чем редакции передового журнала.

Щелкопёров нет! Есть люди. Люди во всем разнообразии их качеств, и незачем клеить на них унижительные ярлыки. У какого-нибудь одесского репортёра может быть больше душевного благородства, чему Вас, сомнительных учителей жизни.

Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду считать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других прекрасных наших писателей и поэтов, независимо от их национальности. Если редакция «Нового мира» думает иначе, то это дело её совести.

Почему Багрицкого, человека шутливового, вольного, простого, Вы считаете изображённым в качестве трогательно-придураковатого стихолюбца? Из чего это видно? Неужели из того, что он ненавидел чванство и спесь, ставшие одной из современных доблестей.

Что касается Ваших слов «о гордыне автора, которому плевать на мировую историю» с высоты своего «единения с вечностью» (??), то эти путаные слова отдают фальшью и свидетельствуют о непонимании текста.

Вас, как поэта, я хочу спросить, Александр Трифонович, что означает лермонтовское «Выхожу один я на дорогу»? Не то же ли «единение с вечностью», по вашему толкованию. Тогда побейте Лермонтова камнями, если Вы искренни.

Пожалуй, хватит. Скажу только, что я не ожидал именно от Вас столь незначительного письма, продиктованного, очевидно, внелитературными и служебными соображениями.

Не знаю, – заслужил ли я в конце жизни такое письмо от поэта? Судя по десяткам и десяткам тысяч писем читателей – не заслужил. Но Вам, с официального верха, виднее.

Напоследок решаюсь посоветовать Вам хотя бы быть логичнее и, сначала приняв (может быть, сторяча), в основном, мою повесть, не стараться потом начисто опорочить её, как Вы это делаете, опорочить все её четыре книги заявлением о ничтожности моей биографии.

В старину говорили: «бог вам судья», подразумевая под богом собственную совесть.

Вот единственное, что я могу пожелать Вам. Рукопись прошу поскорее вернуть.

К. Паустовский. Ялта

«ШШКАФ»

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ

(Эльдар Ахадов, Бытие. М., Издательские решения, 2017, 296 с.)

Эльдар Ахадов не перестаёт удивлять меня своими творениями. Казалось бы, только что у него вышла необыкновенная «Кругосветная география русской поэзии». И вот – новая книга, с явным философским подтекстом, который проступает уже в заглавии. Бытие – это то, что возвышается над бытом, как надстройка – над базисом; в то же время, со-бытийность всегда произрастает из самых простых, первоначальных движений души. Бытие – это духовная квинтэссенция человеческой жизни. Книга Эльдара Ахадова дерзновенна по замыслу. Автор предвидит, что не всё изложенное в книге, возможно, будет иметь тот отклик, на который ему хотелось бы рассчитывать, и причиной тому – новизна и непривычность некоторых мыслей. Книга написана на горячем градусе «последней правды», это качество способствует доверительной стремительности её прочтения.

Эльдар Ахадов обладает нестандартной философичностью и теплотой души, свойственной очень немногим людям. И по мысли, и по чувствам у него всегда «жарко». Но ведь именно это и придаёт ценность его произведениям! Авторское предисловие плавно перерастает у Ахадова в сюжетно-лирическое повествование. Читатель не успевает даже спохватиться – а книга уже началась! Ахадов (думаю, бессознательно) построил «Бытие» на контрастах. С одной стороны, это краткие сюжеты-изречения в стиле Паскаля и Ницше. С другой – полемические главы о Христе и его учениках. Причём самые бесспорные высказывания идут в начале книги – словно бы для того, чтобы мы затем поняли и приняли необычную трактовку евангелий. Конечно, сейчас трудно сказать новое слово: многое, если не всё, уже сказано до нас. И мы порой обречены на повторение мыслей наших предшественников – конечно, уже новыми, современными красками. Но, читая «Бытие», постоянно сталкиваешься с высказываниями, которые, несомненно, являются авторскими от-

крытиями писателя. Например, мне запомнилась миниатюра «Исполнители». О том, что кровавые замыслы любого тирана бессильны без тех людей, которые готовы исполнить эти бесчеловечные приказы. И, наоборот, отсутствие таких людей выбивает почву из-под ног тирана. То есть, граждане деспотии тоже в немалой степени ответственны за проливаемую кровь.

В отличие от Ницше, у которого была, по его собственному признанию, «злая мудрость», у Ахадова, безусловно, мудрость «добрая». Не случайно он пишет также и сказки. А сказочник не может быть злым по определению. Миниатюры, составившие первую часть «Бытия», читаются на одном дыхании, невзирая на большую плотность повествования. После каждого изречения хочется остановиться и немного подумать. Наверное, и пишутся такие мини-новеллы легко и свободно, как вдох и выдох. Это мысли о жизни, о мире, облечённые в поэтическую, афористичную форму. Это проза, про которую мы говорим, что она одновременно и философия, и поэзия. Лёгкость и музыкальность изложения являются несомненным достоинством произведений Эльдара Ахадова. Его краткие изречения скомпонованы по свинговому принципу. В предыдущей теме часто уже находится зародыш того, о чём пойдёт речь впереди. Невзирая на фонтанирующее разнообразие книги «Бытие», на мой взгляд, именно короткие изречения задают тон всей книге. Как хорошо сказано о вершинах в жизни человека! *«Всё хорошее либо уже было – на пути к вершине, либо ещё будет – за её хребтом».* Много интересного сказано о природных стихиях. Например, вода у писателя «самоочищается» течением: никакая грязь не в силах её запятнать! И повсюду у Эльдара – поэзия! Всё дышит поэзией. У него поэзия – это не просто стихи, не просто поэтические изречения. Это – неотъемлемая часть мировоззрения. И за всем этим – какая-то невероятная доброта. Доброта, пожалуй, неведомая даже



Толстому с его подставленной щекой. Ахадов никому ничего не подставляет. Он – просто любит этот мир, и никто не может лишить его этой вселенской любви ко всему живому и неживому. А какой парадоксальный, «анти-платоновский» взгляд у писателя на мысли о смерти! Что о ней думать? Надо жить и дарить себя другим. Тот, кто всё время думает о смерти, по мнению Ахадова – никакой не философ, а обыкновенный эгоист. А как зазвучали у Эльдара слова Сократа! Помните, «я знаю, что ничего не знаю»? А вот что говорит Ахадов: *«И знаем мы не всё. И не всё, что мы знаем – истина»*. Так и хочется воскликнуть в душе: «Браво!». Настолько это точно и свежо.

Писатель Ахадов – личность необычная, яркая и неповторимая. Душа и дух в нём равновелики, потому как дар сострадания возникает в сердце философа. У Ахадова мы встречаем очень интересный взгляд на мир – из вечности, которая будет уже после нас. Это, в сущности, «пиастернаковский» взгляд из «Доктора Живаго», когда героя уже нет на этом свете, но он, тем не менее, есть. Жизнь продолжается, и что-то из писательского наследия продолжает резонировать с новым временем. Дети, внуки, творчество, идеи...

Ахадов часто парадоксален, в хорошем, пушкинском смысле этого слова; его парадоксы, как правило, залегают на большой глубине. Это не какое-то научное мудрствование: он говорит о том, что близко всем и каждому. Его философия чувственна. Мне приходит на ум поздняя книга Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель», где автор так же глубоко пытался проникнуть в смысл жизни. Как у Экзюпери, так и у Ахадова это уже «итоговые» мысли, результат напряжённой духовной работы нескольких десятилетий. Эльдар Ахадов даёт свой ответ и на вечные русские вопросы «Что делать?» и «Кто виноват». Постепенно афоризмы и мысли плавно перетекают у писателя в рифмованные стихи, лишённый раз доказывая, что для него все формы изложения хороши, и, как выразился Вольтер, «все жанры, кроме скучного».

ОГОНЬ И ВОДА

*Если я – вода, то пусть вода течёт
Отсюда и туда, куда её влечёт
Рыбацкое весло, наклон земной оси...
Того, что истекло, вернуться не проси.
Если ты – огонь, то пусть огонь горит.
Смотри, как сквозь ладонь он с ветром говорит,
Что даже без меня со мною ты везде,
Как отблески огня в невидимой воде...*

Больше всего полемики в душе читателя вызывают те главы из книги Ахадова, которые посвящены жизни Христа и его апостолов. Большое достоинство поэта – не всё брать на веру; искать новые объяснения, казалось бы, хорошо известным событиям. И всё же, когда речь идёт о лицах официальных конфессий, я предпочитаю позицию здорового консерватизма. Невозможно «переиграть» историю. Раз Иуде выпала неблагоприятная роль ренегата и отступника, ничего с этим уже не поделаешь. Как и Эльдар Ахадов, в своё время делал попытку реабилитировать Искарота сподвижник Максима Горького Леонид Андреев. Но, думаю, даже, возьмись за это дело Достоевский и Толстой, оно не сдвинулось бы с мёртвой точки: самому гениальному писателю не под силу пошатнуть многовековую традицию догматического мышления. Вспоминаются строки из «Юноны и Авось»: «Авантюра не удалась. За попытку – спасибо». Эльдар Ахадов вычитал в Евангелиях строки, доказывающие невиновность Иуды. Но для меня это какая-то мистическая жертва. Иисус добровольно пошёл на смерть. А Иуда добровольно согласился стать единственным отступником, проклинаемым в веках. Хотя, по правде говоря, доносителем мог оказаться любой из апостолов, настолько революционными были мысли Христа. И любой из них мог оправдать свой поступок защитой интересов своего тогдашнего государства. Поэтому для меня даже странно, что предатель, согласно каноническим текстам, оказался только один.

И в этом философском контексте у Ахадова появляются рассказы о малоизвестных фактах из жизни Пушкина, Лермонтова, Есенина, Гумилёва и других писателей-путешественников. Всё это очень интересно. Сама жизнь является путешествием нашего сознания. Путешествия питают творчество поэта, и всё в душе начинает звучать как величественный гимн Жизни. Думаю, что «Бытие» – книга не одноразового прочтения. Кому-то из читателей она даже может стать «настойной». Эльдар Ахадов совершил в своей жизни множество путешествий, забирался даже в далёкие латиноамериканские страны, Аргентину и Бразилию. «Мы бессмертны, пока живы», – говорит писатель. И хочется от всей души поздравить Эльдара Ахадова с новой книгой и пожелать ему новых незабываемых минут творчества.

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

ТЭЙТ ЭШ

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ

не хватило миров. на двоих – полтора...

отпрокинутый кофе остался вчера. два птенца на свободе, разбивши семьи оболочку. мы судьбу дописали, вошедшие в раж, но осталась страница, где год и тираж, и улыльый редактор никак не накапает точку.

превращаются в память следы на песке. телефон задыхается в мокрой руке, задыхаюсь и я, но звоню, пересиливши робость. от коротких гудков шандафхнуло в дроздь. и опять – за окном колыхается розжь, и на досках подъездных дверей нацафранано: «пропасть».

ты туда не спеши, это все наяву. я-то знаю, я в этом подъезде живу, и рисую молчанием серые строки ступеней. вдоль потресканных стен – известковый налёт. поднимаюсь в туман – за пролётом пролёт – становясь всё безумней (а скажут – мудрей и степенней...)

но тебе не понять. ты влюблён и далёк, суетишься, как белый тюлешек-белёк. я и так допоздна засиделась с тобой, задружилась. перерыв на звонки, пересчёт трудодней... я домой на метро, ты останешься с ней. пятна кофе и секс, как всегда, назовём «не сложилось». не фсилось, не сбилось, но в четыре утра отдаю на убой все мечты комара. пью стихи и коньяк – до изжоги, скуля и дичая. быть офелией? запросто! только – в бреду – повилики с укропом никак не найду. видно, так и топиться в рутине с пучком молочая, так и ждать, так и верить, считая часы, так и мучать соседей, себя и басы, так и жить с этой розжьё за окнами!.. выгляни, видишь?.. над гнездовьем кукушек – припадок зары, сквозь туманы июля спешат звонари окропить перезвоном давно ославяненный идиши трёх кварталов, двух кладбищ и сотен котов. все дороги – не в рим, а куда-то в ростов, – рассыпаются вёрстами по буеракам и весям. через поле – на запад, по пьяни, навзрыд, спотыкаясь о прялки, обломки корыт – и о прочие сказки.

что, полошко, покуролесим?

отмотаем долги, обещанья, года. наливай! здесь и в лужах живая вода! мне бы выпить до дна, захлебнуться свободой – и сбиться... только пропасть зияет, глядит из-под ног, и не так уж и важен – отшельник ли, бог – третий час монотонно твердящий: «не пей из копытца»...

...

разговор не случился. к чему разговор? –

для других зеленеет рябинами двор, где соседка кричала с утра: «постыдились бы! люди ж!»

лучше вывалюсь – глупый птенец – из гнезда, но я завтра усну – и вернусь в холода, где на мёрзлой земле колосками написано: «любишь»...

В ПАСТИ У ПРОПАСТИ

Стихотворение Тэйт Эш «Над пропастью во ржи» завораживает с первых строк: «Не хватило миров: на двоих – полтора...». Бывают фразы настолько ёмкие по смыслу, что больше и добавить нечего: всё ясно, как Божий день. Душевно-духовный симбиоз влюблённых не терпит дробей. Когда мир дробится, теряется цельность. Это уже период полураспада. Некое «членовредительство». Надо сказать, что весь этот рассказ в стихах напи-

сан специально придуманной для этого авторской строфой. Спрятанная в дебрях «прозаического» текста строфа состоит из шести строк, рифмующихся по принципу ААБВВБ. И рассказу очень «уютно» в жёстких рамках этой авторской строфы. Конечно, ещё важна многостопность размера, которая позволяет автору говорить широко и размашисто. Прекрасные рифмы настолько хорошо таятся внутри текста, что их не сразу замечаешь.



Авторская акустика превосходна: «ступеней – степенней, люди ж – любийшь».

Чувствуется рука Мастера. Что такое настоящее мастерство? Когда мастерства – не видно.

«Жизнь пронеслась!» – только и успеваешь подумать, читая этот странный и очень «женский» по теме рассказ, но каждый раз ловишь себя на мысли, что это вполне могла быть и «мужская» история. Ночь, спрессованная в жизнь. Жизнь, спрессованная в ночь. Любовь – это когда два человека, держась друг за друга и паря, висят над пропастью. И когда один из них по каким-то причинам одёргивает руку, второму – прямая дорога вниз, в бездну. Любовный треугольник, притча во языцех, в рассказе Тейт Эш едва помечен. Маленьким штришком. И читатель догадывается, что дело – вовсе не в треугольнике. Треугольник – всегда следствие, а не причина. Поэтому и рассказ – не о нём. Иначе – было бы поверхностно, слишком по-женски.

Хотя автор периодически отсылает нас, аллюзионно, то к Шекспиру, то к Сэлинджеру, могу с уверенностью констатировать: эта маленькая поэма – очень русская по духу. Именно так мы, русские люди, переживаем свои любовные коллизии. Наверное, уже генетически в каждом русском человеке заложено в схожей ситуации напиваться вдрабадан – и пускаться во все тяжкие. Чем хуже, тем лучше. Но стиш (поэма? рассказ?), к счастью для нас, написан в классическом «потоке сознания», который первым опробовал в мировой литературе ещё Райнер Мария Рильке со своими «Записками Мальте Лауридс Бригге».

Настроение ЛГ Тейт Эш постоянно меняется, как погода в мартобре, – даже не столько настроение, сколько отношение к происходящему в её собственной жизни. Она пронизывает над своим возлюбленным, хотя и понимает, что он уже отнял свою руку и тем самым уронил её, оставил одну у края пропасти. Это такая понимающая и прощающая мужские слабости прония умной женщины. Ничего не дано изменить, и тут уже всё равно, бейся об стенку или смейся. У нас, людей, часто бывает так, что любовь – всего лишь дополнение к другим занятиям. Но мне больше импонирует, когда любовь для человека – вся жизнь, вся без остатка, без дробей. И в таком случае человек очень незащищен перед судьбинно-космическим фатумом. Любовь часто оставляет после себя пустое место, которое продолжаешь любить. Случается, что это – навсегда, но лучше об этом не думать. Иначе и жить не стоит!

ЛГ Тейт Эш очень великодушна: она не жаждет мести, она не хочет, чтобы её любимый

последовал за нею в расставленную им самим пропасть: «ты туда не спеши. это всё наяву. я уж знаю, я в этом подъезде живу...». Как птенец, выпавший из гнезда, ЛГ переживает свою драму как *выпадение из сказки*. И здесь случается страшно интересная вещь: сказку и выпадение из неё героиня переживает как единое целое! «Мне бы выпить до дна, захлебнуться свободой – и сбиться...». Вот это самое «сбиться» очень важно: не пройдя через ад, который соседствует с раем, сбиться невозможно! Это как высшее знание, квинтэссенция жизни, эзотерическое понимание её полноты... И постскрипум к рассказу, отделённый от повествования тремя точками, лишней раз убеждает: ЛГ устремлена назад, в будущее, к дантовской *vita pioua*, в ту самую пропасть, *где на мёрзлой земле колосками написано: «любийшь»...*

*

ТЕЙТ ЭШ

ЕЁ ЗВАЛИ ВЕРА

её

звали

Вера.

...

босая, едва жива,

опять повторяет заученные слова

про «только дождаться, не двигаться, не смотреть».

луну обглодали собаки. едва ли треть

осталась на небе. не видно луне-бельму,

как девочка с раненой куклой глядят во тьму.

ударам пластмассовой боли сойти с ума –

от бывшего «ма-ма» осталось больное «ма-...»,

промокшее платье и шрам на ключице.

ты

боишься дышать, задыхаясь от пустоты,

от пыли и гари. и куклу – к себе, тесней...

касается ветер израненных в кровь ступней,

разорвано платье, растерзаны мысли на

осколки бутылоч. но здесь, за спиной стена –

ко всем безразличный, уныло-холодный ад.

а в нескольких метрах – мальчишка, погибший брат.

не выжить, не сбиться – на зулоч «не» дробя.

и девочка-кукла бежит от войны в себя,

где страх обрывается тем же обвальным Не,

мерещится призраком в уличной шаркотне,

в разбитых глазницах последних домов и стен.

*пригнуться пониже. унылых шагов рефрен
смакает, смакает...
и снова – шаги, шаги...
рассветное солнце покрашено в цвет фольги –*

*сереющей дымкой вползает на свой насест,
глядит на безумные лица, бетон, асбест,
на девочку с куклой. и девочка смотрит ввысь,
на пыльное солнце.*

...

ТАК СТРАННО О ВОЙНЕ...

Порой страшнее, чем летопись войны – хронология её рикошетов, рассказ о тех людях, которые сами не воевали, но по какому-то несчастливому жребию попали под «раздачу слонов». И в этом плане очень «цепляет» стихотворение Тейт Эш «Её звали Вера...» Рассказ о маленькой девочке и её живой кукле, о том, как они попали в грязные паучьи лапы войны, и что из этого всего вышло...

Достоинство этого стихотворения – в том, что судьба человека здесь доминирует над военными реалиями, а сама война автором не конкретизирована – это может быть и Афган, и Чечня, и Беслан, и Украина, и просто криминальная разборка, когда неизбежно возникают невинные жертвы... Да и национальность девочки тоже не обозначена, что дает повод для универсального и широкого толкования этого стихотворения.

Нельзя рассматривать войну вне изученных судеб её не-участников. В названии стихотворения Тейт Эш проскальзывает «омонимический» символизм: девочку зовут Верой, но автор говорит о живом человеке в прошедшем времени, и это наталкивает меня на неожиданную мысль, что порой в жизни человека случаются события, которые приводят к потере имени. То есть перемена с человеком происходит настолько разительная, что старое имя уже плохо соответствует новой сущности. И тогда лучше его поменять. Или обозваться ником на период этого длящегося междужизния, междувременья. «Вера» – это ведь не просто имя... Это – олицетворённое будущее девочки. А теперь оно словно бы оборвалось, переименовалось после утраты матери и брата, размылось и стало невидимым. У девочки уцелела только её маленькая кукла – да и та ранена... На такое, даже в авторском пересказе, невозможно смотреть «нейтральными» глазами.

Какая удивительная авторская метонимия! Тейт Эш переносит страдания маленькой девочки на её куклу, и это вызывает у читателя ворох

ассоциаций. Кукла – защитница, кукла – опора, кукла – душа... И дальше в повествовании девочка и кукла сливаются в одно лицо: «и девочка-кукла бежит от войны в себя». И понимаешь, что настоящий триллер – это не сама война, хроника боевых действий, а синдром войны, её последствия, хорошо темперированная **третья** сторона медали; то, что происходит потом – и, к сожалению, часто остаётся «за кадром».

Что же происходит с душой маленького человека, когда мир перевернулся? Она «повторяет заученные слова» – «только дождаться, не двигаться, не смотреть». Дождаться чего? Принятия этого страшного мира? Обретения хрупкого душевного равновесия? Но девочка не хочет и не может продолжать жить в этом чудовищном мире. Она потерялась, она – одна из тех многочисленных потерь, которые не обозначены ни в каких военных сводках... Она – на дне этого кошмарного сна жизни, её ступни уже омывают Летейские воды бездонного колодца, в который она так беспомощно, так бесповоротно угодила...

Ей страшно. Кто-то нашёптывает ей тихие слова. Внутренний голос? Господь Бог? Или Ангел-хранитель, её раненая кукла-душа? Небо бесстрастно взирает на земную трагедию: «не видно луне-белому, как девочка с раненой куклой глядит в тьму». «Вера» – не единственное стихотворение Тейт Эш, где речь идёт о попрании незащитного живого существа. Стихи Тейт Эш вызывают кинематографичны. Явственно ощущается «раскадровка» текущих событий. Можно сказать, что в поэзию внедрены элементы высокого кинематографа. Поэт – сам себе кинорежиссёр. Снимать кино – занятие трудоёмкое и дорогостоящее, а тут ты просто рисуешь видеоряд, одновременно и рассказчик, и художник, и кинооператор. Тейт Эш заканчивает стихотворение растворением рифмы в пространстве и вынесенной, усечённой строкой. Открытая концовка даёт возможность читателю домыслить судьбу героини стихотворения.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

ИСПОВЕДАЛЬНАЯ САМОЦЕННОСТЬ...

(Евгения Джен Баранова «Рыбное место», – СПб, «Алетейя», – 2017, – 136 с.)

В известном питерском издательстве «Алетейя» вышла новая книга Евгении Джен Барановой «Рыбное место». В аннотации приводятся слова недавно ушедшего от нас известного поэта Кирилла Ковальджи: «Мало кому удаётся в наши дни сказать своё слово в лирике. Жанр выглядит исчерпанным... А вот Евгения Баранова без усилий и, я бы сказал, без стеснения вступает в область лирики, потому что талантлива, а талант пробивается сам, и не считается с конъюнктурой». В отношении к поэзии Е. Барановой определение «лирическая» придёт не всем, и далеко не сразу. Во всяком случае, когда читаешь новую книгу Евгении, замечаешь не лирику как таковую, не саму лирику, а лирическую интонацию, особый музыкальный и душевный ключи, которыми отмыкаются тексты поэтессы. Интонацию у Евгении пунктирно скрепляют быстрые, мелькающие и промелькивающие образы. Они как морские камешки, посверкивают на солнце, мелькнут то одной гранью смысла, то другой, то в друг появится литературная ассоциация... Например – к какой-то книге, как «Три товарища» Ремарка, или же к мелодии, как – Лусу в небесах с алмазами...

Её стихотворения – это зачастую почти бессюжетные, но очень выстраданные, искренние маленькие «сказы». И повествуется в них прежде всего о «проявляющихся», как на фотобумаге, ментальных чувствах и впечатлениях, которые развиваются в картинку или в неё не развиваются... Но впечатление акварельной условности, условного «цветового» мазка всё равно остается. Бывает, Евгения прерывает себя на полу слове – «...*Спи малышка не ревну...*». Оставшуюся неизречённой часть слова читатель «досказывает» за поэта сам. Бывает у Евгении, не она ведёт поэтическую строку, а строка ведет её. Так у неё в стихотворении «Эмиграция» и некоторых других. Впрочем, это скорее примета времени и стилистика «лирического», в нашем случае, постмодернизма.

Её исповедальность отталкивается от поверхности жизни, от повседневности. Иной раз она впадает в особую «фигурность» выражения в стихе. Слова у неё бывают самоценны или обретают самоценность волею автора – намеренно, например, она «раздвигает», «разбивает» фамилию писателя – «*Раз в тридцать лет приходит Салтыков /*

и Шедрина ведёт через дефис». Таким образом достигается парадокс и ирония обретает зримость. Ирония у неё может быть скрытой, а может «играть» в открытую, касаясь темы посмертной славы:

*Бронзовой досточкой любю, друзья, висеть
Над зданием школы – и получать мячом
Прямо в фамилию. Смерть – это только смерть.
А уважение, стало быть, ни при чём.*

Евгения использует порой слова, ассоциативно заменяющие имеющийся в виду смысл – Художник Эдвард Мунк написал всемирно известную картину «Крик». У Мунка это немой крик страшноватого, странного существа, стоящего на мосту. А у Евгении в стихотворении «Мунк» отрицание звука, другой крик, но это тоже сложно выраженный крик молчания... У Евгении в новой книге находим и живые, конкретные посвящения реальным лицам. К таким относится своеобразная эпитафия – «Роме Файзуллину», молодому поэту, в 2016 году покончившему с собой. Евгения находит слова – летящие, тонкие, несказанные, чтобы отобразить своё чувство, ощущение его посмертия – «*Теперь ты там, где тынет кипяток, / где радуга сливается с пальнойю*». В стихотворение влетают и бывшие образы той, внезапно погасшей жизни, и его «рыжая героиня», которой он поклонялся, и «нотная грамота», на которую клал его стихи друг-музыкант...

Нам было безвестно, отчего Евгения назвала свой сборник – «Рыбное место». Но автор пояснила нам, что это – «Балаклава» переводится как «Рыбное Место». Тут у неё и привет Крыму, и утверждение, что в сборнике любой литературный «рыболов» что-то найдёт для себя... Но всё равно грезится, – фантазийно представляется, – масса рыб, их серебристое движение, стайкой, над илистым дном. Блики серебристых чешуй, мелькание уплывающей стайки, – очень похоже на впечатление от *дробного*, музыкального, ритмичного, причудливого, глубокого, – над тёмным дном – движения *образов* и *словобор*м Евгении...

Лишь в отдельных своих стихотворениях, таких как «Полынь», «Тонкие материи», Евгения избегает пунктуации.

Есть в ней иной раз что-то от времён Хлебникова и Цветаевой. Вот её стихотворение «Колумб». Вслушайтесь в характерное ей созвучие:

*Я – Колумб,
Я – коралл,
Я – корунд.*

Из посвящений отметим также – «Цветаевой», где цитируется две строки Марины Ивановны – «Мне совершенно всё равно, / где совершенно одинокой». Последним аккордом посвящения становятся

лирико-трагические строки – «Запомни, друг мой, на крови, / лишь на крови растёт шиповник». Этот шиповник «звучит» тут как трагический символ жизни поэта, чей путь устлан не розами, а исколот шипами, и поэт растёт не в розарии, не в оранжерее, а на воле, как дикий шиповник, чьи шипы до крови ранят...

Так и поэзия Евгении Джен Барановой представляется явлением очень вольным, ничем и никем не принуждённым, она подобна волнам прибоя её души – волнам её чёрного ялтинского моря...

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

КНИГА ПОЭТА-ОРЕНБУРЖЦА ВИТАЛИЙ МОЛЧАНОВА «ФРЕСКИ»

(Виталий Молчанов «Фрески». Сборник стихотворений», –

М.: Изд-во «У Никитских ворот», – 2015, – 80 стр.)

В Москве, в издательстве «У Никитских ворот», вышла книга известного оренбургского поэта Виталия Молчанова с возвышенным, тихим названием – «Фрески». Само название книги будто предполагает зримость образов, нашедших своё пристанище в книге, полной поэтических стихотворений-миниатюр, которым свойственны – порой графическая четкость, порой акварельная размытость. Но почти все они живописны... Виталий Молчанов создаёт свои тексты как поэт-профессионал. Он берёт серьёзную историческую тему, и исторически её раскрывает. В наши дни, в современном поэтическом сообществе куда больше принято идти по следам собственных мимолетных ощущений и ассоциаций. Не так поступает Молчанов, – он, как художник-монументалист, рисует целые исторические полотна, и эти полотна *фрескообразны*. Книга начинается с большего цикла – «Замученный храм». Первое стихотворение цикла озаглавлено «Нагой», таково было прозвище великого святого-юродивого Василия Блаженного. Поэт берётся за труд сказать стихами одно из преданий шестнадцатого века о том, как однажды юродивый за ликом Божьей матери на иконе разглядел скрытого за ней антихриста... Святой Василий Блаженный камнем разбил на Варваринских воротах московского Кремля образ Божьей Матери, который считался чудотворным. На него набросилась толпа людей, стекавшихся со всей Руси с целью исцеления, и начали его бить смертным боем. Юродивый сказал: «А вы поскребите красочный слой!» – «*Нечистая икона,*

братцы, други, / под матерью с младенцем – адский лик» – шипит об этом Молчанов. Удалив красочный слой, люди увидели, что под изображением Богоматери скрывается «дьявольская харя». Вот этот момент и отразил в своём поэтическом «триптихе» Виталий Молчанов. Помним и то, что сам царь Иван Грозный с боярами нёс гроб Василия-Нагого хоронить, когда тот окончил свой земной путь. Поэт не боится работать над сложными историческими портретами живших когда-то удивительных личностей, таких как московский юродивый Иван Корейша, песок с могилы которого верующие христиане уносили к себе домой как святыню... Не обойдена вниманием и чудотворица Ксения Петербургская. И далее поэт ведёт нас древними былинными дорогами старых русских времён, то оказываемся во временах Седого Баяна, то во временах князя Донского. При этом поэт не покидает чувство живописи, он понимает, что в его воображении встают летописные и былинные приметы времени: «*Я – Богомаз. Пишу земные лики / И падаю пред ними на колени, / Дарю иконе солнечные блики / И сумрачные гробовые тени*»... В палитре Молчанова часто сквозят тёмные, трагические краски. Например, стихотворение «Мирное время» так тепло начинается, – повествуется о крестьянской избе, в которой «к тёплой печке жались» коты-баюны, а кончается горькой смертью новорождённого младенца, умершего внезапно от судорожного припадка – родимчика. Ужас тут именно в обыденности этой тихой, ничем, казалось бы, не примечательной детской смерти...



Во «Фресках» у Молчанова находим немало гражданской лирики. Назовём, прежде всего, «Послепобедное», «Рыбалка», «Берёзовый сок», «Секта», к ним же относится и простое в своём искреннем чувстве стихотворение – «Пусть в мире Божьем есть теплей места». Строфы этого стихотворения столь выразительны, что в наше нынешнее время не нуждаются в особых развернутых комментариях:

*...Пусть волк – хозяин и закон – тайга,
Халва – радость и обман – победа,
Воруют без оглядки и стыда.
– Я никогда отсюда не уеду!*

*Пусть пьянство – плод упорного труда,
На дне кармана – жалкая монета
И в обществе – рабы и господа.
– Я никогда отсюда не уеду!*

*Пусть кровь соёт чиновничья орда,
В газетах – сплошь враньё на грани бреда
И верят в барыши, а не в Христа.
– Я никогда отсюда не уеду!*

Цикл «Обереги на известки» составляет, собственно, сердцевину книги. В нём поэт становится сказителем, повествующим о периоде татаро-монгольского нашествия. Стихотворение «Фрески», давшее название книге, посвящено городу Новгороду-Северскому, где нашли останки людей, засыпанные пеплом. Поэт, как археолог в Помпеях, стихотворно восстанавливает случившееся, когда – «из пылающего храма голосила боль людская». Из примечания мы узнаем, что реалии, отражённые в стройных строках – не выдуманные, бывшие некогда огненной былью...

В стихотворениях цикла «Питая малое большим» находим у В. Молчанова и автобиографические горестные заметы, приметы уходящей жизни, данные порой с иронией, разбавленной горечью, трагизмом.

А завершается книга «Фрески» венком метасоветов – «Бельгия». Цикл из четырнадцати стихотворений посвящён такому вечному литературному жанру, как поэзия путешественника. Ему отдал не раз дань такой известный современный российский поэт как Евгений Чигрин, который также отразил в своём «зеркале» однажды бельгийское королевство...

Стихи поэта-реалиста Виталия Молчанова творят свою, прихотливую и часто монументальную поэтическую реальность. Они – явление очень ёмкое. Правильно пишет о них в предисловии к «Фрескам» Пётр Краснов, что они «насыщены смысловым действием». Основательность и индивидуальность автора заинтересовывают, ведут за собой, убеждают в его одарённости. Тому порукой не только цельность стихотворений, но и немалое количество поэтических находок, лексическое богатство словаря писателя, поэта...

Виталий Молчанов – председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, лауреат многочисленных литературных премий. Его деятельность не только замечена и отмечена, но и вызывает печатно прорывающуюся зависть к тому, как плодотворно ведёт он свою работу по линии СРП в Оренбурге и области.

Поэт ныне работает над новой, уже задуманной, но ещё не осуществлённой окончательно книгой стихотворений, и мы с некоторым нетерпением ждем её выхода, чтобы снова стать свидетелями тонкого, «фрескового» письма талантливого поэта-оренбуржца Виталия Молчанова.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 23.05.2017 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,4
Зам.1433. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17